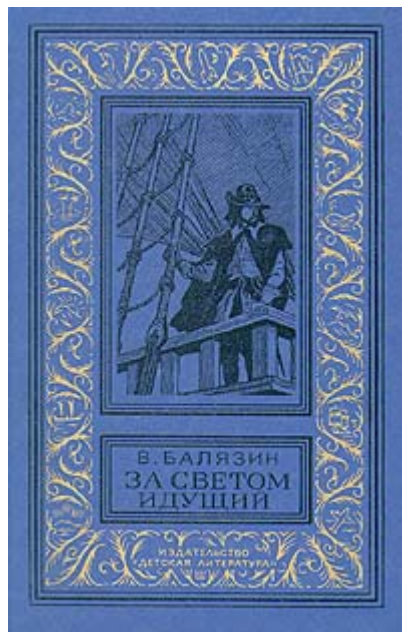


## Владимир Балязин За светом идущий



## Владимир Балязин За светом идущий

*Свет плоти – Солнце; свет духа – Истина.*



### Глава первая ВЕДЬМА

Тимошка проснулся от петушиного крика, звонкого и радостного. Сквозь широкую щель в давно уже прохудившейся крыше сарая он увидел серо-голубой лоскут неба, наискось пересеченный звездной полосой Иерусалимской Дороги – Млечного Пути.

Тимошка сел, обхватив руками острые колени, помедлил немного и, сладко потянувшись, резво вскочил. Раздвинув плотную завесу сохнувших на сеновале трав, пахучих и ломких, он пробрался к дверному проему и встал, раскинув крестом руки и запрокинув вверх голову.

Было то время, когда солнце только просыпалось, лежа где-то в дремучих буреломах дальних лесов, но звезды, еще совсем недавно большие и яркие, стали нехотя таять. Начал гаснуть робкий молодой месяц. И было так, будто кто-то бросил в глубокое озеро пригоршню серебряных монет и золотую подкову и они неспешно и плавно стали погружаться в темную воду, становясь все бледнее и бледнее, пока не утонули вовсе в серо-голубой бездонной пучине.

Тимошка увидел, как синеют и светлеют черные глубины ближнего леса, услышал, как одна за другой начинают вскрикивать сонные еще птицы. Увидел, как враз, будто загоревшись, вспыхнули верхушки сосен и елей и над дальними буераками бледно заалело небо. Мокрый туман загустел и отяжелел, опускаясь в низины. Из-за растаявшего молочного марева выплыла бревенчатая кладбищенская часовенка и частокол покосившихся черных крестов.

Засверкала роса на траве, а через близкую отсюда неширокую речку Вологду лег между берегами невесомый золотой мост. Даже старые избы на окраине Вологды, серые, трухлявые, посветлели, будто росой умылись.

Розовыми стали тесовые шатры сторожевых башен: Воскресенской, Пятницкой, Афанасьевской, Спасской. Закраснели слюдяные и стеклянные окна в домах купцов и начальных людей.

И тихо, медленно поплыл между землей и небом утренний благовест вологодских храмов.

Тимошка свесил ноги и мягко, по-кошачьи, прыгнул на землю. Мокрая, холодная трава ожгла босые ноги. Мальчик, нелепо подпрыгивая, заскакал по тропинке, бежавшей от сарая к избе. Он был уже почти у самого крыльца, как вдруг увидел на тропинке трех муравьев – двух красных и одного черного. Тимошка присел на корточки, застыв в ожидании.

Черный муравей, увидев врагов, замер. «Сейчас удерет», – подумал Тимошка, следя за черным муравьем, но тот, привстав на задние ножки, изготовился к бою.

«Ишь ты, богатырь какой», – усмехнулся Тимошка и ладонью перегородил дорогу одному из красных, чтобы предстоящий бой был честным поединком. Красный муравей, почувствовав, что остался один, не приняв боя, юркнул в траву. Тимошка поднял ладонь – и второй красный муравей тоже убежал с тропинки, уступая дорогу более сильному.

Тимошка улыбнулся и побежал в избу, к матери.

Мать лежала на печи больная: три дня назад, разыскивая забредшую в лес корову, она подвернула ногу – да с тех пор из-за сильной боли не могла и шагу ступить.

Увидев Тимошу, мать улыбнулась ласково, радостно: двое их было на белом свете – сын у матери да мать у сына.

Тимошка, вскочив на лавку, поцеловал мать в высокий чистый лоб и взглянул в глаза, каких не было ни у кого на свете.

– Истопил бы печь, Тимоша, а как разгорится, я оладьи спеку, – сказала мать.

– Ладно, мам, я враз, – ответил Тимоша, но вдруг вспомнил, что ножик, которым способнее всего было щепать лучину на растопку, остался на сеновале.

Мальчик прыгнул с лавки и побежал к сараю.

Мать Тимоши, Соломонида Анкудинова, все еще улыбалась, закрыв глаза. Она представляла себе сына – худого, веснушчатого, темно-русого, с упрямо оттопыренной нижней губой, с разноцветными глазами: левым – карим, а правым – синим.

И тут же явственно услышала, будто кто-то стоящий рядом зло сказал: «Разноглазый».

Мать перестала улыбаться, вспомнив, что кличка эта прилипла к сыну с самого рождения. А родился он через месяц после смерти его отца, а ее мужа – Демьяна Анкудинова.

Да тут же вспомнила она и покойного мужа – высокого, плечистого, голубоглазого молчуна, работника и добытчика. Был Демьян Анкудинов стрельцом, но из-за малых прибытков приходилось ему приторговывать холстом, наезжая в неближние от Вологды села и города. На скопленный от торговли достаток купил Демьян постоянный двор, куда привез молодую жену, повстречавшуюся ему на ярмарке в Костроме.

Была она девушкой бедной – единственной дочерью у старого, давно овдовевшего отца, добывавшего пропитание сбором целебных трав, лечением настоями да наговорами. Лечил отец окрестных мужиков, посадских, пользовал скотину, с раннего детства приучив к

этому и дочь Соломонида. Лечили-то они многих, но достатка в их доме не было. И поэтому Соломонида сильно боялась, что торговый человек, увидев скудость их нехитрого жития, не захочет брать за себя бесприданницу.

Однако все хорошо сладилось, и молодые, тут же перебравшись в Вологду, зажили мирно да ласково на зависть многим, в чьих домах не было ни любви, ни согласия. Да видать, много горя может отпустить господь человеку, а вот счастье – почти каждому – отмеряет малой да строгой мерой... Года не прошло, как от неведомой болезни в одну ночь сгорел ее Демьянушка, так же внезапно оставив ее, как совсем недавно внезапно повстречал.

Еще не успели его похоронить, как вдовы старухи, девки-перестарки и христовы невесты – богомолки да странницы – пустили по Вологде шепоток, что умер Демьян не просто так, а от ведьмино го сглазу да волхования. И не раз приходилось ей слышать у себя за спиной тихое шипение беззубых, синегубых старушечьих ртов: «Ведьма!»

И вспомнила Соломонида последнюю такую встречу – вчерашнюю, предвечернюю. Шла она подоить Пеструшку. Шла, хромая, тяжело опираясь на палку. И заметила: за редким тыном стояли две знакомые старухи-богомолки.

Увидев Соломону, одна старуха всплеснула руками и наклонилась к уху товарки. Вторая слабо охнула и мелко, часто закрестилась. Затем обе с криком: «Нечистая! Нечистая! Богородице-дево, спаси и помилуй!» – бросились бежать так прытко, что не всякая молодая угналась бы за ними.

Отбежав сажень двадцать, они обернулись. Остановившись, стали плевать в ее сторону, выкрикивая высокими кликушечьими голосами: «Ведьма! Ведьма! Нечистая! Сгинь! Сгинь!»

До слез обидными показались Соломониде слова старух, но еще обиднее была их неумная злоба.

И вспомнила Соломонида, что из-за злобы людской продала она оставшийся ей в наследство постоялый двор и переехала сюда, в лесную избушку, подальше от недобрых слов и взглядов.

Купила корову Пеструшку, а осенью приبلудился ко двору шалый молодой пес Найден, и стали они жить вчетвером, не считая кота да кур с петухом. Кормились они тем, что давали огород и лес. С трех лет приспособила она к грибной и ягодной охоте Тимошу, а еще через год обучила его рыбной ловле. А как сравнялось сыну семь лет, то, завязав в платок два серебряных гривенника и посадив в корзину старую хохлатку, повела она Тимошу в кладбищенскую церковь Дмитрия Прилуцкого к дьячку отцу Варнаве – человеку непьющему, тихому, любомудру да книжочю. Три года бегал сын ее в убогую избушку отца Варнавы. По словам учителя, разумен он был столь необыкновенно, что скоро наставлять Тимошу пристойно было бы другим людям, более грамотным, ибо предстояло стать Тимоше не менее чем архиереем.

От последних мыслей стало Соломониде совсем хорошо. Вся еще во власти не отпускавших ее дум, она взглянула на подоконник, где лежала толстая тетрадь ее сына. Книги были дороги, и Тимоша полюбившиеся ему места переписывал в эту тетрадь.

Сколько мудрости и света было собрано ее сыном на сшитых суровой ниткой листочках!

Соломонида снова закрыла глаза – и вот уже не летнее утро, не затопленная светом изба, а зимний вечер и теплый полумрак предстали перед нею.

Мурлыкал на печи кот, чуть потрескивала лучина в железном поставце, пахло смоляным дымом, печеным хлебом, неистребимым духом сушеных трав, развешанных в избе и в сенях.

Тимоша, разутый, сидел на лавке у печи. Блаженно поводя пальцами босых ног, правой рукой любовно гладил тетрадь.

«Ну, садись, мама, садись», – с нетерпением звал он ее, досадуя, что Соломонида никак не может бросить какое-то свое вечное занятие по дому.

Она садилась насупротив сына, поправляла платок, замирала в сладкой истоме, ожидая великого чуда – чтения.

«Премудрость светла и неувядающа и легко созерцается любящими ее, – негромко читал Тимоша. – С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящею у дверей своих. Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующий ради нее скоро освободится от забот; и начало премудрости есть искреннейшее желание учиться.

Я полюбил премудрость более здоровья и красоты и избрал ее, ибо свет ее неугасим.

Бог даровал мне истинное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действие стихий, начало, конец и середину времени, смены поворотов и перемены времени, круги годов и положение звезд, природу животных и свойства зверей, стремление ветров и мысли людей, различия растений и силу корней. Познал я все сокровенное и явное, ибо научила меня премудрость – художница всего.

Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд; в сравнении со светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превосмогает злоба».

«Кто же это сказал столь дивно, сынок?» – спрашивала Соломонида, и Тимоша так же негромко отвечал: «Я читаю книгу премудрости царя Соломона, почитавшегося среди смертных мудрейшим».

Она молча кивала и просила негромко: «Почитай еще». Сама она была бесписьменной, не умела ни читать, ни писать, и оттого искусство письма и чтения казалось ей стоящим рядом с колдовством.

И еще одному Соломонида дивилась, но в этом совсем не понимала сына. Дивно было видеть ей Тимошу, когда, замерев надолго, смотрел он не отрываясь на звезды в небе, на муравейник, на птиц, выющих гнездо.

Соломонида открыла глаза и, с досадой подумав: «Что это я, однако, размечталась?» – сползла с печи, вышла в сенцы. Зачерпнув из бадьи ковш воды, стала в деревянной лохани творить тесто.

Тимоша отыскал на сеновале нож и уже собрался спрыгнуть на землю, как увидел быстро скачущего всадника. Каурый конь шел скорым наметом, и уже через несколько мгновений Тимоша признал седока. «Костик, – подумал он, – а конь из конюшни владыки. Никак, приключилось что в Вологде?»

Спрыгнув с сеновала, Тимоша побежал навстречу другу, а тот, заметив его, еще издали стал что-то кричать, показывая то на их дом, то на оставшуюся за спиной Вологду.

Не остановившись возле Тимоши, Костя проскакал к избе и, слетев с коня, исчез за дверью.

Тимоша что было духу побежал к дому. В избе он увидел застывшую у печи мать с белым, неживым лицом и руками, сложенными на груди крестом.

– В лес надо бежать! – кричал Костя. – Там они нас ни в жисть не найдут! Только не медлите! Скорее! Скорее!

– Что случилось? – спросил Тимоша, пугаясь.

– Юроды сюда идут! Грозятся вас обоих до смерти убить!

– За что же им нас убивать?! – со страхом и удивлением воскликнул Тимоша, но Костя только рукой махнул – выскочил во двор.

– О господи! – простонала мать и стала быстро вынимать из сундука вещицы, что были лучше иных, и вязать их в два узла.

Тимоша, приподняв крайнюю доску пола, достал три тяжелых свертка. В промасленных холстинах хранились под полом бабкины сабля, самопал и пистоль.

– Тащи узлы во двор, Тимоша, – сказала мать слабым голосом.

Мальчики свели Соломиду с крыльца, помогли ей сесть на коня, перекинули через круп каурого связанные веревкой узлы и, набросив на шею Пеструшки травяной аркан, тронулись в лес. Отойдя недалеко от дома, Тимоша, не выдержав, опрометью кинулся назад, на сеновал. Из Вознесенских ворот на мост через реку Вологду медленно вползала

серая толпа юродивых и нищих. Чуть ли не половина их шла с клюками, посохами да костылями, и потому брести им до дома Соломонида было никак не менее часа.

– Черви кладбищенские, – пробормотал Тимоша и, погрозив юродам кулаком, бросился догонять Костю и мать.

Тимофей быстро догнал уходивших в лес. Шагая рядом с Костей, спросил:

– Так за что же божедомы идут нас побивать?

– Всего не знаю, – ответил Костя. – Знаю только, что наплели в городе невесть что две полоумные странницы да юрод Вася.

А было так...

Три дня назад христов человек, Вася Железная Клюка, не мывшийся и не стригшийся двадцать лет, вылез из-под крыльца дома братьев Гогуниных, под коим он спал вместе с собаками, и вдруг увидел среди двора чужую, никогда дотол не виденную кошку. Кошка была черна и столь злобно зыркнула на божьего человека угольными бесовскими глазами, что Вася, трясаясь от страха всем телом, задом вполз под крыльцо и только там догадался свершить крестное знамение.

Не успел он и лба перекрестить, как на дворе дико и страшно вскричал петух, за ним другой, и тогда, сообразив, что после петушиного крика нечистая не живет и опасность – в который уж раз – обошла его стороной, Вася с опаской выглянул из-под крыльца. Он увидел совершенно пустынный двор и понял, что бесовка исчезла, как сквозь землю провалилась.

Двор братьев Гогуниных был обнесен таким плотным тыном, что не только кошка – мышь не проскочила бы ни туда, ни обратно.

Трижды перекрестившись и обойдя стороной проклятое место, где только что сидело дьяволово отродье, Вася, опираясь на клюку, побрел к воротам и тут же поведал обо всем виденном ночному сторожу Титу. Услышав Васин рассказ, сторож враз посуровел и сказал, что все это Васе приснилось, а он, Тит, службу нес честно и во всю ночь ни на миг глаз не смыкал, однако чужой кошки на дворе отнюдь не видывал. А когда Вася слабым от долгого поста голосом стал упрекать Тита во лжи, то нерадивый страж посмеялся над божьим человеком, обидно и пакостно обозвал его дурачком и вытолкал со двора, погрозившись не пустить обратно.

Вася заплакал и потащился к собору. Когда он подошел к храму, у паперти стояли и сидели во множестве убогие и скорбные люди, долгие годы побивавшиеся христовым именем.

Обида на грубого и неблагочестивого Титка еще не прошла, и Вася стал рассказывать божьим людям о том, что с ним случилось.

Божьи люди слушали, молчали. Чему было им удивляться, когда каждому бывали и видения божественные, и явления тайные, и звуки чудесные, и знамения предостерегающие?

Только безрукий стрелец Кузьма, выслушав Васю, криво ухмыльнулся в рыжую бороду, воровато скосив хитрые зеленые глаза.

И тут – все видели, и безрукий Кузьма тоже, – прямо из-за угла храма неслышно, будто бесплотная, вышла она, черная, страшная, и, немо разверзнув красную пасть, вытянула перед собою когтистые лапы.

Вася, затрепетав, кинул в бесовку железную клюку и угодил ей прямо по задней лапе. Нечистая подпрыгнула, вскрикнула страшно, метнулась за угол храма, а когда божьи люди, опомнившись, бросились за нею, той и след простыл.

– Святые угодники! Богородице-дево! Господь все милостивый! – закричали калеки и юроды. Иные пали на землю, закатив очи, иные поползли к двери храма, осеняя себя крестным знамением и причитая, иные, восклицая: «Чур меня, чур!» – тряслись мелко, кусая губы, ломая персты.

Пришедшие к заутрене горожане, особенно старухи и молодайки, вскоре узнали такие

страхи – сердце заходило. Нищая братия в один глас твердила, что такой страсти никто из них не упомнит, а ведь многие из них видели наяву и бесов мерзких, козлоподобных, и ведьм, летавших над избами, и чертёнят, весело плясавших на лужку за царевым кабаком, и утопленниц, молча водивших хоромы у старой мельницы.

– Ученая, видать, ведёма, – отзывались слушатели. А она, известно, хуже прирожденной. В одном сходились все – так просто Васин удар ведьме не пройдет: лежит, поди, теперь где-нибудь на печи и колдовским зельем ногу парит.

А на следующее утро все в Вологде узнали: у пономаря церкви Николы издохла корова. И сделалось такое лихо как раз в ночь на тридцатое июля, на Силантия-Святого, когда – и младенцу известно – ведьмы сосут у коров молоко, и коровы после того тотчас издыхают.

Вдруг на третий день к поздней вечерне прибежали честные старицы, Авдотья да Аграфена, и, клянясь страшными клятвами, поведали: встретили они за рекой, возле леса, хромую ведьму Соломонидку, вдову Демки Анкудинова. И та как зыркнула на них ужасными своими глазищами – обмерли честные старицы и, творя молитву, насилу добежали до города.

И тогда добрые христиане города Вологды, собравшись, как по сполоху, у собора, двинулись за реку, дабы ведьмино злое гнездо испепелить, а бесовку с ее разноглазым отродьем побить до смерти.

Много народу отправилось к избе ведьмы, но, чем дальше уходили они от собора, становилось их все меньше и меньше. Иные не дошли и до Вознесенских ворот, иные разбрелись по посадку, добрая половина не добрела и до кладбища.

Пономарь, у которого подохла корова, возле собора шумевший громче всех, исчез по дороге неведомо куда. А как прошли еще с версту – осталось верных людей десятка три.

И когда, стаив с сарая сено, обложили им угодные богу люди дом, то уже тогда многие засомневались: «А ладно ли делаем?» Но когда загорелась изба, а следом за нею и сарай, все поняли: назад пути нет. И, разбредаясь по двое да по трое, оглядывались со страхом в сердце, наблюдая, как тихо, будто во сне, горят дом и сарай и в синее небо двумя черными высокими полосами подымается дым...

Беглецы быстро прошли Земляничную поляну, взобрались на Кривой холм и с вершины его увидели над краем леса медленно плывущий дым. Соломонида, охнув, заплакала в голос. Тимоша и Костя враз, не сговариваясь, бросились к самой высокой сосне и наперегонки полезли к верхушке. Они увидели, как между избой и сараем ползают муравьями маленькие фигурки, как неистово пляшет желтый огонь – стремительный, жадный, – как медленно расползаются по тропам свершившие свое дело божьи люди.

Страшно было глядеть на пожар, но какая-то сила удерживала мальчиков на дереве. Соломонида звала их, они не слезали вниз, пока не сник огонь, не пополз в стороны, прижимаясь к траве и оставляя на земле черные круги. Только когда все кончилось, мальчики слезли с дерева и молча пошли в чащу. Там, на небольшом островке на Лешачьем болоте, опасном, всеми избегаемом месте – кому любо ходить по лешачьей вотчине? – стоял им одним известный замшелый, выросший в землю сруб.

Увидев крышу сруба, Соломонида впервые за всю дорогу слабо улыбнулась:

– Недаром говорится: «На что отец, коли сам – молодец». Как это вы, выюноши, избенку-то приглядели?

Сруб этот Тимоша и Костя нашли три года назад. Был он для них не просто убежищем, а кладзем сокровенного, ибо, как говаривал про все секретное отец Варнава, «велика была тайна сия». Сруб был стар, черен и настолько закопался в землю, что даже им, невеликим еще, пришлось наклониться, чтобы войти внутрь, – так сильно осела дверь, а единственное оконце, тоже вровень с землей, закрыто было травой, поднимавшейся до самой крыши.

Войдя первый раз внутрь, мальчики увидели врытый в земляной пол дощатый стол, две

скамьи, треснувшую печь, в углу, под иконами старого письма, темную от времени долбленную колоду. Заглянули в колоду – там ворох тряпья, а под ним – человеческие кости.

Как выскочили за дверь – того ни один из них не помнил. Однако, отдышавшись от страха, вошли снова и, стоя у двери, внимательно все оглядели.

Под иконами деиисусного чина – Спаситель в центре, по бокам Богоматерь и Иоанн Предтеча, на краях архангелы Михаил и Гавриил – висела на тоненькой серебряной цепочке лампадка. На приступочке печи стояла медная ступа с пестом, треснувшие глиняные горшки, ржавый железный ковш. В углу притулились две разошедшиеся деревянные кади. На столе стояла медная чернильница, кованый поставец для лучины. Под одной из лавок лежали заступ и железная лопата.

Затаив дыхание, мальчики подкрались к гробу и, сдвинув вконец истлевшие от времени тряпки, увидели у самого края домовины длинный, изукрашенный серебром посох, а на костях груди – золотой наперсный крест с красными и зелеными камнями.

Достав из колоды крест и посох, мальчики положили их на стол, вытащили из-под лавки лопату и заступ и пошли вон – копать для неведомого бывшего хозяина сруб могилу.

Похоронив в земле колоду с костями, мальчики спрятали посох и крест под печкой, чисто убрали сруб, сметая паутину, выкинув сор и мышиный помет. Расстелив на печи и разбросав по полу духмяные травы, они ушли, поклявшись перед иконами никому никогда не рассказывать о найденном ими срубе.

Сюда-то и привезли они хворую Соломонида. И остались мать с сыном ожидать возвращения Кости, который отправился в город выведать, что и как.

Вечером, засветив в поставце лучину, Тимоша достал из-под печи крест и посох и показал матери. Он сказал ей, что все это лежало в срубе на печи, а о найденном скелете не проронил ни слова, не желая пугать больную.

Соломонида с любопытством смотрела на странные вещи. Не без страха взяла в руки крест, повернула его перед огнем, и Тимоша увидел то, чего при свете дня не заметили ни он, ни Костя: по стояку креста снизу вверх шла надпись: «Раб божий князь Иван Шуйский-Плетень».

## **Глава вторая ВЛАДЫКА ВАРЛААМ**

Вологодский архиепископ Варлаам узнал о содеянном юродами и божедомами, как только они вернулись в город. Крут был владыка и более всего ревновал, когда кто-либо нарушал его, архиастырскую, власть. Воеводы и наместники менялись в Вологде каждые три-четыре года, а он, владыка, правил своею епархией уже семнадцать лет. И не то было главное, что носил он сан архиепископа, выше которого в России было лишь несколько митрополитов и патриарх, а то, что был он и умен, и удачлив, и на патриаршем дворе вхож в любую дверь. Говаривали, что при надобности мог он тотчас же повидаться и с самим государем Михаилом Федоровичем.

И когда узнал Варлаам, что нищая братия учинила такое самовольство и дотла спалила избушку стрелецкой вдовицы Анкудиновой, то не медля повелел привести божедомов к себе, на владычный двор. А когда калеки и странники уселись на землю у крыльца, Варлаам долго не выходил из палат и, даже когда пошел дождь, оставался в покоях. Однако виноватых и из-под дождя выпускать со двора не велел.

Владыка ходил по спаленной палате и вспоминал нечто давнее, лежащее где-то на дне души...

Годов восемь тому неизвестно от чего заболели у него глаза: опухли веки, слезы мешали читать и писать, больно было глядеть на свет. Никто не смог помочь владыке, даже оказавшийся нечаянно в Вологде аглицкий лекарь Джон Лервик. И тут келейник его, старец

Геронтий, привел ко владыке стрелецкую вдову Соломониду, коя слыла изрядной умелицей, знавшей целительную силу кореньев, трав, листьев, камней и извести.

Вдовица внимательно оглядела глаза больного – покрасневшие и загноившиеся – и велела пробыть безотлучно две недели в темном покое, по три раза в день промывая глаза коричневым травяным настоем. На третий день Варлааму стало лучше, еще через десять дней болезнь прошла совсем. Варлаам хотел было выйти из темной комнаты вон, но решил прежде спросить о том лекарку.

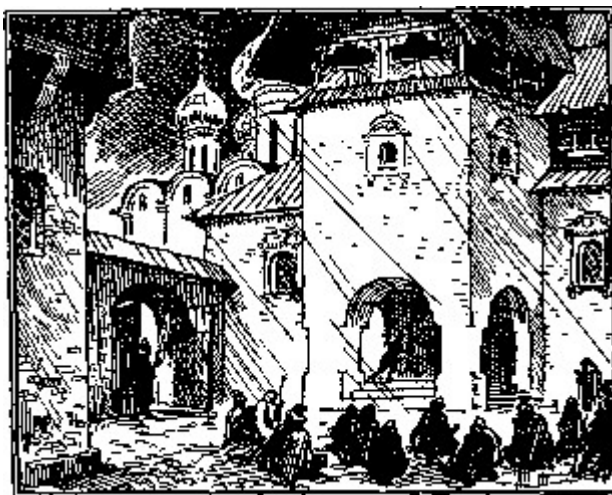
Он вспомнил, как молодая, красивая вдова, войдя во тьму спальной палаты, остановилась у порога, не то боясь споткнуться о что-нибудь, не то робея владыки. Варлаам взял Соломониду за руку – трепетную, горячую – и подвел к занавешенному холстиной окну. Откинув край занавеси, Соломонида повернула лицо больного к свету, и он почувствовал, как жаром обдало его всего, будто от рук вдовицы да от больших черных глаз пахнуло на него зноем.

Увидев в двух аршинах от себя прекрасное, зардевшееся от смущения лицо молодой женщины, Варлаам почувствовал, что и она испытывает нечто подобное. И Соломонида, хотя и должна была глядеть в глаза Варлааму – за тем ведь шла к нему, – отвела взор, опустила вниз голову, проговорила еле слышно: «Повремени, владыко, батюшко, еще четыре дни. Побудь еще во тьме тое время». Варлаам, уловив в словах лекарки, как ему показалось, некий сокровенный смысл, спросил осипшим от волнения голосом: «А через четыре дня придешь?» И она ответила: «Не знаю».

Через четыре дня она не пришла. Задетый за живое, архиепископ послал лекарке рубль денег и на словах передал благословение.

Того случая Варлаам не забыл. Вспоминая, испытывал и досаду – за то, что вдова более не пришла к нему, и благодарность – за то, что излечила его.

Когда владыка узнал, что с Соломонидой и ее сыном приключилась беда, то сразу же велел келейнику своему Геронтию согнать своевольных божедомов к крыльцу владычных палат.



Братия, сидя под дождем на голой земле, до костей промокла, изрядно замерзла, аоголодав, вконец приуныла.

Лишь близко к вечеру, когда убогие начали в голос плакать и причитать, Варлаам вышел к ним на крыльцо.

Стоя под дощатым навесом, он долго молчал, тяжело глядя на плачущих, копошащихся в грязи божедомов. Потом спросил тихо:

– Мирянам или же пастырям ведать дано, что есть колдовство?

– Пастырям! Пастырям! – закричали юроды. – Пастыри на то нам, убогим, от господа дадены, чтобы нас, неразумных, наставлять!

И, сообразив, что за сим должно последовать, божьи люди поползли в стороны, оставив сидеть насупротив владыки заводчиков и начальных людей сей смуты – Васю Железную

Клюку и двух злосчастных странниц.

Варлаам, возвысив голос, сказал:

– А ежели вам ни богом, ни царем не дано судить, как же вы посмели пожечь у сирой вдовицы дом? Как посмели на такое воровство пойти и столь неистовый разбой учинить?

– Видение было, батюшко, милостивец, видение! – запричитали странницы, указуя на Васю.

– А отколе ведомо вам, скудные умом, что было юроду от господа видение? – спросил Варлаам грозно. – А не было ли то бесовским наваждением, а? И не от господа, но от диавола?

– Охти нам, несчастным! Наваждение! Истинно наваждение! – схватившись руками за головы, раскачиваясь, запричитали старухи.

– А теперь, – жестко произнес Варлаам, – слушайте, что я скажу. Завтра же поутру все, кто стрелецкой вдовицы Соломонидки избу палил, новую избу и строения ставить начнете. А пока то дело не кончите, ни на одну паперть пущать никого из вас не велю. А станете убожеством и бедностью отговариваться – велю воеводе всех вас в тюрьму метнуть да, в колодки забив, водить по базару, пока Соломонидке на избу денег не насобираете. А чтоб вами безвинно обиженная вдовица с мальчонкой не скиталась меж двор, вы мне Соломонидку беспрерывно завтра же сыщите. И пока избу ей не сладите, пусть она у меня на подворье с сынишкой своим поживет.

– Где же, милостивец, нам, убогим, ту женку отыскать? – застонали божедомы.

– Знали, как воровать, знайте и как ответ держать! – совсем уже грозно произнес владыка и, повернувшись резко, ушел в палаты.

Серым рваным комом выкатилась нищая братия со двора и стала промеж себя судить да рядить, как бы без особого для себя ущерба выполнить наказ владыки. Вася Железная Клюка – дурак, дурак, а сообразил: со всех, кто избу палил, поровну деньги собрать, а так как было их десятка три, то, ежели по гривне с каждого взять, будет три рубля. А за три рубля плотники вологодские не только избу с сараем – церковь сладят. Хотя после этого долго еще многие стенали: «Отколе же такие деньжищи взять, гривенник-то?» – каждый хорошо знал: поищи юроды у себя в кушаках да в кисах, не только гривенник – червонец найдут. Что же касается второго наказа владыки – немедля отыскать Тимошку с Соломонидой, – то сразу же нашлись люди, сообразившие, что найти их может либо учитель Тимошки, либо товарищ его – Костка, конюхов сын.

Поручив Васе Клюке собирать деньги и отправив двух главных виновниц, Авдотью да Аграфену, к Косте и отцу Варнаве, нищие расползлись по своим норам, проклиная Васю, странниц, собственное свое скудоумие и – тихо, с бережением – непреклонного вологодского архипастыря.

На другой день Вася Клюка спозаранку двинулся в обход нищей братии. Когда он появился у владычного собора, там сидели только те нищие, которые в поход на анкудиновский двор не ходили, а потому Васе ничего должны отнюдь не были. Вася, беспомощно оглядевшись, заплакал.

– Сколь верст до ведьминого двора? – вдруг спросил Васю безрукий стрелец Кузьма.

Вася перестал плакать. Разведя руками, сказал:

– Кто ж их ведает? Может, три версты, а может, четыре.

– Так ты теперь десять раз по четыре версты обежишь, покуда три рубля соберешь, – сказал Кузьма и захохотал. И вся нищая братия вслед за Кузьмой захохотала обидно.

И начались для Васи великие муки: божедомы попрятались кто куда, забившись в самые темные щели, будто тараканы в мороз. Как только Вася кого-нибудь из них отыскивал, то припертый к стенке соучастник вначале клялся страшными клятвами, божился и плакал что нет у него за душой даже и медной полушки, а вслед за тем начинал на Васю кричать, грозиться, выталкивать из конуры вон, обвиняя его во всем случившемся, и, наконец, давал Клюке копейку или две, а не десять, как было уговорено. А некие –

наглые – давали лишь полушку.

Обойдя весь город, Вася посчитал собранные в кушаке деньги и снова заплакал.

Промучившись три ночи, Вася, добавив к собранным деньгам собственную полтину, пошел к плотницкому старосте Авдею торговаться насчет постройки избы и сарая. Всеконечно лукавя, Вася предложил Авдею рубль.

– За рубль ты, убогий человек, сам избу ставь, – ответил жадный Авдей и отвернул морду в сторону, показывая, что разговор окончен.

После долгих Васиных мольб Авдей согласился выполнить работу за два рубля с полтиною, и Вася, добавив еще шесть кровных алтын, вконец огорченный, ушел прочь.

Со старухами же, получившими наказ отыскать Соломонида с Тимошей, вышло так: отец Варнава, когда пришла к нему на кладбище странница Аграфена да стала выпытывать, куда подевались Тимошка с матерью, не ответил ничего, только засопел сильно и, взяв старуху за ворот ветхого шушуна, из сторожки своей выбил вон.

Аграфена упала в пыль и ужаснулась столь неумной ярости слуги божьего, но, побежав, явственно слышала, как Варнава кричал, что если еще хотя одного божедома увидит возле своей церкви – прибьет посохом. И для пущей убедительности вслед старухе посохом помахал.

А ее товарка Авдотья долго отиралась возле владычных конюшен, пока, наконец, не увидела Костю. Подошедши к нему близко, странница поклонилась в пояс и сказала, что сам владыка послал ее, смиренную, проведать о том, где теперь скрывается известная ему Соломонида Анкудинова с сыном.

– А пошто владыке зандобились Соломонида с Тимошкой? – недобрым голосом спросил Костя.

– Хочет он, милостивец наш, Соломонида, убогую вдовицу, и сынка ее у себя приютить, пока его же, милостивца, соизволением не поставят им божедомы новую избу, – тихо, ласково прошелестела старуха.

Костя, представив, как хромые, слепые, горбатые и безрукие нищие строят избу, захохотал. А старуха, не поняв, отчего это только что злой, сумрачный вьюнош вдруг так развеселился, сначала испугалась, а потом слабым голосом стала подхихикивать, стыдливо прикрывая беззубый рот концом черного головного платка.

– Ладно, бабка, ежели узнаю, где безвинные люди от вас, лиходеев, хоронятся, то слова твои передам.

### **Глава третья ЗМЕИНЫЙ УКУС**

Через два дня Костя знакомыми тропинками пошел к Тимоше.

Шел он босиком, подходя к болоту, закатал порты выше колен и явился перед Анкудиновыми, как некий еллинский черт, по имени Сатир, коего видели они с Тимошей в одной из книг у отца Варнавы.

Узнав, что произошло в городе, Соломонида наотрез отказалась идти в Вологду.

– Никогда мне в той Вологде счастья не было, не будет и сейчас, а вы идите, – сказала она и, поджав губы, упрямо замолчала.

Тимошу и Костю пустили на владычный двор не враз. Сначала привратник долго расспрашивал их – кто такие, по какому делу идут в палаты, потом ушел и, вернувшись, Тимошу пустил, а Косте велел ждать за воротами.

Тимоша поднялся на высокое крыльцо, через просторные, высокие сени вошел в низкую тесную горенку домоправителя. Геронтий стоял у высокой конторки резного дерева и писал. Конторка показалась Тимоше необычайно красивой. Множество дверок ее были собраны из разных кусков дерева – желтых, коричневых, серых. На лицевой стороне конторки – по углам – были искусно вырезаны два древа, отягощенные диковинными плодами. Под одним деревом стоял нагой муж – прародитель Адам – и, стыдливо склонив

голову, глядел в сторону. Под другим деревом стояла – нагая же – прародительница рода человеческого Ева и глядела вверх, на ветвь, кою обвил громадный змей, явившийся ей ради соблазна и гибели.

Геронтий, отложив перо в сторону, строго взглянул на мальчика. Тимоша увидел суровое лицо совсем уже старого человека. Длинные седые волосы и длинная же седая борода делали его похожим на праотца Ноя, коего видел Тимоша в Ветхом завете у учителя своего Варнавы. Одет Геронтий был в холщовый подрясник, из-под коего виднелись мужицкие лапти. Как только Геронтий поднял голову, Тимоша враз перевел глаза со змея на образ Спасителя и, перекрестясь, низко поклонился домоправителю.

– Чей будешь? – не приветливо спросил Геронтий.

– Тимофей Анкудинов, Демьянов сын, – ответил Тимоша, подумав, что, наверное, домоправитель и так знает, кто он таков.

– Грамоте обучен?

– Чтению, письму и цифири обучен отцом Варнавой, – ответил мальчик.

«То добро, – подумал Геронтий. – Варнава к чтению прилежен, не бражник и не лентяй».

– Пойдешь в пищики? – спросил он Тимошу.

Тимофей враз представил, как будет он, согнувшись, сидеть за столом в душной, пропахшей воском горнице домоправителя и без конца писать всякие бумаги. Тут же встали перед его глазами – ночное, костер, звезды над головой, ветер с реки, плещущиеся под берегом щуки, и, придав голосу своему кротость, сказал Тимоша тихо:

– Не столь изрядно грамотен я, господине, чтоб возле твоей милости в пищиках пребывать. Пусти меня, господине, на конюшенный двор, больно я до коней охоч. Стану там любую работу работать, лишь бы мне при конях быть.

Геронтий подумал: «Впрямь, однако, будет лучше, если малец сначала поработает при конюшне. Как, не зная, в дом человека пускать? А там верные люди за ним присмотрят, все как есть перескажут, и, если окажется прилежен да честен, отчего тогда и в дом не взять?» Решив, что этот резон выскажет он и Варлааму, если тот станет говорить, что надобно брать мальчика в дом, сказал:

– Ну, ин быть по-твоему. Есть-пить будешь с конюхами и псарями, а жалованья тебе кладу в месяц полтора алтына. Иди с богом к Евдокиму да скажи, что я велел взять тебя к нему в работу.

Евдоким – отец Кости – определил Тимофея к табунку жеребят, где уже работал и Костя.

Четыре с половиной копейки в месяц, которые пообещал Геронтий Тимофею, нужно было отрабатывать честно. Однако не работа удручала Тимошу. Он сразу же заметил – и немало тому удивился, – что Евдоким, который до самого последнего дня относился к нему лучше, чем к родному сыну, враз переменялся. Теперь для него что служащие при конюшне холопы, что новый подпасок были почти едины. Костю он и дома, и на конюшне часто под горячую руку бивал, а теперь и на Тимофея пару раз замахивался, придираясь по мелочам, и не порядка ради, а чтобы показать сопливцу данную ему власть. Тимофей же, увидев такую в Евдокиме перемену, старался реже попадаться ему на глаза и дело свое делал исправно.

Через две недели после того, как начал Тимофей свою службу на конюшне, артель плотников поставила в монастырской слободке сарай, баню и избу, а Соломонида по этому случаю пригласила гостей.

За новым столом, на новых лавках уселись отец Варнава, Евдоким с женой, Соломонида да Тимоша с Костей.

В тот день Соломонида, низко поклонившись, впервые налила сыну и его товарищу хмельного зелья, потому как стал сын добытчиком, определился к делу и перед приглашенными надлежало ему выглядеть хозяином: другого мужика в доме не было, а

известно, что без хозяина и дом сирота.

Вино Тимоше не понравилось: было оно горькое, пахло прокисшим суслом и так ударило в голову, что в глазах поплыл туман, а в ушах – звон. Однако через некоторое время туман пропал, звон утих, а все тело приобрело какую-то легкость, будто собрался он взлететь. Сидящие за столом показались столь милыми сердцу, что каждого, даже слезливую Костину мать, захотелось расцеловать, а кроме того, появилось чувство, что вот он, Тимофей Анкудинов, Демьянов сын, и силен, и умен, и собою хорош.

Разговор за столом шел обо всем: о ценах на базаре, о нынешнем добром лете, что и тепло дает в изобилии, и дождями не оставляет, о том, как служится Тимоше у владыки, о многом прочем, что случилось в Вологде. Только о пожаре, что учинили божедомы, никто не сказал ни слова – зачем дурными воспоминаниями праздник портить?

Разошлись гости засветло – не пьяные, не трезвые, поблагодарив напоследок хозяйку за хлеб-соль.

Тимофей же лег на лавку и крепко заснул. А утром было ему так тяжело и скверно, как сроду не бывало: болела голова, тошнота подступала к горлу, во рту было столь пакостно, что и слов не подобрать. И не хотелось даже пальцем пошевелить, не то что на конюшню идти. Мать заметила все это, но ничего не сказала; дала испить квасу да сухую хлебную корку изрядно натерла хреном. Мерзкий вкус во рту хрен с квасом вроде бы и перебили, но ненадолго.

Встретившись на конюшенном дворе с другом, Тимофей узнал, что и Костя чувствует себя не лучше. В первый раз за все время оставили они стойла нечищеными: и у того и у другого вилы валялись из рук, а хотелось только одного – скорее ускакать на речку и залечь в тени, под кустом, по очереди купая жеребят. Так они и сделали: подперли дверь жеребятника колом и уехали на речку. А приехав, загнали коней в воду и завалились под куст. Солнце еще не припекало, от реки тянуло прохладой, когда вдруг один из жеребят заржал так жалобно да пугливо, будто малое дитя заплакало. От крика этого Тимофей проснулся, а Костя продолжал спать, приоткрыв рот и широко раскинув руки. Тимофей увидел, как все жеребята враз бросились из реки вон, а один, по кличке Игрунок, тот, что заржал жалостно, подпрыгивал, будто ему перебили ногу. Жеребята, сбившись у самой воды тесной кучкой, со страхом косились на воду. А хромой жеребенок выскочил на ближний лужок и, низко опустив голову, стал что-то искать в траве.

Тимоша разбудил Костю и рассказал ему о случившемся.

– Сом, должно, – пробормотал плохо соображавший Костя. – Сам знаешь, какие в реке сомы водятся. Иной не то что жеребенка – коня с ног сшибет.

Однако вскоре жеребенок упал в траву и тихо лежал, подогнув левую переднюю ногу. Мальчики, присев возле него, стали ласкать Игрунка, а он вздрагивал испуганно, жалостно, и в глазах у него стояли слезы. И тут Костя заметил, что согнутая нога начала прямо на глазах быстро опухать и через какой-нибудь час стала в два раза толще правой.

– Змея! – воскликнул Костя. – Его укусила водяная змея! Гони табун домой, а я поведу Игрунка!

И мальчики, с трудом подняв жеребенка на ноги, лаская его и уговаривая, повели на конюшню.

Когда они загнали табун во двор, то увидели в дверях жеребятника домоправителя Геронтия, самого владыку и не знавшего, куда девать глаза, Евдокима.

– Явились, голуби, – прошипел Евдоким и так двинул сына по уху, что тот упал, но, мгновенно вскочив, по-заячьи порскнул за конюшню.

– Стойла не чищены, а вы купаться! – заорал Евдоким и вслед за тем влепил затрещину Тимоше.

Его никто ни разу не бил: мать была к нему постоянно добра, сверстникам же своим он никогда спуска не давал и из самых жестоких драк выходил победителем, потому что если вступал в драку, то ничего не видел и не помнил, знал только, что надо бить, бить и бить, пока противник не упадет или не побежит.

И на этот раз с Тимошей произошло то же самое: от обиды – не от удара – поплыли у него перед глазами огненные круги, и, не помня себя, он наотмашь ударил Евдокима. Ражему конюху удар Тимоши был все равно что комариный укус медведю. Однако то, что весь этот срам видел сам владыка и домоправитель, вконец разозлило Евдокима. Схватив Тимошку за шиворот, он крикнул псарям:

– А ну-ка накормите щенка березовой кашей, да погуше!

И псари тотчас же поволокли Тимофея в съезжую избу драть розгами. Он кричал, плакал от злости и обиды, изворачивался, как уж, но что он мог поделывать с двумя дюжими мужиками?

А в то время как его драли розгами, спустив штаны, бросив на черную от засохшей крови колоду и сев верхом, Варлаам заметил, что один из жеребят хромает, и сразу же определил, что Игрунка укусила змея. Опухоль уже поднялась выше колена и подбиралась к груди.

– Вели позвать Соломонидку, – приказал владыка Геронтию. – Да пусть сразу скажут за чем. Чтоб была тут не мешкая со всем, чем надобно целить от змеиного укуса.

Соломонида пришла немедленно. Она велела нагреть воды, и те же псари, которые только что драли Тимошу, быстро растопили печь и поставили на огонь медный котел. Соломонида бросила в воду какую-то траву и, присев возле лежащего на земле жеребенка, ловким, быстрым движением взрезала ножом кожу, пустив кровь. Затем она обмакнула в густой зеленоватый отвар чистую холстину и запеленала в нее опухшую ногу.

Евдоким, псари, Геронтий и сам владыка хмуро, но с интересом следили за всем, что делала ловкая лекарка.

Только сын ее не видел этого – он сидел в темной съезжей избе, забившись в угол, и плакал. Он клял Евдокима, холопов-псарей, клял владыку и Геронтия за то, что ни один из них и пальцем не пошевелил, чтоб спасти его от позора и боли. Наплакавшись, он стал думать: «А ведь когда Евдоким ударил меня, он еще не знал, что Игрунка укусила змея. Если б знал, вдвое или втрое всыпали бы мне холопы. А ну как сдохнет Игрунок, что тогда будет?» И аж сердце у него сжалось от жалости и страха, а в груди похолодело.

До самого вечера сидел он в съезжей, стыдась показаться на глаза людям и матери. Вечером, пробравшись к жеребятнику, он крадучись вошел внутрь. Пахло вялыми травами, конским потом, прелой от мочи и навоза соломой. Жеребята сопели, тихо пофыркивали, терлись боками о стенки загонов. Тимоша нашел Игрунка и встал возле него на колени. Игрунок лежал на боку, подогнув ногу, и опасливо косился на мальчика круглым коричневым глазом. Тимоша нежно гладил жеребенка по шее, по крупу, когда вдруг услышал, как тихо скрипнула дверь. На пол лег желтый кружок света. «Евдоким, должно», – подумал Тимоша и затаил дыхание, не желая видеть обидчика. Круг света между тем приближался. Некто медленно и грузно шагал прямо к Игрунку в стойло. Тимофей глянул и обомлел: в черной рясе, простоволосый, шел по конюшне владыка.

Увидев мальчика, он поглядел в глаза ему и тихо произнес:

– Отодвинь-ко солому в сторону – светильник поставлю.

Легко коснувшись пальцами больной ноги жеребенка, владыка ласково потрепал Игрунка по холке и спросил:

– Как это он на змею-то наткнулся? А то тебя и товарища твоего так скоро в разные стороны унесло, что и узнать было не у кого.

– Купали мы их, а в реке змея, – буркнул Тимоша.

– Глядеть надо было лучше, затем и к коням приставлены. Змею в воде завсегда видно, – ответил Варлаам.

Тимоша промолчал.

– Горд ты очень и горяч, – после недолгого молчания проговорил владыка. – А ведь сказано: «Смирение паче гордости». Много ли гордецов вокруг себя видел?

– А то хорошо ли, владыко, что одне холопы кругом? – вопросом на вопрос ответил Тимоша.

– Где же это ты одних холопов узрел? Али и я холоп? – спросил Варлаам.  
– Так ты таков на весь наш край один. Ты да еще, может, государев воевода, а опричь вас двоих – все холопы.  
– И попа, и дворяне, и сотники, и люди купецкого звания – все холопы?  
– А кто другому кланяется – тот и холоп. Тебе да воеводе всяк кланяется, всяк шапку ломит да руку целует, али то не холопство?  
– Так ведь и я патриарху руку целую и государю в пояс кланяюсь, нешто и я холоп?  
– Перед ними, выходит, и ты, – тихо проговорил Тимоша и от страха сжался: всяк ли год слышал подобное владыка? И от кого?



Архиепископ поднял с пола светильник и близко поднес его к лицу мальчика. Сощурившись, он долго глядел в глаза ему, а Тимоша, замерев, стоял перед Варлаамом на коленях как деревянный. Однако ж взгляда не отводил.

– Сколь годов тебе, Тимофей? – спросил Варлаам, и мальчик удивился, услышав от владыки свое имя.

– Тринадцатый пошел.  
– Пошто не захотел к Геронтию в пищики идти?  
– Волю люблю, коней люблю, оттого и не пошел.  
– Зачем же грамоте учился?  
– Сперва мать велела, а потом и сам я заимел к грамоте великую охоту. А нешто грамоту проходят, чтоб волю на неволю менять? – вдруг спросил Тимоша, и Варлаам, вздохнув, сказал:

– А был бы у Геронтия в пищиках, глядишь, и не был бы сегодня бит. Последние слова показались Тимоше ох какими обидными!  
– А я от тебя, владыка, уйду! – вдруг крикнул он. – Не смогу я с псарями, что били меня, за один стол сести.  
– Куда ж пойдешь, Тимофей? Где ж это не бьют вашего брата? Али есть такая земля

Офир? – тихо спросил архиепископ, отведя взор на огонь свечи. – Нет такой страны, Тимофей.

– А я найду. Не может того стать, чтоб такой страны не было. Я вольный человек, мне кругом дорога чиста, – снова с обидой и запальчивостью выкрикнул Тимоша. – На Дон пойду али на Волгу, к казакам пристану, нешто пропаду?

– То детские слова, Тимофей. Пять раз повяжут тебя, покуда до Дону добежишь. Как докажешь, что ты вольный человек, стрелецкий сын? И вместо казаков угодишь ты в холопы али в тюремные сидельцы. – Владыка встал и голосом властным проговорил недовольно: – Возьми фонарь, казак, да посвети мне, покуда я до палат дойду.

Молча перешли они двор, и лишь у самого крыльца Варлаам обернулся и произнес:

– Что ж, Тимофей, испытай судьбу, а надумаешь ко мне вернуться – ворота открыты. – И благословил: – Иди с богом.

К лесной избушке Тимоша подошел засветло. Открыл дверь и увидел: лежит на лавке парень, а у парня под глазом синяк величиной с медный рубль. «Костя!» – ахнул Тимоша и, подкравшись неслышно, над самым ухом Кости хлопнул в ладоши, как из пистоли выстрелил.

Костя вскочил, ошалело замотал головой, замахал руками, не понимая, где он и что с ним.

Тимоша от смеха сел на пол, утирая рукавом слезы. Беда вроде бы кончилась. Жизнь шла дальше.

До самого полудня проговорили Тимоша с Костей о том, как им быть дальше. Тимоша твердо решил – к владыке Варлааму не возвращаться, но и на Дон не бежать, а пойти к стародавнему отцову приятелю, стрелецкому сотнику Луке Дементьеву, и попросить замолвить слово перед воеводой князем Сумбуловым, чтобы взял его князь в службу. Друзья договорились, что Тимоша пойдет домой к Косте и скажет Евдокиму, что ежели он, Евдоким, даст верное слово, что сына своего не прибьет, то тогда Костя в дом вернется, если же слова не даст или, пообещав, нарушит, то Костя из дому сбежит и более никогда не вернется.

Лука встретил Тимошу настороженно и долго выпрашивал, чего это он надумал пойти в службу. Тимоша все ему рассказал, но главного Лука так и не понял: ежедневно приходилось ему и в съезжую избу беглых холопов водить, где, допросив, били их батожем или даже плетью, и тюремных сидельцев, забитых в колодки, по базару за милостыней водить, и на правож татей и лиходеев едва не каждый понедельник ставить. На глазах у Луки столько народа было бито, драно, мучено, пытану, что никак он не мог взять в толк Тимошину обиду, однако слово за него замолвить обещал.

Затем Тимоша пошел к Евдокиму.

– С чем пожаловал? – спросил Евдоким и тут же с явной издевкой добавил: – Али за порчу жеребенка деньги принес?

– О жеребенке особь разговор, – буркнул Тимоша. – Я к тебе пришел от Кости. И говорю тебе верно: если ты его бить не перестанешь, уйдет он, а куда, то тебе знать не надобно.

От такой дерзости Евдоким лишился речи.

– Ах ты пащенок! Ах сопливец! Это как ты со старейшим себя разговариваешь! Да я и с него и с тебя по три шкуры спущу, ежели кого из вас в избе у себя увижу!

И Евдоким грозно на Тимошу двинулся, но тот, схватив стоявшую рядом железную кочергу, отступил на шаг и, ощерившись злобно – ни дать ни взять разноглазый волчонок, – прерывающимся от страха и окончательной решимости голосом сказал:

– Не подходи, зашибу!

Евдоким вдруг отступил к лавке и громко захохотал:

– Ты погляди, каков Васька Буслаев из сопливца возрос! – И, перестав смеяться, проговорил: – Я тебя, Тимофей, вместе с кочергой три раза узлом завяжу, да не в том дело.

Ты мне никто. А явится Костка, быть ему битую. А не явится – пусть идет на свой хлеб. То слово мое последнее.

Костя, узнав о разговоре Тимоши с отцом, твердо решил домой не возвращаться. Подумав, что делать дальше, он пошел к брату матери, Ивану Бычкову, что жил в Обуховской слободе и слыл среди вологодских плотников первым умельцем.

Неделю назад Иван кончил работу – долгую и, как ему поначалу казалось, денежную: по заказу владыки он сладил деревянные часы – куранты, в которых железной была лишь одна аглицкая кружина, и те часы поставил на колокольне Софийского собора. Затем Иван срубил к часам указное колесо с цифирью и все это уставил в шатер. От механизма часов к одному из колоколов Иван протянул длинную рукоять с молотом на конце, и тот молот каждый час бил по колоколу, извещая вологжан о беге быстротечного времени, а более того призывая к утрени, литургии и вечерне, кои исправно и точно можно было отныне служить в первый, шестой и девятый часы после восхода солнца.

А то как было до того в Вологде? Поглядит звонарь на солнце и, перекрестясь, ударит в колокола. А если небо в тучах либо звонарь пьян? То дивятся на неурочный звон граждане, а многие и пугаются: вдруг татарове или же литва подступают к Вологде и не есть ли тот звон – набат?

Поначалу весьма многие вологжане дивились первому в городе часозвону, особливо же поражены были этим иноземные купцы, обретавшиеся о ту пору в городе. Один из купцов предложил владыке за часы пятьдесят рублей, но Варлаам в ответ только ухмыльнулся в бороду.

Иван же, получив, по слухам, целых десять рублей, вот уже неделю гулял в царевом кабаке, угощая плотников, бочаров, тележников и людей иного звания. А когда в государев кабак явился Костя, то Ивана едва признал: сидел его дядя во главе стола, от выпитого вина столь страшный, что встретить такого ночью – перекрестись и трижды плюнешь, как от бесовского наваждения. Однако ум у Ивана еще не совсем отбило. Он племянника узнал и, поведя головой, указал ему сесть рядом. Питухи, что сидели за столом, никакого внимания на Костю не обратили. Целовальник поставил на мокрый и грязный стол новый штоф вина, и Иван дрожащей рукой налил зеленое зелье в две оловянные кружки: себе и Косте. Костя отпил глоток, сморщился, закашлялся и схватился за ендову с квасом. Дядя захохотал и спросил:

– Что, не сладко?

Костя, утирая выступившие от кашля слезы, ответил:

– А то сладко? – И тут же, ткнувшись дяде в плечо, зашептал горячо и быстро: – Дяденька, родненький, помоги мне отсель бежать. Дай на дорогу полтину денег, а я тебе семь гривен верну, как только в работу войду.

Иван чуть протрезвел. С трудом выговаривая слова, спросил:

– А куда бежишь и зачем? Везде одно и то же. Я владыке и гражданам какой часозвон сладил, а? В немецких городах и то нет ему подобна. А мне за год работы да и за все умение мое – пять рублей, а говорит всем, что десять. А теперь у меня, брат Костка, и алтына нет. Вчерась последний извел. Вот это вино Мокей Силантьич мне в долг поднес.

Иван посмотрел в свою пустую кружку, допил одним глотком, что оставалось в кружке у Кости, и уронил голову на стол.

– Подойди ко мне, выюнош, – вдруг услышал Костя тихий, вкрадчивый голос кабатчика Мокея Силантьевича.

Костя подошел к стойке и, глядя в маленькие выцветшие глазки целовальника, спросил:

– Пошто звал?

– Помочь тебе хочу.

– Много ли за помощь спросишь?

– Как бог даст.

– Ну, говори.

– Обещал я Кондратию Демьянычу да приказчику его Акакию Евлампиевичу верного человека в услужение присмотреть. А ты по кабакам не ходишь, отец твой тоже человек добрый, а яблоко, известно, от яблони недалеко падает. А к кому в услужение пойдешь – сам смекай.

Костя, хоть и юн был, Кондратия Демьяныча Акишева знал. Да и кто не знал его в Вологде! Пожалуй, не было в городе человека богаче и тароватей Акишева.

Десять лет назад пожертвовал Кондратий Демьяныч семьсот рублей братии сожженного литвой Ильинского монастыря, и на те деньги монахи отстроились, возведя кельи, и службы, и дома многие. А венцом всего была церковь Ильи-пророка, что в Каменном. И потому как было не знать человека, который собственным иждивением поставил целый монастырь!

Пойдя ко двору Акишева, одного не понимал Костя: почему это жадный и злой на весь свет целовальник вдруг сделался таким благодетелем?

Приказчик Акишева враз смекнул, как и почему оказался Костя у него на дворе. Собирал Акишев обоз с товаром в Москву, и нужны ему были в дорогу сторожа и конюхи. Однако платить им купчина не хотел, а даром кто в Москву пойдет за полтысячи верст? Вот и договорился он с кабатчиком: если услышит от кого, что хотел бы кто из Вологды вон идти, – присылал бы Мокей такого к нему на двор, к приказчику Акакию Гугнивому, и за каждого того мужика либо парня будет Акишев должен целовальнику пятак.

Акакий, маленький, плешивый и желтолицый, спросил:

– За конями ходить можешь ли?

И Костя сразу же сообразил, что прозвище у приказчика не родовое, не от отца перешедшее.

– Так я ж конюхов сын.

– Чей же?

– А Евдокима, что у владыки на конюшне старшой.

– Так это ты, умелый молодец, жеребенка наемни загубил?

Костя понурился.

– С кем греха не бывает, Акакий Евлампиевич?

– У нас не бывает, – прогнусил приказчик.

– Не будет впредь и у меня, – виновато проговорил Костя. – То мне на всю жизнь наука.

– Ну, так вот, – сказал Гугнивый, – жалованья тебе никакого не будет. За харч возьму тебя в возчики. А ты, если согласен, приходи в воскресенье к вечерне. У Ильи, что в Каменном, Кондратий Демьяныч молебен заказал за странствующих и путешествующих. С молебна – к нам на двор, а засветло – с богом, в дорогу.

## **Глава четвертая ВОЕВОДСКИЙ ПИЩИК**

Воевода князь Петр Васильевич Сумбулов происходил из служилых татар волжской степной стороны.

Был воевода коренаст, ростом мал, а потому носил высокую шапку и сапоги на каблуках. Однако сей природный недостаток возмещал не только каблуками и шапкой, но более всего необыкновенною свирепостью и неукротимостью нрава, повергая в трепет не только мужиков и купцов, но даже дворян, хотя бы и были они ростом в сажень.

Выезжал князь Сумбулов со своего двора, что располагался в Вологодском кремле, верхом на бешеном высоченном аргамаке о бок с двумя стремянными холопами разбойного вида, с двумя же ужасными собаками по имени «дог», купленными князем втридорога у заезжего английского купца.

Аргамак бил в землю копытами, косил огненными глазами и, роняя белую пену,

вертелся под воеводой как черт. Собаки, черные и блестящие, каждая ростом с годовалого телка, рвались у холопов из рук, натягивая сыромятные поводки, как тетиву лука. Холопы – ражие мужики с пистолями и кривыми татарскими ножами за поясом – щерились по-волчьи, поигрывая ременными плетками. Кони у холопов были низенькие, косматые, и потому холопы, несмотря на огромный рост, едучи рядом с князем, едва достигали ему до плеча.

Все это хорошо знал любой житель Вологды, и потому Тимоша изрядно робел, представляя ожидающую его встречу с князем.

Князь Сумбулов сидел под образами на крытой бархатом лавке. Уставив кулаки в колени, глядел не мигая прямо перед собой, начальственно и пронзительно.

Лука низко поклонился, коснувшись кончиками пальцев ковра. Тимоша, поглядев на сотника, сделал то же самое.

– Тебе, малец, перед князем и воеводой и на колени встать не грех. Лука – сотник, не тебе чета, – раздраженно проговорил князь.

Тимоша тотчас же почувствовал на плече тяжелую руку сотника.

Рухнув на колени и кланяясь князю еще раз, Тимоша вдруг с озорством подумал: «Впрямь Егорий Победоносец, а не живой человек». Разогнувшись, заметил над головой Сумбулова образ, на коем Егорий копьем пронзал змея. Сдерживая смех, Тимоша улыбнулся и весело взглянул на князя.

Сумбулов, заметив улыбку, решил: «Ласковый малец и, видать, незлобивый».

– Ну, говори свое дело, – потеплевшим, спокойным голосом проговорил воевода, и взор его стал не столь грозен.

– Возьми меня в службу, князь Петр Васильевич.

– А какова может быть твоя служба, малец?

– Что, князь, прикажешь, то я и сполню, – с покорностью и готовностью, как учил его Лука, ответил мальчик.

– Это ладно, что ты такой – ко всякому делу готовый. Да только у меня на то холопов довольно. А вот грамотен ли?

– Читать-писать обучен, князь Петр Васильевич.

– И то ладно. Петрушка! – крикнул воевода.

Тотчас из соседней горницы вбежал невысокого роста прыщавый пищик. Переломившись в поклоне, преданно уставился в глаза хозяину.

– Возьми вот мальчика и спытай, годен ли в пищиках состоять. Ежели годен, то приди с ним через неделю ко мне на очи и все как есть доложи. А теперь идите все трое вон – есть буду.

До отхода обоза Костя прожил в избе у Тимоши. В воскресенье днем, улучив момент, когда отец ушел из дому, Костя попрощался с матерью, плачущей и вконец скорбной. Взял у нее гривну денег, серебряный образок Николы – покровителя всех странников и моряков – и, еле утешив ее, пошел к Тимоше.

Попрощавшись и с Соломонидой, Костя вместе с Тимошей направился в церковь Ильи-пророка. В уважение благодетелю Кондратию Демьянычу вечерню служил сам игумен Ильинского монастыря со всем причтом и братией.

Костя и Тимоша, как все вокруг, молились жарко, истово. Они просили угодника Николая спасти Костю и всех его новых товарищей от разбойников и воевод, от болезней, от татыбы, от непогоды и лихоимства мытников.

Мерцали свечи, блестели оклады икон, согласно и благолепно пел монастырский хор, и мальчикам казалось, что все теперь будет хорошо, потому что не мог стоящий у престола всевышнего угодник его Николай не заступиться за Костю.

...Ранним утром, ясным и прохладным, Тимоша стоял у ворот Борисоглебской башни и ждал, когда огромный обоз в сотню телег прокатится мимо. Рядом с ним стояли жены и дети сторожей, приказчиков, возчиков, шедших вместе с Костей в Москву.

Обоз уходил вдаль. Затихал скрип колес, топот коней, голоса возчиков. Когда почти ничего уже не было слышно и нельзя было различить телегу Кости среди других телег, Тимоша повернулся и со щемящим тоскою сердцем, не оглядываясь более, побрел в город.



И покатились один за другим дни Тимофея Анкудинова, стрелецкого сына, пищиковоевской избы. Остались позади босоногие сверстники, ясные зори, тихие ночи, рыбацкие костерки на берегах, неторные тропы темных лесов, ласковые губы жеребят в ночном, терпкие запахи трав, блеклая краса северных цветов. На смену этому пришло другое: хитрые, жадные государевы служилые люди – воевода, подьячие, писцы, старосты, сотские, – начальные власти, начальие. Все они вопреки поговорке: «Началие принять – богу и людям ответ давать» – никому и ни в чем ответа не давали, кроме еще более высоких начальников, да и тех обманывали без зазрения совести, на что, впрочем, вышние власти смотрели сквозь пальцы, лишь бы подношения шли исправно.

И видел Тимоша, что всякий начальничишка более слабого человека завсегда норовил обидеть, однако же смягчался, ежели получал мзду.

А главным занятием всего вологодского начальия, кроме отписок в Москву, были судебные тяжбы да многие поборы. Брали все: уток, гусей, масло, говядину, чаши, кувшины, осетров, сигов, седла, сбрую, сукна, холсты; брали сани, телеги, жеребят, поросят, но охотнее всего – деньги. И вопреки еще одной поговорке: «Начальник – за всех печальник» – печалились только о себе самих да о собственных своих чадах с домочадцами.

А что касается воеводского суда, то Тимоша каждый день убеждался, что нет человека, который бы суда не боялся. «В суд ногой – в карман рукой», «Где суд – там и неправда», «В земле черви, в воде черти, в лесу сучки, в суде крючки – куда уйти?» – говаривали самые бесстрашные из приходящих и приводимых в воеводскую избу, и Тимоша знал – истинную правду говорили они.

С приказными он не сошелся. От сверстников, что один за другим шли по стезе отцов, становясь плотниками, гончарами, конюхами, кузнецами, приказчиками, отстал. И остались у него мать да книги.

Вечером, когда в поставце угасала лучина, Тимоша, лежа на лавке, тихо рассказывал матери о прожитом дне, а мать слушала молча и только в самых трудных местах шептала: «Спаси, господи, и помилуй».

Так шли недели и месяцы. Отшелестела палым листом и крыльями улетающих птиц осень. Пришла зима – белая, студеная, долгая. В феврале начались метели. Ночи были беззвездными. На великий пост закрыли и государев кабак – цареву кружало. Питухи бездельно засели по избам. Тишина, лень и скука толще снега укутали Вологду.

В воеводской избе одни только тараканы бегали живо, как ни в чем не бывало. Подьячий же и письменные люди и жалобщики от долгого поста двигались медленно,

говорили тихо, дела не делали вовсе.

В первую неделю поста вернулись из Москвы приказчики, что водили летом обоз купца Кондрата Акишева. Один из них привез Тимоше письмо от Кости. Костя писал, что устроился в государев Конюшенный приказ, хвалился развеселым и безбедным житьем в шумном, пьяном и тароватом граде Москве, а в конце звал Тимошу ехать к себе, уверяя, что не будут они вдвоем знать в Москве никакого лиха.

Прочитал Тимоша письмо, и показалась ему Вологда скучнее прежнего.

День ото дня стали приходить Тимоше на ум всякие невеселые мечтания. «Пошто я не боярский сын? – думал Тимоша. – Пошто ежедень сижу с рассвета дотемна в приказной избе, как тюремный сиделец, а другие люди гуляют денно и ночью, и спят на пуху, и едят сладко?» И от всего этого еще сильнее потянуло Тимошу к единственной отраде – книгам. Долгими вечерами, засветив лучину, перечитывал он Ветхий завет и Новый завет, жития многих святых отцов, пророков, апостолов и мучеников. Разные это были люди: иные рабского и холопского звания, иные царского рода. Жили они в разных странах: в Византии, в Еллинской земле, и в Святой земле, и в Антиохии, и в Риме, а иные и совсем рядом – в Прилуках, в Белозерье, в Ферапонтовом монастыре. Овые вместе с Христом начинали свой путь, овые свершали деяния столь недавно, что их и старики вологодские помнили и знали. Однако было у них у всех нечто общее, сплотившее их всех воедино, в священную дружину, в легион праведных. Была у них вера, и за эту веру шли они на крест, на растерзание диким зверям, на костер, на пытки. И от этой веры самое страшное мучение было им наградой, ибо верили они, что муками своими спасают не только себя, но и всех человеков, погрязших в грехах и пороках. А муки их, думали они, как свечи, горящие во тьме, освещают путь к вечному спасению.

Чтение очень увлекало Тимошу, и, когда у вологодских книжистых людей уже ничего более не оставалось, Тимоша, собравшись с духом, отправился в дом к владыке. Было это в воскресенье, после заутрени, на четырнадцатый день великого поста.

Владыка имел богатую книжницу, и только настоятели трех близких к городу монастырей – Спасо-Прилуцкого, Кирилло-Белозерского и, особенно, Ферапонтова – могли похвалиться большими, чем у владыки, библиотеками.

Варлаам сразу допустил к себе Тимошу и, выслушав его, велел идти за собою в книгоположницу. Тимоша прошел длинный ряд комнат, богато убранных коврами, резными ларями, иконами, вышитыми полотенцами. В двух последних покоях второго этажа размещалась книжница. Книги лежали в ларях, на подоконниках, на лавках и на придвинутых к стенам столах. В каждом покое у окна стояло по одному креслу с высокой спинкой и подлокотниками и по одной малой деревянной скамеечке для ног. Владыка опустился в кресло, велел:

– Пододвинь скамью.

Тимоша быстро подвинул. Владыка сказал:

– Ну, Тимофей, выбирай, что любо, только знай: из книгоположницы выноса нет. Здесь бери, здесь же и чти. А как прочтешь, я с тобой поговорю: таков ли книгочей, за коего себя считаешь? И как к вечерне начнут звонить, то ты книгу на место клади и к службе поспешай, а в храме – в тиши и раздумье – господь тебя надоумит о том, что вычитал, верно судить.

Варлаам ушел, и Тимоша, оставшись один, медленно стал обходить книгоположницу, внимательно разглядывая собранные богатства.



Книги были разные – печатные и рукописные, ветхие и совсем новые, в кожаных, медных, серебряных, дощатых, пергаментных переплетах и без переплетов – завернутые в белые холстины. Были книги лицевые – украшенные многими рисунками, переписанные красками многих цветов, с узорочьем и орнаментами; были сделанные спешно – простой скорописью, выцветшими чернилами, как пишут писцы в воеводских избах; были книги-великаны – в полсажени, были малютки – всего с ладонь.

Тимоша встретил здесь много старых знакомых, однако обнаружил и таких, каких прежде он не видывал. Здесь увидел он сочинения о недавних событиях: «Казанское сказание», «Временник Ивана Тимофеева», «Сказание Троице-Сергиева монастыря келаря Авраамия Палицына», «Сказание о бедах и скорбях и напастях, иже бысть в велицей России», а в последнем покое Тимоша наткнулся на книгу с прелюбопытным названием: «Царево государево послание во все его Российское царство на крестопреступников его, на князя Андрея Курбского с товарищи о их измене». Тимоша раскрыл книгу и сразу же увидел знакомую фамилию. Некто, сочинивший «послание», писал: «Стоит только об одном лишь вспомнить: как еще ребенком играли мы в спальне нашего отца, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, локтем опершись на постель нашего отца, и, положив ногу на стул, не приклоняется к нам. И такую гордыню кто может снести?»

Тимоша перевернул несколько страниц и вновь увидел фамилию Шуйского: «И выковал себе в нашей казне золотые и серебряные сосуды, и высек на них имена своих родителей, будто были они достоянием его родителей. А ведь всем людям известно: при матери нашей у князя Ивана Шуйского была единственная ветхая шуба из зеленого мухояра на побитом молью куньем меху. И если бы то была их старина, то, чем было сосуды ковать, лучше было бы шубу переменить».

И Тимоша вдруг вспомнил осевшую в землю избушку, светец на столе и причудливую вязь на золотом кресте: «Раб божий князь Иван Шуйский-Плетень». «Царево государево послание», – подумал Тимоша. – Да, никак, это сам царь Иван Грозный написал – вот ведь как вышло, что и здесь Шуйские помянуты и нелюбовь царя Ивана к этому роду здесь видна. Значит, не зря бежал на реку Сухону, в глушь вологодских лесов, Плетень-Шуйский, не зря хоронился от людского глаза. Может быть, знал, что царево послание пошло во все города государства Российского?»

Тимоша взял в руки еще одну книгу – «Временник Ивана Тимофеева» – и, начав читать, не мог оторваться. Удивительной показалась книга Тимоше. В ней не рассказывалось о чудесах, о подвигах схимников, одетых в рубища, голодных и немых, проводивших всю жизнь в ямах. В ней не рассказывалось о видениях и пророчествах, о кознях дьявола, об ангелах и архангелах. Дьяк Иван писал в книге о том, что он слышал от людей, которых знал, о том, что видал сам, о том, что вычитал в книгах.

Тимоша узнал из книги Тимофеева историю своей страны за четыре последних, самых бурных ее десятилетия. Он, не отрываясь, единым духом, прочел о правлении всех русских царей от Ивана Грозного до Василия Шуйского. Он узнал, что царь Иван как топором

рассек русскую землю на две половины, назвав одну земщиной, а другую опричниной. Он узнал, что, минуя единокровного сына, Иван поставил на царство татарина Симеона Бекбулатовича, а затем в припадке бешенства сына своего убил жезлом. Он узнал, что первенец Ивана – царевич Димитрий – утонул младенцем, а последний его сын, получивший то же имя, погиб от рук убийц.

Он прочел, как после смерти другого сына царя Ивана – безвольного и слабоумного Федора – на престоле оказались случайные люди – Борис Годунов, а затем беглый монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев, выдавший себя за младшего сына Грозного – Димитрия.

Он узнал, как Лжедмитрий – Отрепьев, – подняв казаков, дворян и холопов, занял Москву, венчался на царство и как затем был убит людьми, не потерпевшими бесчинств пришедших с ним иноземцев.

«За какие грехи, – читал Тимоша, – наказана наша земля? Нет места, где бы горы и холмы не поливались христианскою кровью, и долины и леса наполнились ею, и вода, окрасившись кровью, сгустилась, и звери и птицы насытились человеческими телами.

Наказаны мы за дерзость клятвoprеступлений, за гордыню, за отказ от упорного труда, за любовь к наградам, за чрезмерное обжорство и пьянство, за злопамятность к близким своим. К этому присовокуплю ненасытную любовь к деньгам, хвастовство одеждою и приобретение множества ненужных вещей. А ведь известно, – писал дьяк Иван, – всякая гордость увеличивается при изобилии вещей, – читающий да разумеет!

И последнее, нестерпимое зло, навлекшее на Русь гнев божий, – произношение матерных скверных слов, ибо ими мы оскверняем сами себя и матерей своих. И мать божия, заступница наша, отвращает от нас лицо свое и пребывает к нашим молитвам глуха.

Сердце наше окаменело, и мы не ждем над собою суда. И родина наша, как вдова, сидящая при дороге, и одетая в траурные одежды, и страдающая от многих окруживших ее врагов».

А в самом конце книги он увидел заголовок: «Царство царя и великого князя Василия Ивановича Шуйского». «Снова Шуйский», – удивился Тимоша и уже в предчувствии чего-то необыкновенного, веря в какое-то предзнаменование или откровение, стал читать:

«Зависть к царствованию возникла и у Василия Шуйского, и, как стрелою подстреленный властолюбием, он неосмотрительно и спешно сел на престол. Он создал себе дом и не углубил его в землю, но основал его на песке. Он поднялся внезапно, по собственному побуждению и без согласия всей земли сам поставил себя царем, и этим он возбудил к себе ненависть всех городов своего государства. И началось по всей земле нашей непослушание, и самовластие рабов, и осада городов, и сам Василий со всем своим родом был в Москве бунташными холопами заперт и затворен, как птица в клетке. Неожиданно пришли из своей земли под мать городов русских – Москву – богопротивные люди, все латины, и осадили ее, как некогда при Ное вода потопа внезапно пришла и затопила землю. По всем городам умножились злые начальники и самовластие, и среди людей пылал неукротимый пламень гнева. И в конце Шуйские сами отломились от маслины и вскоре, по писанию, „низложены были с престола“, а царь Василий со всем родом своим во власянице и в худых рубищах был отправлен в страну чужeverных, в далекий плен, и там сошел под землю, получив сноп жатвы своей, сноп зависти и других своих зол. И не осталось никого из рода его».

Тимоша кончил чтение, не переставая дивиться тому, что в двух наугад раскрытых книгах он прочел об одном и том же – о роде князей Шуйских.

Темной, скрипучей лестницей сошел он во двор и, взглянув на часозвон, увидел, что скоро начнется обедня. Тимоша вспомнил данное владыке обещание и вошел в Софию. Храм был светел, холоден и пуст. После великого литовского разорения, случившегося семнадцать лет назад, в сентябре 1612 года, когда город за сутки был разграблен и выжжен дотла, в храме оставались лишь четыре иконы: Софии, Спаса, Смоленской богородицы и положение Лазаря во гроб. Глядя то на одну, то на другую икону, Тимоша встал возле

одного из четырех столпов, поддерживавших свод, и задумался над тем, что только что прочел.

Он думал о том, что несчастье равно постигает как раба, так и царя и, наверное, есть счастливые рабы и несчастные порфириноносцы. И бывает, что рожденный холопом становится царем, как случилось это с Григорием Отрепьевым, и бывает, что царь умирает в чужеземной тюрьме, как случилось это с Василием Шуйским. Наверное, и вправду бог играет людьми и возносит того, кого возлюбит, и низвергает того, на кого разгневается.

Только как разгадать волю его?

Меж тем храм заполнился молящимися. Замерцали свечи возле алтаря, у образов, в руках людей, стоящих тесно и плотно. И, увидев плывущие над полом огоньки, Тимоша вспомнил вычитанные где-то слова: «А как увидишь в храме сонм горящих свечей – знай: светят тебе души мучеников, и невинно убиенных, и скорбящих, что еще живут возле тебя, и недужных, и голодных. И подумай, сколь много их, и дай каждому, что можешь».

И тут запел хор, и владыка со священниками и дьяконами вышел из царских врат в светлой, усыпанной каменьями митре, в парчовом, тканном серебром и золотом облачении, встал перед иконостасом, сурово сдвинув брови и крепко уставив в пол высокий архипастьрский посох.

И начался обряд анафемствования – великого церковного отлучения, самую страшного наказания, измышленного святыми отцами не для живых, но для мертвых. Даже если анафеме предавался живой еще человек, то для православной церкви он был уже мертв, ибо церковь отказывалась молиться за души преданных анафеме, навсегда извергая их из сонма православных.

И в самом конце протодьякон проклял и отлучил от церкви главного бунтовщика – Гришку Отрепьева.

– Да истребится на земле память о нем! – взревел протодьякон и, усилив мощь голоса до предела, прорычал: – И да буде проклят и отлучен многократ и после смерти не прощен, и да не примет земля тела его, и да горит в геенне огненной день и ночь, и будет мучен вечно! Анафема!

– Анафема! – не ангельскими голосами, а как будто пропела труба Страшного суда, – глухо и грозно откликнулся хор. И когда замерли его последние раскаты, протодьякон повернул фитилем вниз горящую свечу, и она погасла, источая смрад.

– И сугубо – анафема! – провозгласил протодьякон еще раз – и заплакали, запричитали старухи и женки.

– И трижды – анафема! – вновь прорычал протодьякон – и в ужасе пали на колени мужи и старцы.

А Тимоша стоял, и всплывали в памяти его слова, прочитанные в книге: «А иные, некие, говорят, что был он, расстрига Отрепьев Гришка, до холопов и простых хрян ласков и хотел волю им дати, да, говорят, встали супротив него бояра, да князя, да помещики – и тово расстригу жизни лишили».

И когда на рев протодьякона вновь откликнулся владычный хор, Тимоша смятенно огляделся вокруг и пошел из храма – каменного, тяжелого, тесного – под небо, под звезды, в белые снега, на лунный свет.

За месяц Тимоша прочитал все, что относилось к великой замятне, окончившейся за шесть лет до его рождения. Он узнал о Лжедмитрии и жене его, Марине Мнишек; о другом Лжедмитрии, о несчастном сыне Марины – двухлетнем «воренке», повешенном московскими палачами. Он узнал о крестьянских вождях Иване Исаевиче Болотникове и Хлопке, о спасших Москву нижегородском мяснике Кузьме Минине и князе Дмитрии Пожарском. О всеконечном разорении Русской земли поляками, литовцами, татарами, шведами. О боярских заговорах и предательстве, когда по воле боярства на русском престоле должен был оказаться польский королевич Владислав Ваза. Однако более всего Тимошу интересовал Василий Шуйский и судьба его рода. Во многих попадавшихся ему

книгах встречал Тимоша фамилию Шуйского, и разрозненные события выстраивались у него в голове в единую неразрывную цепочку.

«Ростом он мал, глазами зелен, волосом плешив, нос имел протягновенен и книзу концом загнут, нижняя губа была у царя Василия отвисла», – прочитал он в книге князя Катырева-Ростовского и в одном из владычных покоев внимательно погляделся в зеркало. Из зеркала пристально смотрел на него темно-русый юноша. Один глаз у него был зелен, а нижняя губа сильно выдавалась вперед.

Много книг прочитал Тимоша о Великой смуте. И не нашел среди книг хотя бы двух согласных между собой.

Книги, как и люди, то лукаво подсмеивались друг над другом, то в открытую друг друга бранили. И каждая убеждала читающего ее: «Вот она, правда-истина. В иных же книгах – враки и небылицы».

«Впрямь как старые ратники, – думал Тимоша, – что собираются по вечерам в кабаке и один другого уличают во лжи да в хвастовстве». И книги, ранее казавшиеся Тимоше непогрешимым и чистым родником правды, теперь стали напоминать гораздых на выдумки странников, у которых на одно слово правды приходилось три слова выдумки.

Однажды завел Тимоша разговор о Смутном времени с самим владыкой. Крепко удивился Варлаам, когда оказалось, что юнец не просто рассказывал и расспрашивал о вычитанном в книгах, но подметил такие несуразности, каких не увидел и сам архиепископ – современник и участник многих событий.

– А у тебя, Тимофей, не голова – царева палата, – задумчиво проговорил владыка, с непонятной мальчику грустью взглянув на него. – Жаль только, что не доброго ты кореню, а то быть бы тебе стольником или окольничим, а так пропадешь ни за што. На Руси испокон повелось: ежели ты родовит да глуп – быть тебе возле царя, а ежели ты беден да умен – не сносить тебе головы.

## **Глава пятая ЛЕОНТИЙ ПЛЕЩЕЕВ**

Весной 1635 года Петр Васильевич Сумбулов поехал на медвежью охоту. Холопы подняли из берлоги полуторасаженного старого песта – стервенника. Конь, испугавшись зверя, взметнулся свечкой – и вылетел князь из седла, а падая, ударился виском о старую корягу и, охнуть не успев, отдал душу богу.

Через месяц в палатах Вологодского кремля поселился новый воевода, дворянин московский Леонтий Степанович Плещеев. Ростом он оказался даже меньше, чем покойный князь Петр, лицом был совсем нехорош: глазки маленькие, носик востренький, борода клочками, рот щеляст. Говорил тихо, ходил неслышно, смотрел куда-то вбок, не выпуская из рук желтых янтарных четок.

Ни собак, ни лошадей не держал, и верхами никто его никогда не видывал.

Новый воевода приехал с немалым обозом в сопровождении двух дюжин холопов – молчаливых, расторопных, исполнявших малейшую прихоть своего господина по мановению перста.

На следующее же после приезда утро все воеводские холопы оказались при деле: один сменил старого домоправителя, отобрав у него ключи от сундуков и подвалов, второй засел в приказной избе, чутко вслушиваясь в робкий шепот пищиков и подьячих и неумоимо перелистывая бумаги. Остальные оказались в самых важных и прибыльных местах Вологды: у городских ворот, где взыскивался мыт – плата за торговлю, иные на вологодском базаре, в торговых рядах, на постоянных дворах, в кабаках и даже в съезжей избе. Повсюду враз появились глаза и уши нового воеводы, Леонтия Степановича Плещеева.

И жизнь в Вологде также враз переменилась. Новый воевода, как бы бесплотный,

невидимый и неслышимый, не показывавшийся за ворота кремля, подобно злему духу стал витать над каждой улицей города, над каждой его избой.

Уже через неделю многие поняли, что крикливый, скорый на расправу князь Сумбулов – сущий ангел по сравнению с Леонтием Степановичем Плещеевым. Купцы, посадские, тяглые мужики, а затем и окрестные помещики почувствовали цепкую, липкую руку нового воеводы, беззастенчиво лезшую в их карманы, проникавшую под крышки их сундуков, раскрывавшую заветные кисы с серебряными денежками.

В приказной избе воцарилось великое уныние. Просители шли в избу как и прежде, однако мзду получали теперь не пищики и подьячий, а засевший под образа плещеевский холоп, велевший именовать себя Кузьмой Ивановичем.

Приказным же людям доставалось теперь то, что воеводский холоп давал им в конце недели. И видит бог, сколь ничтожны стали их достатки!

Столь же оскудели и другие письменные и начальные люди Вологды, которые при князе Сумбулове имели доходы много крат больше. И оттого меж лучшими людьми вначале произошло некое смятение, а затем объявились супротив нового воеводы заводчики, начавшие тихую, поначалу неприметную гиль.

В приказной избе первым заводчиком оказался подьячий Петр Хрипунов. При старом воеводе более всего перепало ему мзды, и потому теперь он оказался обиженным сильнее других. Два других пищика, что не брезговали подношениями, примкнули к подьячему, и лишь Тимоша остался от гилевщиков в стороне. Кузьма Иванович оказался ох как не прост и будто в воду глядел – с самого начала все верно понял.

Однажды в конце дня, когда все приказные люди уже понадевали шапки, Кузьма Иванович буркнул:

– Останься, Тимофей, ты мне надобен.

Тимоша снял шапку и повернулся к Кузьме Ивановичу. Тот подождал, пока все вышли, и сказал:

– Приходи, как стемнеет, в избу к Леонтию Степановичу. В ворота стукнешь четырежды. А спросят: «Кто таков?» – ответствуй: «Добрым людям – товарищ, недобрым – супостат».

Варлаам сразу же узнал о проделках нового воеводы: верные архиепископу люди и при Леонтии Степановиче оставались на старых местах, и владыка думал, что, как и прежде, он знает все.

Однако знал он лишь то, что и почти все жители Вологды: новый воевода хитер, жаден, увертлив; холопы его – как пиявки на больном: сосут кровь, пока не отвалятся; соглядатаи его, как тараканы, в любой избе.

Не знал Варлаам главного: что поделывает Леонтий Степанович за высокой стеной, за крепкими воротами...

Тимоша, принаряженный, умытый, подошел к запертым воротам воеводского двора. Стукнул, как было велено, и на голос – чужой, незнакомый – ответил по-условленному.

– Иди вслед, добрым людям товарищ, – тихо проговорил привратник, громадный рыжий мужик с кистенем за поясом, и вразвалку пошел к палатам.

Дверь с красного крыльца была закрыта и отворилась после таких же условных, тайных слов. Привратник вернулся к воротам, а Тимошу повел в палаты другой мужик, ни дать ни взять родной брат великана, такой же большой, такой же рыжий, только за поясом вместо кистеня торчала пистоль.

По устланной ковром лестнице они поднялись на второй этаж. На площадке – господь, спаси и помилуй! – стояли два голых медных мужика с медными же венцами из ягод и листьев на кудлатых головах. Единую руку уперев в бок, другою держали светильники. Жир в светильниках трещал и смердел, голубоватый дым плыл под невысоким потолком, из-за двери горницы слышен был говор многих людей, смех и – должно, примерещилось

Тимоше – звонкие и высокие женские голоса.

– Входи, добрым людям товарищ, – проговорил второй страж и, указав перстом на дверь, пошел по лестнице вниз.

Тимоша постоял немного и, собравшись с духом, толкнул дверь. Он окунулся в шум и дым – будто в кузню нырнул. Оттого и не смог понять сразу, кто, где и что вообще творится вокруг: слышал только многие как бы дальние голоса и видел огни свечей, среди которых мелькали люди – неясные, словно тени.

Внезапно совсем рядом оказался некто – не то мужик, не то баба, в шапке с бубенцами, из-под шапки – волосы ниже плеч, в высоких немецких сапогах с кистями, в немецкой же рейтарской куртке желтой кожи, рукава кверху от локтей разрезаны, а лицо так заляпано белилами да румянами – будто у кабацкой гулены. Обхватив за плечо крепко – сразу пропали всякие сомнения: мужик! – второй рукой сунул прямо в лицо такую ендову – коню впору. Тимоша отшатнулся, но ряженный держал его крепко. Оскалив зубы, крикнул:

– Пей, добрым людям товарищ! Пей без сумнения!

И тут еще раз Тимоша охнул неслышно: по голосу признал ряженного – Кузьма Иванович!

Из тумана выскочил еще один ряженный, а с ним две женки – пьяные, крикливые, простоволосые.

Тимоша озирался, соображая. Вдруг стало совсем тихо, и возле Тимоши оказался невысокий, мелкий лицом мужичонка, в лапотках, в чистом, тонкого холста портище. Руки у него были маленькие, белые, и держал он в руках длинные четки – будто капли застывшего меда повисли в воздухе.

– Дай ендову, – тихо сказал мужичок, и ряженный тут же поднес ковш прямо к его губам – тонким и бесцветным. Мужичок чуть пригубил вина – будто поутру после свадьбы с травы росы выпил, прикоснулся к губам рукавом рубахи. Проговорил распевно: – Доброе вино, сладкое. Пей, добрым людям товарищ.

И Тимоша – неизвестно почему – враз покорился его тихому голосу, от которого иного, кажется, бросило бы в сон, ан нет – все кругом слушали так, словно райская птица пела: со вниманием и всевозможным умилением.

Тимоша, скосив глаза на мужичка, выпил один глоток, другой – все вокруг в лад захлопали в ладоши, загомонили складно:

– Доброе винцо, погляди донцо, и мы все люди донные, добре упоенные!

Тимоше вдруг стало покойно и радостно: вино и впрямь было добрым – не пивал слаще – и привечали его, как равного, донные люди, мужики да бабы, – пройди свет, изведавшие все до дна. Ему захотелось не ударить в грязь лицом – предстать перед ними таким бывальцем из тех, что не дома сидят, а и на людях говорят.

И Тимофей, осушив ендову до дна и еще ничего не почувствовав, поясno поклонился мужичку в лапотках и произнес вежливо:

– Благодарим за угощение!

– Молодец! – воскликнул мужичок. – Знает, кому кланяться, кому челом бить! – Поглядев на притихших питухов, сказал: – А кто иной вежеству не учен, и тому – где пень, тут челом; где люди – тут мимо; где собаки дерутся – говорит: «Бог помощь!»

– Так ведь мы, господин, читать-писать не горазды, а твоей милостью пряники едим писанные, – сладко пропела простоволосая, большеглазая молодуха. И с немалым лукавством добавила: – А вели, милостивец, вежливому человеку грамоту свою изъявить.

Мужичок шутливо ткнул молодуху в бок и сморщился лицом – засмеялся.

– А ну-ко, голубь, чти, што на донце у ендовы написано.

Тимоша повернул пустую ендову, громко прочел:

– «Век жить, век пить!»

– Так-то, голубь, – проговорил мужичок и в другой раз сморщился личиком.

– А ну, чти еще! – И ткнул перстом в стенку ендовы.

– «Пить – умереть, не пить – умереть; уж лучше пить да умереть!» – И рядом: – «И

пить, и лить, и в литавры бить!» – Тимоша прочел все громко, внятно, истово, как на клиросе стоял.

– А верно ли то сказано? – спросил хозяин.

– Доброе дело – правду говорить смело. И ты за то меня, Леонтий Степанович, не суди.

– Ох, прыток, выюнош, – снова засмеялся мужичок. – Нешто мое имя-отечество у меня на лбу написано?

– Не колдун я, угадчик. Живу – на людей гляжу. И не просто так гляжу, а со смыслом. И всякого человека стараюсь распознать: каков есть? Вот и на тебя поглядел – и понял: не простой ты человек – добрый: хоть бы сермягу тебе носить, а добродетеля твоего от глаза не скрыть.

Леонтий Степанович от удовольствия аж зажмурился. И не заметил, что Тимоша на вопрос не ответил, обошел его хитростью.

– Ладно, ладно говоришь, вежливый человек. Чую я – быть тебе добрым людям товарищем, подлинно. А теперь пожалуй-ка за стол.

И хозяин, обняв Тимошу за плечи, пошел впереди прочих к свечам, к ендавам и чарам, к блюдам и всяческим брашням, а за ними, ударяя в такт ладошками, приговаривая и приплясывая, двинулись пестрые, пьяные гулевые люди.

Встав во главе стола, в красном углу, под образами, завешенными плотным холстом, чтоб не видели святые угодники буйства и пьянства, срама и богохульства, Леонтий Степанович по-скоморошьи воздел руки и в тишине, мгновенно наступившей по мановению его всемогущих дланей, произнес тихо:

Послушаем, братья и сестры во диаволе, премудрость язычника Соломона, царя и чародея.

Плещеев замолчал и кивком головы позвал к себе маленького человечка – почти карлика, – одетого в рясу, но без наперсного креста.

Карлик ловко прошмыгнул к Леонтию Степановичу и по-собачьи преданно глянул в лицо ему.

Плещеев, важно прикрыв глаза, сел на лавку и тихо произнес:

– Начинай.

Карлик встал на лавку и неожиданно густым и красивым голосом начал читать:

– «Кратка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти. Случайно мы рождены и после будем как небывшие: дыхание наше – дым, и слово – искра в движении нашего сердца. Когда искра угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как воздух, и имя наше забудется, и никто не вспомнит о делах наших, и жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца. Ибо жизнь наша – прохождение тени, и нет нам возврата от смерти.

Будем же наслаждаться и преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни, увенчаемся цветами роз, – пока они не увяли. Везде оставим следы веселья, ибо это – наша жизнь и наш жребий. Будем притеснять бедняка, не пощадим вдовы и не постыдимся седин старца. Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным».

Попик замолк и, дурашливо скривившись, ернически взвизгнул.

А услужливая память подсказала Тимоше то, чего не договорил пьяненький вития и чем на самом деле кончалась эта притча: «Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их».

«Почему же самого главного не сказал он? – подумал Тимоша. – Потому, видать, – ответил он сам себе, – что не желают и здесь знать истины. А что истина в вине, так то слова не для разума и не для души – пустое то блудословие».

На другой вечер по приглашению воеводы снова стоял Тимоша у знакомых уже ворот и думал, что предстоит еще одна знатная гульба и попойка. Однако, когда вошел в дом, понял: не туда повел его холоп с пистолью. Миновав узкий коридор и отворив низкую железную

дверь в стене, страж потоптался робко, покрестился и сказал неожиданно плачущим голосом:

– Спаси, богородице, и помилуй! Иди далее по лестнице сам-один. А как придешь на самый верх, ко двери малой, чти молитву и вступай в горницу бесстрашно. А я дале не пойду – лесенка мне узка.

Тимоша вступил во мрак и, касаясь руками и плечами стен, пошел по узкой, выложенной винтом лестнице наверх. На последнем витке стало чуть светлее. Тимоша, поглядев вверх, увидел железный фонарь, висящий над дверью вышиною не более двадцати вершков, сделанной как бы для дитяти или малого человека – карлы.

Тимоша стукнул в дверцу, услышал голос слабый, далекий и, не разобрав, что сказано, согнувшись в три погибели, прополз через игрушечную дверцу в горницу.



Комнатка, в которой он оказался, была мала и сумеречна. Под ногами Тимоша почувствовал мягкий ковер: разогнувшись, увидел сквозь серый мрак стоящий поперек длинный стол, покрытый черным бархатом, а на столе единую малую свечу, воткнутую в шандал для семи свечей. За столом сидел Леонтий Степанович, желтый, маленький, в черной не то рясе, не то схиме, смотрел перед собою не мигая. За спиной его висел коврик малый, изукрашенный серебряными звездами и изображениями разных тварей и предметов. Тимоша скользнул глазом по серебряным изображениям и увидел рака, козла, телка, а прочее не понял. Переведя же взгляд на стол, вздрогнул: рядом с шандалом белел на бархате человеческий череп – голый, страшный, а на другой стене в большой железной клетке сидела желтоглазая, кривоногая сова. Увидев все это, Тимоша побледнел и сильно ослаб ногами. Леонтий Степанович, скосив глаза вбок, играл четками. Молчал.

– Садись, – тихо и ласково проговорил воевода и маленькой белой ладошкой указал место на лавке возле себя.

Тимоша, косясь на череп, обошел стол и робко присел на лавку.

– Ты, Тимофей, вчерашнего своего разговора не помнишь, а я помню. И по разговору твоему любо мне испытать тебя. И то, что ты вчера в горнице говаривал, то не я один – все холопы мои слышали. И если б довели на тебя, то стоять бы тебе, Тимофей, в московском застенке, на правеже, да не та у меня изба, чтоб кто-нибудь сор из нее хоть малой малостью выносил. И в том, Тимофей, твое спасение.

Леонтий Степанович помолчал немного, достал из-под лавки щипцы, снял со свечи нагар.

– Все, что ты вчера сказывал, вспоминать не стану. Однако главное скажу. Памятью да грамотой господь тебя не обошел, да не знаю, умен ли. А каково тебе впредь станется, то мы сегодня углядим: ждет ли тебя порфира царская, как ты вчера бахвалился, или же плаха, о чем ты пока не догадываешься.

Тимоша молчал, напуганный и пораженный: неужели то тайное, о чем лишь ночами грезилось, выпив дьявольского зелья, столь многим незнакомым людям вдруг рассказал?

Леонтий Степанович поглядел косо, поиграл четками, сказал загадочно:

– В наше антихристово время все может быть. Может, и впрямь ты – Шуйский-царевич. Да ведь и у царевича судьба в божьих руках. А угадать судьбу твою вполне возможно, для того у знающих особая наука есть. И имя той науке – ос-тро-ло-ги-кус.

Леонтий Степанович взял с лавки книгу, переложил на стол. Не раскрывая, проговорил заученно:

– Остроломейское учение, или же острологикус, есть из наук величайшая. Наука сия по расположению светил определяет судьбу каждого смертного, будь он царь или же юрод. Как же можно, на звезды взирая, судьбу смертного предсказать?

Плещеев поднял палец в знак того, что Тимоша должен особенно внимательно слушать дальнейшие объяснения.

– Острологус прежде всего должен отыскать го-ро-скоп. Что есть гороскоп? Гороскоп есть точка великого круга небесной сферы, по коей движется Солнце и коя, проходя по двенадцати созвездиям Зодиака, восходит в момент рождения человека. Точка сия есть важнейшая для судьбы рожденного, ибо все звезды, и Луна, и Солнце вокруг гороскопа располагаются и тем расположением острологусу о судьбе рожденного говорят ясно.

Небо от сей наиважнейшей точки делится на двенадцать кругов склонения, или же домов. Наиглавнейший из них есть дом чинов, или середина неба, затем следуют дома дружбы, вражды, жизни, счастья, братьев, родственников, детей, здоровья, брака, веры и смерти.

Сии дома составляют небесную фигуру, в коей по расположению светил острологус предрекает судьбу. Однако, кроме домов и светил, надобно знать и знаки Зодиака, коих также двенадцать.

Плещеев повернулся на лавке и ткнул пальцем в коврик. Снова помолчал немного.

– Я обучу тебя, как читать скрытое от непосвященных, и ты будешь ловцом человеков, ибо ничто от тебя не будет сокрыто и тайное станет явным. И, познав острологикус, познаешь истину.

Потом, когда ты научишься читать небесные знаки, как литеры в книгах, я расскажу тебе и многое другое, столь дивное, что все сказки перед сим померкнут.

Однако с самого начала ты должен знать, что наука сия попами и властью объявлена ведовской и за острологикус людей кидают в застенки, какого бы звания они ни были. – Плещеев вздохнул печально, видно, вспомнил нечто невеселое. – А теперь скажи мне, Тимофей, когда ты родился?

– Рожден я в месяце июне 7125 года от сотворения мира, или же в 1617 от рождества Христова, и лет мне ныне осьмнадцать (В России XVII века счет времени велся «от сотворения мира», которое по подсчетам церковников произошло за 5508 лет до рождества Христова.).

– То добрый знак, Тимофей! Не зная сего, призвал я тебя в тот самый месяц.

Подбежав к коврику со знаками Зодиака, Плещеев дернул его в сторону: коврик плавно отъехал, открыв оконце малое, забранное слюдой. Нетерпеливо толкнув решетчатую железную раму, воевода высунулся едва не до пояса, приложив ладонь ко лбу козырьком, внимательно стал вглядываться в небо.

Тимоша стоял за спиной не дыша. Воевода метнулся от окна, схватил с полки чернильницу, перо, лист бумаги. С другой полки схватил огниво, кресало, полдюжины свечей. Кинул все на стол. Трясущимися от нетерпения руками стал втыкать свечи и бить железом по кремню. Снова метнулся к окну, от окна – к столу и так, вертясь на лавке меж столом и окном, стал рисовать на бумаге точки и линии.

Завершив сие, откинулся назад, глядя на Тимофея с изумлением. Проговорил, раскрыв глаза, как мог, широко:

– Вышло тебе, Тимофей Демьянович, нечто великое. Быть тебе, без сумления, возле государева престола в самой близости.

С той поры воевода звал Тимофея к себе есть и пить чуть ли не ежедневно. Слушал его внимательно; оставшись наедине, не раз говаривал:

– А у тебя, Демьяныч, не голова – царева палата. По всему видать – доброго ты человека сын.

Тимоша загадочно ухмылялся.

Близость к воеводе была тотчас же замечена многими людьми. Тем более, что Кузьму Ивановича воевода услал в Москву по какому-то делу, а взамен его поставил Тимофея.

Теперь Тимофеем собирал мзду со своих бывших товарищей и все собранные деньги воеводе отдавал исправно.

После третьего раза Леонтий Степанович проговорил раздумчиво:

– Не могу я понять тебя, Тимофей Демьянович. Честен ли ты очень или же гораздо хитер? Кузька, тать, мне вполтину менее твоего давал, а ведь он мой холоп, а ты – вольный человек.

– Ты сам себе ответил, Леонтий Степанович. Всякий раб лжив и слаб. А чего ж от раба и ждать? Кто о нем подумает, ежели он сам о себе не вспомнит? Кто о нем позаботится? А ведь и раб – человек, и ему, как и прочим, пить-есть надо. И другое пойми, Леонтий Степанович. Ты ему власть дал у приказных людей деньги брать. А приказные те деньги берут у мужиков, что в избу с челобитьями приходят. А у тебя те деньги ближние государевы люди – бояре да окольниковы – берут. И – конец концов – государь да патриарх остатнее к себе в казну прибирают. И каждый низший к каждому высшему, как холоп к господину, чего-то не доносит, себе норovit оставить. Так что перед богом мы все холопы. А тебе я все отдаю без утайки потому, что я хочу по всей правде вольным человеком быть и любому в глаза глядеть бесстрашно.

– Не получится это у тебя. Не бывало так и стать так не может. Только тот свободен перед людьми, кто сатане душу продал, а ты, я чай, сего еще не свершил?

– Спаси тебя Христос, Леонтий Степанович! – испугавшись, воскликнул Тимоша.

– Пошутил я, – ухмыльнувшись невесело, проговорил воевода и поглядел на Тимошу, будто по лицу его паутиной провел.

Ночные кутежи, перемежавшиеся тайными занятиями остроломейским учением, пока что оставались неизвестными непосвященным. Однако не таков был город Вологда, чтобы тайное когда-нибудь не стало явным.

Однажды во время очередного шумства и пьянства вошел в горницу некий черноризец – волосом черен, лицом худ, глазами страшен.

Леонтий Степанович метнулся к вошедшему, будто ждал его вечно. Черноризец облобызал хозяина троекратно, повел глазами налево и направо, как косой по траве махнул, и пошел прямо к столу впереди хозяина.

Сел он по правую руку от воеводы, но Леонтий Степанович, не садясь, попросил его занять место в красном углу, а сам порывался сесть рядом.

Инок ли, поп ли только рукой махнул от доуки и плеснул себе в стеклянный штоф немного вина из стоявшей поблизости немецкой посуды. Пригубил и, сморщившись, оставшееся вино из штофа выплеснул под стол.

Леонтий Степанович сам быстро схватил серебряный, кованный кизилбашскими мастерами кувшинчик, бережно налил старого ренского, кое никому не наливал, кроме себя самого.

Гость выпил молча, похрустел малосольным огурчиком. Сказал тихо, но все расслышали:

– Вели гостям ночевать идти. Хочу с тобой говорить, Леонтий Степанович.

Воевода и слова произнести не успел – все гости, от немалого изумления онемев, выкатились за дверь.

После того как провел Тимофей первую ночь у воеводы, Соломонида сердцем почуяла

недоброе. И всякий раз, как приходил он при звездах, вздыхала громко или тихо плакала. Тимофей от этого плача места себе найти не мог – бежал из избы вон. Соломонида все хотела с сыном о его делах поговорить, но Тимофей сторожился, молчал, от разговора уходил.

На троицу пошли они на кладбище помянуть отца и мужа. На кладбище – голом, безлесном – былолюдно и шумно. Много посадских пришло сюда помянуть ближних, а каковы поминки без вина? А где вино – там и ссора.

Недобрыми взглядами провожали люди Анкудиновых. «Ведьма и тать – сыночек да мать!» – выкрикнул кто-то, как только вошли они на кладбище. Вздрыгнул Тимофей, будто по лицу его ударили, посмотрел туда, откуда донеслись обидные слова. Мужики и бабы сидели тихо, смотрели простодушно, улыбались ласково.

Чувствуя взоры их меж лопатками, опустил Тимофей на могилу отца, бережно посадил мать рядом с собою.

Соломонида, понурившись, сказала:

– А ведь они еще раз нас пожгут, топорами посекут – дай им только волю.

– Эх, мама, знали бы они все, что я знаю, – в тон ей шепотом ответил Тимоша.

И Соломонида, почувствовав, что настал момент, коего ждет она уже не один день, ответила:

– А если я, Тимоша, узнаю все, что знаешь ты, нешто присоветую тебе что худое? Али не оберегу тебя моим сердечным разумением?

И Тимофей, торопясь и спотыкаясь, стал шепотом рассказывать матери обо всем: о Леонтии Степановиче, о его холопах, о ночных бдениях и о тайной науке острологикус. Мать слушала молча жаркий шепот сына и сидела бледная, закусив конец черного вдовьего платя.

– То недобро, сын, – сказала она. – Избу нашу сожгли ни за что. Нешто пощадят хотя бы и воеводу, если дознаются обо всем? А можно ли что-либо утаить в Вологде?

Мысль о том, что сыну ее грозит беда, что его в любую минуту могут забить за волхование и колдовство, не давала Соломониде покоя. И, промучившись неделю великими страхами, измыслила она дело мудрое – надумала исповедаться самому владыке.

Архиепископ принял ее в исповедальне – маленькой сумрачной горенке, пропахшей воском и ладаном. Встав на колени, Соломонида поцеловала большую мягкую руку владыки и заплакала.

Варлаам, утешая, положил ей руку на голову и легонько погладил. От этого Соломонида заплакала еще сильнее и, сбиваясь, стала рассказывать обо всем, что узнала от сына. Варлаам, молча слушая, замер.

– То ты сделала гораздо, Соломонида, что пастырю твоему доверила тайну сию. А паче того будет, если прийдешь ко мне Тимофея. Я чаю, давненько не бывал он на исповеди.

Идя домой, Соломонида перебирала в памяти все, рассказанное ею Варлааму. На душе у нее было тягостно, и старые страхи перед самосудом толпы сменились новыми страхами перед судом владыки.

Тень владыки, большая, черная, металась по стене книжницы, как посаженный на цепь охотничий беркут.

– Чего ищете?! – кричал Варлаам. – Геенны? Умнее иных хотите быть? В непознаваемое проникнуть желаете? Не бывать тому! Во веки веков не бывать!

Варлаам остановился, передохнул. Спросил почти спокойно:

– Ежели узнаешь что запретное, неужели не страшно за сие лишиться вечного блаженства, за малое знание обрести муки вечные?

– Страшно, владыко, ой как страшно, жутко даже, а ведь и любопытно.

– Да пойми ты, валаамова ослица, сколь стоит твое любопытство! Неужли за праздное еретическое любомудрие можно заплатить всеконечным погублением души? Помни, господь не наказал Лота, племянника Авраамова, за блуд, за пьянство, за празднолюбие, но

обратил жену его в соляной столб за то, что хотела увидеть недозволенное, узнать сокровище.

Так и все вы, любопытствующие все, идете в геенну огненную, ко окончательной гибели! – Варлаам подошел вплотную к Тимоше, положил руки на плечи ему, сказал устало: – А кроме того, воевода тебе не чета. Он хоть и нагрешит вдесятеро – откупится, а тебе на дыбе висеть. А я того не хочу! И будет как я сказал: завтра же уедешь в Москву, к Евлампии, дочери тетки моей. Завтра же утром, слышишь? Поживешь, пообсмотришься, а ну-ка из головы и поветришься. Завтра же перед ранней заутреней возьмешь у меня письмо к мужу Евлампии, дьяку Патрикееву Глебу Исаковичу.

Собирала Соломонида сына в дорогу, и на душе у нее было покойно и радостно. Руки сами делали нехитрую работу, а голова была занята не сборами – мечтала Соломонида о том, как поедет и она на Москву да станет жить возле сына, внуков нянчить. А еще радовалась, что это из-за нее все так ладно вышло, она все это придумала и устроила.

Пока Тимоша ходил по городу – прощался со знакомыми ему людьми, – Соломонида затопила печь и затворила тесто. Сын вернулся поздно. Тихо прошел к столу, сел на лавку под образа, прямо против раскрытой печной дверцы. Красные блики ложились на его голову, плескались по лицу, по рукам, по плечам.

«Ох ты, господи, – похолодела Соломонида, – будто в крови весь». Она быстро захлопнула печную дверцу и зажгла поставец. Лучина вспыхнула ровным желтым пламенем, весело затрещала. Соломонида опасливо покосилась на сына. Он сидел тихий, печальный, думал что-то свое. Ровный золотистый свет лежал на стенах. Исчезло наваждение крови, но страх остался.

Всю ночь смотрела Соломонида с печи на спящего у окна сына и, плача, повторяла одно и то же: «Богородице, матушко, заступница и защитница, спаси и помилуй мое дитячко. Спаси и помилуй».

## **Глава шестая**

### **ГОСУДАРЕВЫ ПРИКАЗНЫЕ ЛЮДИ**

Глеб Исакович Патрикеев, дьяк Сысского приказа, принадлежал к семейству, в коем все истари служили в разных государевых избах, приказах и повытьях.

Женат он был на дочери дьяка Нелюба Нальянова – Евлампии, а та Евлампия приходилась вологодскому архиепископу двоюродной сестрой.

Приехав в Москву, Тимоша первым делом нашел друга своего Костю и от него узнал, что служит Костя теперь не в Конюшенном приказе, как прежде, а в приказе Новой Четверти. Письменных людей в Москве не хватало, и потому, узнав, что он грамотен, взяли Костю пищиком. Новая Четверть, или же Кабацкий приказ, собирал деньги со всех питейных заведений России, и потому служба в Приказе – возле вина да рядом с деньгами – была не хуже какой-либо другой. Костя присоветовал и Тимоше попробовать устроиться к ним, в Новую Четверть, а для начала пообещал переговорить с сильным человеком – дьяком Иваном Исаковичем Патрикеевым.

Услышав это имя, Тимоша полез в торбу и вынул письмо, посланное архиепископом Варлаамом другому Патрикееву – Глебу. Костя сильно удивился, потому что Глеб доводился Ивану Патрикееву родным братом.

– Велика земля, а тесна, – сказал Костя. – Сколь народу в Москве, а вишь ты, как получилось.

И верно, получилось удачно. На следующий день Тимоша пошел к Глебу Патрикееву, отдал ему письмо вологодского владыки, отобедал с хозяином и хозяйкой и за разумный разговор, за учтивость и вежество был приглашен приходить в дом снова.

А после второго визита Глеб сам предложил Тимоше замолвить слово перед братом своим Иваном Исаковичем, чтобы взял он Тимофея к себе в подьячие.

Иван Исакович согласился сразу же. Дело было в том, что Тимоша приглянулся не только Глебу Патрикееву, но и жене его Евлампии. И порешила Евлампия сосватать нового их знакомого за дочь свою Наталью, коей шел уже шестнадцатый год, и самое время было выдавать ее замуж. Евлампия и уговорила мужа своего Глеба не только отдать приглянувшегося ей юношу под начало своею родственника, но и сделать так, чтобы будущий ее зять, если задуманное дело сладится, поселился бы у Ивана Патрикеева в избе. Дома да на службе – весь день на глазах, так и узнали бы они, какого мужа приглядели своей дочери.

Иван Исакович Тимошу в службу взял и предложил поселиться у него, благо места было довольно: изба просторная, в два этажа, с подклетью.

Тимоша согласился и вскоре из закомороного жильца превратился для Ивана Исаковича в собиного друга, коему поверял дьяк все свои потаенные мысли.

А мыслил дьяк Иван не так, как многие другие. Почитал он преславное и могучее Российское царство во всем христианском мире наихудшим, и не было таких зол и таких грехов, коих не видел бы дьяк Иван вокруг себя.

Сидел Патрикеев в Кабацком приказе и, может быть, потому считал вино причиной чуть ли не всех несчастий на Руси. Он верил в то, что вино творит всякую вину, что вино ремеслу не товарищ. Он знал, что пьянство разоряет дома, сводит пьяниц с ума, калечит жен и детей, отнимает у голодных последний кусок и снимает с полуголодного последнюю рубаху. Однако знал Иван и другое: не было в государстве более доходного дела, чем торговля вином, и потому, проклиная пьяниц с церковных амвонов, попы и сами пили сверх всякой меры, и так же, как вновь возведенные божьи храмы, освящали новые кабаки. А возвратившись к службе, вновь поучали, читая из Библии: «У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого красные глаза? У пьяниц, долго сидящих за вином. Не смотри на вино, искрящееся в чаше, ибо впоследствии оно укусит тебя, как змей, и ужалит, как аспид. И скажешь: „Били меня – мне не было больно, толкали меня – я не чувствовал. Когда проснусь – опять буду искать того же“».

А государь не только пьяниц в кабаки пускал, напротив того – метал в тюрьму тех, кто бражникам в кружало дорогу заслонял.

Однако первым злом, еще большим, чем пьянство, почитал дьяк Иван жестокое рабство, коим гнетет всех людей, от холопов до князей, помазанник божий Михаил Федорович. Нищие на папертях просят милостыню ради Христа и государя, и первые бояре в письмах к царю называют себя «холопишко твой» и «раб». И если приказывал царь побить какого-нибудь боярина батогами, то избитый палачами государев слуга после того унижения благодарил царя-батюшку за науку.

И далее, говорил дьяк Иван, каждый боярин чувствует себя царьком в своем дворе и так же гнетет своих дворян и слуг, как его самого бьет и бесчестит царь. И так с самого верха и до самого низа одни рабы гнетут других рабов.

Рабство, считал дьяк Иван, порождало и все прочие беды и напасти. Раб перед господином угодлив и лжив, ленив и труслив. Он не знает, что такое честь, и потому без зазрения совести предаст друга, обманет доверившегося ему человека, порушит данное слово.

– Нивы наши скудны, – говорил Патрикеев, – коровы тощи, избы бедны, земля не родит, и через год не хватает хлеба в державе из-за одного и того же: рабства.

Видя великую скудость и неустроение российского бытия, сыновья смеются над отцами и перестают почитать их, как только входят в разум. «Чему вы можете нас учить, – спрашивают они, – когда сами живете хуже всех в свете?»

А отцы сокрушаются сыновней непочтительностью и винят во всем немцев да литовцев, что заполонили Москву прельстительными шелками да сукнами, винами да латынскими книгами. А более того – вредными рассказами о том, что в немецких странах будто бы живет так легко и вольготно, что каждый мужик более сам себе господин, чем на святой Руси – князь или боярин.

Тимоша слушал дьяка и почти во всем с ним соглашался. А если что и казалось молодому подьячему несправедливым, то только поначалу. Поразмыслив, Тимоша всякий раз убеждался в правоте дьяка Ивана.

Мало кому поверял свои тайные мысли Иван Патрикеев. Днем, чуть ли не с первых петухов, сидел он в Приказе, а по вечерам либо сумерничал с Тимошей, либо, засветив огонек, читал книги. Был дьяк в латынском и в немецком языках искусен и потому читал не «Четьи-Минеи» и не «Месяцеслов», а те самые книги, что провозили в Москву тайно латыне да люторе.

Так прошло два года. Возле него и Тимофей в тех языках стал весьма сведущ. Съев с Тимошей не один фунт соли, Иван Исакович с легким сердцем посоветовал брату отдать за его нового друга единственную дочь Наталью. Сыграли свадьбу. Сообща Патрикеевы и Тимоша купили на Варварке избу. Молодые обзавелись кое-каким скарбом и зажили своим домом – не богато, но и не бедно. В ту пору пошел Тимофею двадцать первый год.

Еще через два года забегали по избе ребятишки – двойняшки, сын да дочь.

Жить бы Тимофею да радоваться, ан нет – не оставляли его стародавние мечты, а более того одолевала его гордыня, думал: «Да будь я царем, разве так правил бы я государством? Разве было бы у меня столько несчастных, обманутых, обиженных, голодных, бедных, покинутых и забытых? Разве стояли бы у начал государства злокозненные, лукавые, жадные, трусливые?»

И от мыслей этих становилось ему все немило. Не хотел видеть ни жену, ни детей.

Хотел одного: дойти, доискаться, как, почему, зачем так все устроено, что неправда душит правду, неволя душит свободу, зло давит добро.

Долгими зимними вечерами собирались они втроем: Тимофей, Костя да дьяк Иван.

Думали, рядили, спорили до хрипоты – расходились, не придя ни к чему.

Снова собирались, снова спорили – и опять расходились, не добившись истины. И все же постепенно нашли они нечто, казавшееся им всем бесспорным. Они согласились с тем, что царь, бояре и патриарх – слуги дьявола, ибо живут они не по божеским заповедям, а вопреки им и каждодневно нарушают заветы спасителя, убивая, грабя, обманывая несчастных людей, оказавшихся под их нечестивой властью. Они согласились, что только в татарском ханстве да в турецкой и кизилбашской земле у персиян такое же, как на Руси, своеволие султана, хана и шаха. А в других странах, будь то император, король или герцог, – всякий свободный человек находит подмогу и защиту у себе подобных: посадский в ремесленном цехе, барон – среди других баронов. И тем своеволие монарха пресекается.



Однако же более всего задевали их за живое несправедливости, кои допускали власти предрержащие по отношению к ним самим.

– Возьмите хоть князя Бориса Александровича Репнина-Оболенского. Пять лет верховодил он в семи приказах враз. Да ведь в одном нашем – Кабацком – сколь дела! А у него и Сыскной, и Иконный, и три палаты – Оружейная, Золотая, Серебряная, – и что всего хлопотней – Приказ приказных дел, в коем от одних челобитий можно ума лишиться, – говорил Иван Исакович.

– Князь Борис хоть неглуп был, – продолжал Тимоша, – а вот поставили над нами взамен его боярина Шереметева, дак он, я чаю, не все из того понимает, что ему подьячие говорят.

– А ведь уже, почитай, пятнадцать лет из приказа в приказ пересаживают Федора Ивановича добродетельности да боярства его ради, – продолжал начатую мысль Патрикеев. – Уже в десятом приказе сидит боярин Федор. Был он и в Печатном, и в Аптекарском, и в Большой казне, и в Разбойном, хотя, мнится мне, фиты от ижицы не отличит, а уж ежели попадет к нему в руки «Благопрохладный цветник» или же «Проблемата», то сочтет сии врачевательные писания за Псалтырь или Требник.

– И как такое возможно? – взрывался Костя. – Един человек во десяти лицах! Одно дело загубит, тут же ему другое предоставляют – порти и это!

– А все оттого, что в России испокон ладу не было, – говорил Патрикеев, и Тимоша с Костей кивали согласно.

Устав от споров, сидели они тихо, и кто-нибудь из молодых подьячих мечтательно говорил:

– А что, братцы, вот если бы кому из нас фарт вышел – в Венецию или в Лондон попасть, а?

– А в Обдорск али в Березов не хочешь? – невесело усмехаясь, говорил Патрикеев.

И друзья умолкали, понимая, что хотя до Березова дальше, чем до Венеции, – попасть туда не в пример проще.

И так уж у них получилось, что чаще, чем многим иным, попадали им в Москве иноземцы. А становилось их все более и более. Ехали в Москву офицеры, рудознатцы, аптекари, литейщики, лекари, купцы, крутились по приказам, искали людей, кои могли им помочь в их делах.

Дьяка Ивана, знающего по-латыни и по-немецки, часто зазывали на беседы с иноземцами, и он не отказывался – любил порасспрашивать гостей о чужих землях. А потом все услышанное пересказывал Тимоше да Косте. И так как бывало это не раз и не два, жили молодые подьячие неизвестно где – то ли в пресветлом Российском царстве, надоевшем им хуже горькой редьки, то ли в богопротивных немецких землях, на которые до смерти хотелось хоть бы одним глазком взглянуть, а там – будь что будет: в Обдорск ли, в Березов ли – все едино.

## **Глава седьмая ЛУКАВЫЙ ЧАРОДЕЙ**

Вскоре после того, как Тимоша ушел в Москву, случилось в Вологде небывалое. Пасмурной осенней ночью подходил к городу обоз с хлебом. Мужики-ярославцы спешили к воскресному базару и в дороге ночевать не стали – подъезжали к городу за полночь.

Когда проезжал обоз мимо кладбища, ярославцы заметили меж могил два пляшущих над землей огня. В обозе шло без малого полсотни телег, и потому ездовые не обезумели от ужаса и не начали чем попало хлестать лошадей, а приостановились и стали наблюдать за огнями с любопытством большим, чем страх.

Огни то сходились, то расходились, а через некоторое время двинулись к дороге. И тут-то вышла из туч луна, и все увидели двух человек, двигавшихся к дороге с фонарями в руках.

Не доходя до дороги саженой сто, люди эти заметили обоз и бросились в разные стороны, кинув фонари.

Бегущий всегда вызывает желание кинуться вдогонку. Два десятка обозников бросились к кладбищу, как свора борзых, спущенная на пару зайцев.

Кладбище было голым: ни куста, ни деревца. Однако один из кладбищенских полуночников как сквозь землю провалился, зато второго настигли. Был он ростом мал, собою неказист, одет по-мужицки, только и рубаха и порты – тонкого холста, а руки – что у ребенка, мягкие да белые.

Возчики прижали его к стенке кладбищенской церкви и стали вязать снятыми с собственных рубах поясами. Мужик щерился волком и орал несуразное: называл себя воеводой и обещал всех их пометать в тюрьму. Возчики стукнули его раз-другой – легонько, для острастки – и, посадив на первую телегу, повезли в город. Пойманный ярился, хулил ярославцев последними словами и, потеряв всякое терпение, плюнул везшему его обознику в бороду. На первой телеге ехал сам хозяин – ражий сорокалетний купчина Ферапонт Лыков. Не утеревшись, Ферапонт вдарил грубияна по зубам кнутовищем. Охальник тут же выплюнул два зуба и понес такое – бывалые ярославцы только рты поразевали. Когда же нечестивец помянул погаными словами богородицу с младенцем Христом, Ферапонт сгреб богохульника в охапку, затолкал ему в рот подвернувшуюся под руку тряпку и, повязав ноги веревкой, чтоб не сучил и не лягался, накрыл с головой рядном.

Так и въехал обоз среди ночи через Борисоглебские ворота в Вологду, и городские стражи не углядели под рогожей пойманного ярославцами мужика.

Когда же встал обоз на постоялом дворе, возчики задумались: что с кладбищенским шатуном делать? Сдать ли его приставам или же отпустить на все четыре стороны? Связываться с властью не хотелось, однако и отпускать было боязно: вдруг лихой человек?

Посудив и порядив, пошел Ферапонт к хозяину двора Якову Дыркину, стародавнему своему знакомцу, не первый год принимавшему у себя ярославцев, и все ему рассказал. Яков вышел во двор, поглядел на повязанного мужика и, перекрестившись быстро мелким крестом, рухнул на колени.

– Батюшко воевода, Леонтий Степанович, милостивец наш! – взывал Яков. – Прости Христа ради неразумных!

Кладбищенский шатун только головой завертел и засопел тяжело. Ферапонт трясущимися руками вырвал тряпку изо рта воеводы, сорвал веревку и пояса. Плещеев сел, потер затекшие руки.

– Ладно, мужики, с кем не бывает. Один бог без греха. Я на вас сердца не держу. Ступайте с богом.

И Яков, и Ферапонт, и возчики, ничегошеньки не понимая, вконец обалдели.

Плещеев пошел к воротам. Яков, вырвав у кого-то из рук фонарь, побежал следом. Возчики видели, как хозяин постоялого двора мельтешил то слева, то справа, а воевода шел не останавливаясь и лишь в воротах досадливо махнул рукой – ладно, мол.

Ярославцы долго еще не могли заснуть – все ломали голову: зачем было воеводе по кладбищу среди ночи блукать и почему, заметив обоз, кинулся воевода бежать?

Ни до чего не договорившись, заснули крепко. Лишь двое не сомкнули глаз: Яков Дыркин – ему с воеводой дальше жить было надо, не то что ярославцам, кои ныне здесь, а завтра дома, да Ферапонт Лыков – шуточное ли дело государеву воеводе зубы выбивать?

Варлааму о случившемся донесли, когда он еще не встал с постели. Архиепископ понял: Плещеева нужно брать под стражу, и брать тотчас же. Утром, когда соберутся люди на базар, о ночных похождениях воеводы узнает вся Вологда. И тогда может произойти все, что угодно: не только воеводу, кладбищенского шатуна, – всех приказных людей побьют, а дома их и лавки пожгут и пограбят. А после того если гилевщики и оставят в покое самого Варлаама и церкви с монастырями, то вышнее церковное началье архиепископу того дела не простит, и сам патриарх Иоасаф строго за то с него взыщет, ибо более всего боялись на Москве смуты и колдовства, а здесь одно с другим могло оказаться столь тесно повязанным – не отделить.

Все это пришло в голову Варлааму мгновенно. Одеваясь, он продумал все, что надлежало ему сделать, до того как люди в городе узнают о ночном происшествии.

Пока архиепископ облачался, конюхи запрягали в карету владыки тройку самых резвых лошадей.

Варлаам въехал на воеводский двор, будто не к соседу явился, из-за стены, отделявшей его подворье от владений Плещеева, а прибыл из дальней епархии.

Привратник от удивления даже в дом к воеводе не побежал – тотчас же растворил ворота.

Тройка со звоном и шумом влетела в воеводский двор и замерла у крыльца. Ударом ноги Варлаам распахнул дверь, взбежал по лестнице и снова – ногой – толкнул дверь в горницу.

Леонтий Степанович бегал вдоль стола. На лавке неподвижно сидел незнакомый Варлааму чернец, темноволосый, худой, страшноглазый. Увидев владыку, чернец встал – только ряса мотнулась – и ушел в дальние покои.

Плещеев суетливо обернулся. С удивлением поглядел на Варлаама и тотчас же заулыбался – жалко, не разжимая губ, пряча от чужого глаза выбитые зубы.

Взглянув на Плещеева, Варлаам вспомнил слова, вычитанные в какой-то книге: «Кого боятся многие, тот сам многих боится». Ни жалости, ни сострадания не почувствовал архиепископ, увидев перед собою перепуганного воеводу.

«Нашкодил, курвин сын, да еще и склабится», – со злостью подумал Варлаам и, с трудом сдерживаясь, проговорил:

– А ведь нечему улыбаться, раб божий Леонтий. Беда идет к твоему дому. И истинно говорю тебе – не останется от него камня на камне.

Плещеев метнулся к окну.

– Где?! Кто?! – закричал он. – Не вижу!

– Они придут, Леонтий. Не успеет прокричать петух, они будут здесь, и имя им – легион. И никто не спасет тебя: ни люди, ибо они ненавидят тебя, ни бог, ибо ты ожесточил его против себя.

– Отобьюсь! – крикнул Плещеев зло и отчаянно. – У меня одних холопов две дюжины. Стрельцов кликну! Кто меня в доме моем возьмет?!

– Не дури, Леонтий. Разве от народа отобьешься? Али ты забыл, как убили царя Федора Борисовича? Как зарезали Гришку Отрепьева? Твоим ли холопам чета были их защитники?

– Да что ж мне – перед мужичьем на колени становиться? Лапти им целовать?

– Ты со страху-то последнего ума лишился, воевода. Помолчи лучше да послушай.

Плещеев замер, вслушиваясь. За стеной скрипели проезжающие к торгу телеги, слышались голоса множества людей. Варлаам подошел к окну и увидел, что привратник, открыв в калитке небольшое оконце, беспокойно с кем-то переговаривается. Он то отходил от калитки, то снова к ней возвращался и, наконец, затворив оконце, пошел к воеводской избе. Из-под руки владыки, не доставая ему головою и до плеча, глядел на все это и Леонтий Степанович.

Услышав на лестнице шаги привратника, Плещеев стал подобен натянутой струне – скрыто трепетал, готовый сорваться в любой момент. Дюжий холоп смущенно потоптался в дверях.

– Мужики к твоей милости, Леонтий Степанович.

– Сколько? – взвизгнул Плещеев.

– Не считал, боярин. Да и сгрудились они возле ворот – передних видно, а сколь за ними еще, того мне было не счесть.

Плещеев метнулся к двери, ведущей во внутренние покои, передумал, выскочил на лестницу.

– Скорее, владыка, скорее! Кони-то, я чай, у тебя добрые?

– Лучше ни у кого нету, Леонтий Степанович.

Добежав до кареты, Плещеев юркнул в угол и прерывающимся от страха голосом

крикнул:

– Гони!

Кони рванули. Варлаам еще и сесть не успел – от толчка упал на сиденье рядом с воеводой. Мелькнули распахнутые настежь ворота и возле них два десятка мужиков без шапок, тихих, просительных.

«Ярославские обозники, – сообразил Варлаам. – Прощения пришли просить и, должно, немалую мзду принесли с собою». Покосившись на уместившегося в углу воеводу, Варлаам не без злорадства подумал: «Истинно сказано: не ведаем, от чего бежим и к чему придем».

Ушел Плещеев от холопов своих и своего дома, от друга собинного, коего бросил одного в минуту ужаса. Ушел от сладких яств и вин, от веселых сотрапезников, от тепла и сытости.

Пришел Плещеев в тенета дьявола: привез его хитроумный поп в пригородный Спасо-Прилуцкий монастырь, за стены с бойницами, за железные ворота, в подземную тюрьму, откуда и мышь не сбежит. А там час за часом стали появляться ближние его – собутельники, а среди них и те, кто остроломейского учения держался. Только не было среди них самого ближнего – страшноглазого черноризца.

Увидев бегущих к погосту обозников, брат Феодосий метнулся в сторону к старой могиле, изрядно уже осевшей. Феодосий втиснулся в узкую земляную трещину и учуял под ногами спасительную пустоту. В этот миг живых он боялся больше, чем мертвых, и потому с радостью нащупал подошвами сапог слежавшуюся твердую землю и, присев на корточки, еле уместился в темном и тесном пространстве.

Феодосий втянул голову, касаясь подбородком острых коленей, и даже в этакой передрыге – живой в могиле – подумал с усмешкой: «Лежу, как дитя во чреве матери. А мать-то моя – сыра земля». Он услышал, как зашныряли вокруг его убежища перепуганные не меньше, чем он, возчики, подбадривая друг друга громкими криками, услышал, как визжит и матерится собинный друг Леонтий Степанович, как постепенно затихают удаляющиеся к дороге возбужденные голоса мужиков, и, лишь когда до его слуха донесся равномерный скрип колес, высунул голову наружу.

Дождавшись, когда стих шум обоза, Феодосий выбрался наружу и быстро пошел к городу.

В доме воеводы он оказался раньше незадачливого хозяина.

Леонтий Степанович, войдя в горницу, рухнул на лавку, дыша тяжело и часто:

– Ну, а теперича чево будем делать, любезный брат мой Феодосий?

– Спать будем.

– Не до сна, однако.

– Тогда вино пить.

Леонтий Степанович холопов звать не стал – сам пошел в погреб, принес две сулеи, затем принес полдюжины кубков.

– А это кому? – спросил черноризец. – Отцу нашему сатане и иже с ним?

Леонтий Степанович понял, что с перепугу совсем уж потерял голову, но только досадливо махнул рукой и улыбнулся жалко – криво, одной стороной.

Выпили по первой чаре и по второй, но хмель не брал: все стояли перед глазами голое кладбище, озверевшие мужики – их оскаленные пасти, всклокоченные бороды, тяжелые кулаки.

– Уйду я, – вдруг сказал Феодосий. – Худо мне здесь, не с кем словом перемолвиться.

– А я тебе не ровня? – с обидой проговорил Леонтий Степанович. – Мужик я, сермяга, лапоть лыковый?

– Ты, Леонтий, далее ведовства да остроломеи ничего знать не желаешь, а я хочу всю правду узнать. А для этого пойду я в Литву, к братьям сочиниянам, кои не считают Христа богом, но человеком и всех людей – детьми его. Не младшими и не старейшими, но равными друг другу. А разум человеческий ставят превыше всего, даже превыше

Священного писания.

– Остановись, Феодосий, – покрутив от изумления головой, жалобно попросил Плещеев.

– Смерть меня остановит, – тихо и вяло, как давно уже решенное, о чем думалось каждый день, проговорил черноризец.

– Смерть не страшна. Страшны вечные муки на том свете, уготованные еретикам, – неуверенно произнес Леонтий Степанович.

– Да видел ли кто тот свет? – так же тихо проговорил Феодосий.

Плещеев вскочил, побежал вдоль стола. Овернулся из красного угла, круглыми глазами поглядев на собинного друга.

– Истинно говорю, дьявол вселился в тебя, Феодосий. Не ты это говоришь – он.

Черноризец промолчал. Только поглядел на Леонтия Степановича так, будто сильно его жалел, будто болен был Плещеев, или слаб, или обманул в чем Феодосия.

Светало. Просыпалась Вологда. Негромкие голоса слышались за окнами, стучали в колдобинах первые телеги.

Вдруг непонятный звон и гром заполнили двор. Плещеев метнулся к окну. Феодосий, не сходя с лавки, лениво повернул голову.

Плещеев отскочил от окна, побежал вдоль стола к двери, уводящей в спальный покой. Не успел.

В горницу ввалился Варлаам. Леонтий Степанович шагнул архиепископу навстречу, улыбаясь блудливо и жалко.

Феодосий встал. Быстро вышел из-за стола. Не взглянув на архиепископа, прошел в соседний со спальней воеводы покой, где жил сам. Схватив загодя приготовленный мешок, в коем лежало все потребное страннику, уходящему в дальнюю дорогу, Феодосий прошмыгнул в сад и через малую калиточку вышел вон.

Умен был владыка Варлаам, и расчет его оказался верен. Слух о поимке оборотня, что как две капли воды схож был с воеводой Леонтием Степановичем, в тот же день распространился по Вологде, а через три недели из Патриаршего приказа пришел строгий запрос о волховстве и остроломее и о том, что за сокрытие виновных – кто бы они ни были – последует скорая кара безо всякие пощады. И тут-то владыка наборзе послал в Москву гонца с письмом. А в том письме доводил владыка до святейшего отца кир Иоасафа, патриарха всея Руси, что его радением и бдением крамола изведена, а богоотступники и еретики взяты им, рабом Божиим Варлаамом, в нятство и ныне сидят в тюрьме Спасо-Прилуцкой обители.

А еще через три недели, оковав Плещеева со товарищи тяжелыми железами и приставив к еретикам крепкий караул, повезли их в Москву.

Плакал, и хватал палачей за ноги, и целовал катану руки Леонтий Степанович, как только увидел железные щипцы, кнут и дыбу. И еще до пытки во всем сознался и выдал всех, кто с ним был. Однако про Тимошу не то запомнил, не то умолчал.

Дали ему три удара кнутом, от коих он чуть не умер, и отправили в Сибирь, дабы жил там трудом собственных рук. И пошел Леонтий Плещеев за Камень, к реке Тобол, навеки распрощавшись с вольготной дворянской жизнью.

Однако же хоть и далека Сибирь, но и там люди живут. И пришла к Леонтию Степановичу весть, что некогда обретавшийся в Вологде пищик Тимошка Анкудинов женился в Москве на племяннице вологодского архиепископа.

«Ох, иродово семя!» – вознегодовал Леонтий Степанович. И чем больше размышлял он над услышанным, тем большая ненависть овладевала им, и казалось, нет для него разницы между супостатом Варлаамом, заточившим его в Сибирь, и душепродавцем Тимошкой, что кровно породнился с худшим его врагом и теперь будет продолжателем поганого поповского рода.

А вести о Тимошке нет-нет да и доходили до Леонтия Степановича. Узнал он, что служит Анкудинов в приказе Новой Четверти, что вошел он в большое доверие ко второму в приказе человеку – дьяку Ивану Исаковичу Патрикееву, что случается ему есть и пить с князем Борисом Александровичем Репниным да с боярином Федором Ивановичем Шереметевым. И от этих вестей Плещеев ярился еще больше, ибо и Репнин, и Шереметев многое сделали для того, чтобы попал он к мастерам заплочных дел. И долгими бессонными ночами измыслил Плещеев великую хитрость. Он решил крикнуть «Слово и дело», а там будь что будет. И хотя страшно было ему объявлять это, иного выхода не было.

Знал Плещеев, что всякий, кто объявит «Слово и дело», обязательно будет доставлен в Москву и там в Разрядном приказе непременно станет держать ответ по всей правде, без утайки, перед государевыми судьями и дьяками. Знал он, что снова могут вздернуть его на дыбу, но могут поступить и по-иному: будут прощены прежние вины и будет он государем обласкан и взыскан, а может быть, и приближен к собственной царской персоне.

И, дождавшись весны, чтоб теплее было до Москвы добираться, крикнул бывший чародей, а ныне колодник Ленька Плещеев сын: «Слово и дело!» И после соизволения московских властей повезли его в Разрядный приказ для всеконечного строгого розыска.

## **Глава восьмая ДЕЛА ДАТСКИЕ**

В ту самую пору, когда лукавый колодник Ленька Плещеев изнывал от великой горести и измышлял, как бы ему возвратиться к прежнему безбедному и сытому житию, Иван Патрикеев был призван в Посольский приказ и определен к великому государственному делу. Не заходя домой, завернул дьяк Иван в избу к Тимофею и, хитровато улыбаясь, спросил:

– А ну, Тима, угадай, каких гостей будем мы завтра встречать? – И, не дожидаясь ответа, сказал: – Едет в Москву датский принц Вальдемар, сын короля Христиануса. Едет он вроде бы простым послом по торговым и иным надобностям, однако ж на самом деле вытребовал его государь для того, чтобы женить на царевне Ирине Михайловне. И того королевича Вальдемара завтра утром надлежит за Москвою, на Поклонной горе, встретить и в избе его быть мне при нем неотлучно для всяких государственных дел.

Месяца три Иван почти не был дома. Вместе с королевичем Вальдемаром поселился он в доме дьяка Посольского приказа Ивана Тарасовича Грамотина в Китай-городе, неподалеку от Кремля.

Вернулся Патрикеев домой только осенью, проводив королевича и всю его свиту, и после того заскучал еще больше. По его словам, пал ему на душу королевич лучше родного сына, и если бы был Вальдемар его государем, то отдал бы за такого государя дьяк Иван тело свое на раздробление.

Весел был королевич, ласков, прост, разумен и лицом и статью так хорош, что лучше дьяк Иван и не видывал: ростом высок, в поясе тонок, глаза серые, волосом рус, в плечах широк.

Но более всего дивился Иван Исакович тому, каков был королевич со слугами. Есть садился за один стол и беседовал с ними, как будто были они ему ровней. Слушал каждого внимательно, и если кто говорил насупротив него, то не шумел и не велел молчать, а после беседы за супротивные слова сердца на слугу не держал.

И слуги королевича, хотя и снимали перед ним шляпы, и даже первый посольский кавалер Григорий Краббе часто перед королевичем перьями своей шляпы пол подметал – так низко кланялся, все же холопами себя не называли, но были королевичу как бы отцу почтительные дети.

Судьба ли улыбнулась Ивану Патрикееву или вспомнил о нем сероглазый датский королевич, только ранней весной 1642 года призвал его в Посольский приказ думный дьяк Федор Федорович Лихачев и велел собираться в дорогу – в дальние заморские края, в

стольный град Датского королевства Копенгаген.

Патрикеев уехал в Данию 17 мая. Отправился он в дорогу вместе с окольным Степаном Матвеевичем Проестевым – великим послом, коему надлежало объявить королю Христиану, что царской дочери Ирине Михайловне приспело время сочетаться законным браком, а великому государю Михаилу Федоровичу доподлинно известно, что есть у его королевского величества добродетельный и высокорожденный сын – королевич Вальдемар Христианусович, граф Шлезвиг-Голштинский. И если его королевское величество захочет быть с великим государем в братской дружбе, то позволил бы он сыну своему государскую дочь взять к сочетанию законным браком.

Проестев был муж многоопытный, долгие годы исполнявший разные государевы поручения.

Еще в 1613 году подписал он вместе с лучшими людьми Московского царства грамоту об избрании Михаила Федоровича на царство. Затем он был то воеводой, то ведал Земским приказом, то разрешал порубежные споры с литовскими людьми и не раз отъезжал в чужие земли, правя посольскую службу.

Земский приказ передал он в надежные руки – посадил туда стародавнего своего друга Наумова Василия Петровича, а кто с Земским приказом ладил, мог и жить спокойно, и спать крепко – мало какая беда проходила мимо Земского.

Весной 1634 года вместе с князем Львовым подписал Степан Матвеевич с польскими и литовскими людьми вечный мир. И хотя по этому миру за врагами России остались все ранее захваченные русские земли, в том числе и Смоленск – ожерелье царства Московского, государь остался делом доволен: для него важнее всего было то, что король Владислав отказался от притязаний на русский престол. А ведь был король Владислав еще в 1610 году провозглашен русским царем и за четверть века привык к этому титулу не менее, чем к другим, кои носил по праву рождения.

И потому по возвращении в Москву был Степан Матвеевич царской милостью взыскан деревеньками, землицей, холопишками, а также взыскан шубой собольей на атласном подбое да немалыми деньгами.

Совсем вошел в силу Степан Матвеевич, когда на следующий год привез в Москву прах Василия Ивановича Шуйского, скончавшегося в Гостыньском замке под Варшавой еще в 1612 году. За это многотрудное, ловко исполненное предприятие был он пожалован окольным и иными многими милостями.

Потом были разные другие посольские дела, и все они искусно разрешались новоиспеченным окольным. А теперь и сватовство царевны поручено было многоопытному Степану Матвеевичу. А чтоб новое царское дело свершилось так, как угодно было государю, давано было послам пять сороков соболей да денег, да иной рухляди сколь потребно.

Незадолго до отъезда, перед самым концом великого поста, Иван Исакович позвал Проестева в гости. Несмотря на то что ни птицы, ни говядины, ни дичи лесной подавать к столу было нельзя, обед был из двенадцати перемен. Одних пирогов было полдюжины: с сигом, с осетром, с грибами, с визигой, с капустой, с морошкой в сахаре. Наливкам и настойкам не было числа. И что из того, что нельзя было вкушать молочное? Его и не в постные дни мало кто, кроме баб да ребятишек, вкушал.

За обедом, расслабив кушак, и более, чем от вина, хмелея от почета и ласки, ударился окольный в рассказы о прошлом. Едва ли не самым приятным было для Степана Матвеевича воспоминание о том, как вывез он из Польши прах царя Шуйского, брата его Дмитрия, да жены Дмитрия – Христины.

– А как поехали мы в Варшаву, то был нам даден наказ мертвые тела всех трех Шуйских выпросить у короля непременно. И если запросят денег, то дать хотя бы и десять тысяч рублей, а попросят более того – то и сверх того прибавить, смотря по мере.

И было то дело трудное, ибо канцлер коронный Якоб Жадик и пан Александр Гонсевский нам, государевым послам, говаривали: «Отдать тело царя Шуйского никак не годится. Мы славу себе учинили вековую тем, что московский царь и сородичи его лежат у нас, в Польше».

Однако, когда я посулил канцлеру десять сороков соболей, дело сладилося. Королевские зодчие, кои следили за каменной каплицей, где погребены были Шуйские, достали все три гроба из подпола и отдали нам честно. Король прислал атлас золотный, да золотные же кружева кованые, да серебряные гвозди, да бархат зеленый. И когда проехали мы село Ездовы, то у Варшавского посада встречали нас, послов, стольники и иные многие люди с великой честью. А уж как въезжали мы в Москву, того я и на смертном одре не забуду.

Проестев прослезился, атласным рукавом смахнул слезу.

– За то тебя, Степан Матвеевич, великий государь и окольников пожаловал, – ввернул словцо хозяин дома.

– Пожаловал, – с важностью подтвердил Проестев. – Дай бог ему, государю, многих лет да доброго здравия.

– Дай бог, дай бог, – тотчас же откликнулись все сидевшие в застолье.

Проестев встал, повернувшись к образам, широко перекрестился. Встали и все другие, также истово осеняя себя крестным знаменiem.

В конце обеда, когда окольников вконец опьянел и в который уж раз пытался поцеловать хлебосольного хозяина, Тимоша спросил:

– А правда ли, господине Степан Матвеевич, будто у царя Василия Ивановича в Польской земле народился сын и того царского сына паны-рада от народа прячут для некоего умышления?

Проестев, пьяно улыбаясь, приложил палец к губам:

– Т-с-с, व्यюнош. Тайна сия велика есть. Слышал и я такое, да никому не говорил. – Проестев замолчал, уронив голову на руки. – А потому не говорил, что боюсь. И ты бойся, а то быть тебе на дыбе.

Проестев и Патрикеев, возвратившись в Москву, не успели и в бане помыться, как объявились у них во дворах малые служилые люди с наказом идти обоим в Посольский приказ.

...Поправив очки, думный дьяк Федор Федорович Лихачев вычитывал Патрикееву и Проестеву:

– «А то наше великое государево дело делал ты, Степка Проестев, и ты, Ивашка Патрикеев, не по нашему государеву наказу. Вам, холопишкам нашим, указано было ради того нашего дела радеть и промышлять всякими мерами, уговаривать и дарить кого надобно, а вы, Степка да Ивашка, услышавши первый отказ от королевских думных людей, с нами не обославшись, из Датской земли уехали. А вам, холопишкам нашим, для нашего государева дела казны и соболей было давано довольно. А вы, Степка да Ивашка, ту казну и соболей раздавали для своей чести, а не для нашего дела.

С ближними королевскими людьми о деле нашем говорили самыми короткими словами, что вам никак не пристало, многих самых надобных дел не говорили и ближним королевским людям во многих статьях были безответны. И за то, что вы, Степка да Ивашка, дела нашего в Датской земле не делали и казну нашу государскую и рухлядь мягкую раздавали бездельно, мы, царь, государь и великий князь...» – Лихачев строго посмотрел сквозь очки, быстро пробормотал: – Ну, тут дальше титул. – И продолжал: – «...наложили на вас нашу опалу и нашим государевым людям велели взыскать на вас, Степке и Ивашке, протори и убытки, что вашим нерадением в Датской земле нам учинены».

Лихачев бумагу отложил на сторону и совсем иным тоном – свои люди перед ним сидели – произнес:

– Совет мой тебе, Степан Матвеевич, и тебе, Иван Исакович, две тысячи рублей, кои

ищет на вас великий государь, сегодня же в его государеву казну самим внести. А кою кому часть взносить, то вы сами промеж себя порешите.

Проестев спросил робко:

– А на ком ином протори взыскивали, то каков рез первый посол платил и каков – второй?

– Разно бывало, Степан Матвеевич. Платили те протори по их достаткам и по тому, сколько кто напрасно чего stráтил.

– А нам как быть? – спросил Патрикеев. – Ты скажи нам, Федор Федорович. Человек ты разумный, честность твоя всем ведома, как скажешь – так и будет.

– А ты согласен, Степан Матвеевич? – спросил осторожно Лихачев.

– Согласен, – неуверенно ответил Проестев – чувствовал, что большую часть платить придется ему.

– Делим мы по государеву жалованью, – ответил Лихачев. – Ты, Степан Матвеевич, получал жалованья в два раза больше, чем Иван Исакович. Стало быть, и платить тебе две трети долга, а ему треть.

Проестев вздохнул, сказал раздумчиво:

– В иные годы был я великим государем взыскан и обласкан много. Теперь же по грехам моим наложил на меня государь опалу. И я государю вину свою приношу, и что ты, Федор Федорович, сказал, то сегодня же сполню.

Проестев встал и, не дожидаясь Патрикеева, вышел.

А Иван Исакович остался сидеть недвижно: не было у него шестисот шестидесяти рублей и где их взять – он не знал.

С превеликим трудом собрал дьяк Иван со знакомых и родни триста тридцать рублей – половину того, что было нужно. Сто рублей взял для него в долг друг его Тимофей Анкудинов у известного всей Москве ростовщика Кузьмы Хватова.

На третий день явились к Патрикееву на двор подьячий, двое ярыг, сотский да мужики с телегами. И вывезли чуть ли не все, что было у Ивана Исаковича. Причем ценил домашний скарб подьячий нечестно: что стоило рубль, за то едва-едва давал полтину, все хорошее забирал, оставляя старье да рвань.

Жена Ивана Исаковича плакала, пробовала усовестить бесстыжего, но напрасно. Дьяк Иван на жену прикрикнул – велел идти вон. А сам плюнул, надел шапку и – чего никогда не бывало – пошел в кабак, забрав с собой и Тимошу.

В кабаке – на чистой половине – сели Тимофей да Иван Исакович одни, без послухов. Выпили по первой.

– Вот мне и плата за службу мою, – сказал Иван Исакович и заплакал.

Тимоша, обняв опального дьяка за плечо, проговорил утешительно:

– Та беда – не беда, отец мой и благодетель Иван Исакович.

– Да уж чего может быть хуже – хоть по миру с сумой иди.

– Главное, Иван Исакович, голова цела, а ей цены нет. Будет голова на плечах – снова все наживешь, лучше прежнего жить станешь.

Патрикеев краем рукава смахнул слезы.

– Выпьем, Тимофей Демьяныч, за удачу.

Тимоша поднял кружку, однако пригубить вина не успел – в комнату вошел сморщенный, ростом в два аршина старичишка-ярыжка из Земского приказа, хорошо знакомый и Тимоше, и Патрикееву. Поклонился низко, подошел к самому столу, зашептал сторожко:

– Ведомо мне, Иван Исакович, от верных людей – привезли нынче утром из Сибири в Разрядный приказ бывшего вологодского воеводу, а ныне колодника – Леньку Плещеева. И тот колодник доводит на тебя, Тимофей. Говорил-де ты ему, Плещееву, что ты, Тимофей, царю Василию Ивановичу Шуйскому – внук и Московского государства престол держат ныне мимо тебя неправдою. А те-де твои слова может подтвердить Новой же Четверти

подьячий Костка Евдокимов, конюхов сын, при коем ты-де не раз сие говаривал.

– Неправда это! Оговор и великие враки! – вскрикнул Тимоша.

– А я, голубь, и не говорю, что правда. Я тебе, голубь, то довожу, что услышать довелось, – тихо и ласково проговорил ярыга.

– А буде станет Костка на правеже запираяться, то привезут из Вологды иных видоков и послухов.

– Спаси те бог, дедушка, – проговорил Тимоша и протянул ярыге рубль.

– Дешево голову свою ценишь, голубь, – так же тихо и ласково проговорил ярыга и сел на лавку.

Тимоша бросил на стол еще три рубля. Старикашка брезгливо смел их со стола, будто объедки голой рукой снимал. Не прощаясь и не кланяясь, нахлобучил рваную шапчонку и шастнул за порог.

Иван Исакович, сощутив глаза, молчал. Затем проговорил раздумчиво:

– Перво Костю упреди. А после того не позже завтрашнего утра вместе с Костей беги, Тимофей, за рубеж. Иного пути у тебя нет. А чтоб Кузьма Хватов с тебя сто рублей не взыскал, сожги избу. С погорельца долга ростовщику нет. Да и жена за мужа не ответчица.

«Ах, ловок Иван Исакович», – подумал Тимоша и, обняв друга за плечи, сказал жарко:

– Век тебе этого не забуду, Иван Исакович.

## **Глава девятая РОЗЫСК**

Решеточный приказчик Овсей Ручьев издали заметил лошадь, запряженную в телегу. На телеге же увидел Овсей домашний скарб да бабу с двумя малолетками. Выхала лошадь из проулка, что упирался в Варварку. Рядом с телегой шагали два дюжих мужика. Светало. Блекли звезды. Повозка тяжело прогрохотала по бревенчатому настилу Варварки и свернула вниз к Москве-реке, скрывшись за беспорядочно стоявшими избами.

«Ни свет ни заря», – подумал Овсей и пошел дальше, негромко постукивая по доске и вполголоса покрикивая: «Слушай!»

Тихо было вокруг и безлюдно. Не будили спящих петухи, не брехали собаки. И только ночные сторожа с разных сторон выкрикивали свое: «Слушай!»

Вдруг Овсей учуял слабый треск и вслед за тем увидел высокий желтый всполох огня, взметнувшийся над одной из изб. Это было столь неожиданно, что он вначале подумал: «Привиделось, что ли?» Но тотчас же над крышей вновь взлетели языки пламени. На этот раз уже два – желтый и красный. Тихо постояли в недвижимом воздухе, а потом сплелись друг с другом и метнулись над крышей, будто молодайка в новом сарафане в пляс пошла.

Тут-то Овсей и ударил в доску изо всей мочи и, не помня себя, заорал:

– Караул! Горим!

Что было потом, помнил он плохо. Бежали какие-то люди, неодетые, сонные. Простоволосые бабы в исподних холщовых рубахах передавали по цепочке ведра от двух ближних колодезей. Мужики с баграми метались вокруг горящей избы, как черти в аду возле грешника, норовя покрепче зацепиться крюком да посильнее дернуть. Другие мужики окатывали водой соседние избы, валили заборы, чтобы огонь по доскам не перебежал в соседние дворы.



Когда изба рухнула и огонь лениво заплескался на куче обгорелых бревен и досок, появился объезжий голова Митяй Коростин.

– Кто видел, как изба занялась? – спрашивал Митяй грозно, но видоков не оказывалось: отговаривались тем, что спали и выбежали на пожар после многих других.

Пришлось говорить Овсею, упирая на то, что, если бы не спохватился он, Овсей, выгорела бы вся улица.

Спрошенные Митяем соседи погорельца ответствовали одно и то же: жил-де в избе, что ныне сгорела, Тимошка Демьянов сын Анкудинов, Приказа Новой Четверти подьячий, с женой своей Наташкой да с двумя малолетками, Ванькой да Глашкой. А отчего изба загорелась, того-де они, соседи, не ведают.

Объезжий голова соседских мужиков по избам не отпустил. Велел горелые бревна по одному раскатать, водой пепелище залить и после того всем сказал приходить в Земский приказ к думному дворянину Никите Наумовичу Беглецову. А Овсею наказал быть в том приказе ранее других, ибо с него, Овсея, начнут государевы служилые люди розыск: как на Варварке в ночь на 22 июня 7151 года учинился пожар и кто в том пожаре виновен?

После этого и Овсей, и Митяй, и мужики разошлись по домам. На душе у всех скребли кошки. Одно было ладно: что не сгорел никто, – по бревнышку раскатали избу, сгоревших, слава богу, не оказалось.

Думный дворянин Никита Наумович Беглецов проснулся от шума. Шум был невелик: за дверью опочивальни негромко спорили двое. Беглецов сразу же узнал голос одного из спорящих – холопа своего Петрушки, голос второго был также ему знаком, однако вспомнить, кто это, Никита Наумович не смог.

– Спит еще Никита Наумович, – говорил холоп.

– Нешто я не понимаю, известно: вся Москва еще спит. Да я потому и приехал, что дело у меня безотложное, скорое дело.

– Погоди немного, он и проснется.

– Да никак не могу я ждать, пойми, пожалуй, Пётра.

– И ты, пожалуй, пойми: не могу я тебя к Никите Наумовичу допустить.

Беглецов вздохнул, сполз с пуховика, надел на шею четки янтарные литовские, натянул халат бухарский, ватный, кизилбашские туфли юфтяные и вышел из опочивальни.

С Петрушкой спорил Коростин Митяй – объезжий голова с Варварки. Беглецов поджал губы, сморщился недовольно. Митяй, увидев хозяина, шагнул навстречу, забыв поздороваться, проговорил быстро:

– Беда, Никита Наумович. На Варварке изба сгорела. Новой Четверти подьячего Анкудинова Тимофея Демьянова.

– Одна изба? – быстро спросил Беглецов, еще не понимая, что заставило Коростина заявиться к нему домой чуть ли не среди ночи.

– Изба-то одна, да хозяин ее не простой человек. Я и подумал: не грех бы мне тебя,

Никита Наумович, упредить.

– А я чаю, уж не улица ли сгорела?

– Слава богу, одна изба, и люди все живы, Никита Наумович. Я на пожар поспел, пепелище велел водой залить, оглядел все со тщанием – никто не погиб, и соседние дома все целы. И послухам велел быть в приказе с утра – вдруг занадобятся?

– Ладно, Митяй, ступай. Будешь надобен, пошлю за тобой. Да узнай про то, где теперь Анкудинов Тимофей, и, узнав, о пожаре его расспроси.

Досыпать Беглецов не стал. Постоял у окна, подумал, сказал про себя: «Ай да Митяй, умная голова, спасибо, что упредил». И, возвратившись в спальню, стал быстро одеваться – сердцем чувал: надо было не мешкая известить о случившемся начальника Земского приказа, думного же дворянина Наумова Василия Петровича.

Василий Петрович Наумов сидел в Земском девятый год. Из них семь лет вместе с Никитой Беглецовым. Служба в Земском приказе была не в пример другим службам тягостнее и беспокойнее. Ведал сей приказ всей Москвой, и, что бы где в столице ни случилось – татьба ли, разбой ли, пожар ли, или иное какое лихо, – за все про все перед государем был в ответе Земский приказ. Кроме того, с московских тяглых людишек должны были приказные люди исправно взимать налоги и по всем тяжбам вершить суд, а буде надо – и расправу.

Однако бог лес не уравниал, а паче того – человек. И потому каждое дело надо было вершить с умом и с оглядкой. Мешкать было нельзя, а уж спешить – тем более. Паче же всего следовало оберегаться поступков и решений, кои по судейскому недомыслию могли задеть людей сильных и родовитых. И потому редко когда государевы думные дворяне или дьяки какое-либо важное дело решали враз и единолично; мужики и посадские худые людишки в сей счет не шли – их делишки решал любой подьячий.

В то утро, 22 июня 1643 года от рождества Христова, Василий Петрович стоял в моленной, поверяя себя господу. Тихо и благолепно было на душе у Василия Петровича, когда вышел он из моленной в горницу и увидел сидящего у окна Никиту Наумовича.

«Да, в Земском служить – не в Панихидном», – подумал Василий Петрович, догадавшись, что какие-то неприятные дела привели в неурочный час его помощника.

Беглецов встал, отвесил низкий поклон, коснувшись рукой пола. Наумов вопросительно на Беглецова глядел, ждал.

– Дело к тебе, Василий Петрович.

– Говори.

– Тимофея Демьянова Анкудинова изба сгорела.

– Это разноглазый такой из Новой Четверти?

– Он, Василий Петрович.

– Жена его Патрикеева Глеба Исаковича дочь?

– Так, Василий Петрович, все истинно. Митяй Коростин на пожаре был, все сделал гораздо. При пожаре никого в избе не было, то и дивно. Изба пуста – и вдруг под утро как бы сама по себе горит, – продолжил Беглецов.

– Почему думаешь – сама по себе?

– Решеточный приказчик Овсей Ручьев видел, как первый сполох из избы над крышей взлетел. Коли бы ее кто снаружи поджигал, не так бы она занялась.

– А зачем Тимофею свою избу жечь?

– То и надобно сведать, Василий Петрович.

Наумов задумался. Постучал пальцами по краю стола.

– То ты добре сделал, Никита Наумович, что дело это до меня довел. Тут хорошо подумать надобно. Помню я, как приехал Анкудинов на Москву, жил он немалое время у Ивана Исаковича Патрикеева. А Патрикеев, сам знаешь, благодетелю нашему Степану Матвеевичу Проестеву первый друг. Так что дело это надо делать без всякой зацепки. А про Тимошку нынче же узнай все доподлинно: где он сам, где женка его с детишками и

отчего изба его загорелась?

По дороге в приказ Беглецов прикинул, с чего начнет розыск. Приехав, он первым делом призвал к себе Никодима Пупышева – старого ярыгу, великого мастера по сыску обретавшихся в нетях людишек.

Никодим пожевал беззубым ртом, поглядел в потолок, молча нахлобучил шапку и неспешно вышел.

Вернулся Никодим к полудню с заплаканной молодой бабой. Оставил ее на дворе, строго наказав его дожидаться, а сам нырнул в приказную избу.

– Привел, Никита Наумович.

– Тимошку?

– Женку его, Наталью.

– А Тимошка где?

– Того она не ведает.

– А ну, води женку ко мне.

Наталья Анкудинова, молодая, круглолицая баба, с лицом, опухшим от слез, войдя, испуганно покосилась на Беглецова и, не ожидая вопросов, с порога заголосила:

– И ничегошеньки-то я не знаю, ничего не ведаю! И чего он ко мне пристал? Хоть бы ты, господине, велел ему отстать от меня!

Беглецов молча глядел на Наталью, которая причитала не умолкая.

– Ты чья будешь, красавица? – спросил Беглецов тихо и ласково.

Наталья мгновенно замолкла, недоверчиво глядя на Беглецова.

– Анкудинова я, Наталья, – проговорила она робко.

– Садись, Наталья. В ногах правды нет.

Наталья присела на краешек скамьи. Страх понемногу отпускал ее, и она чувствовала, что от сидящего перед нею начального человека не надо ей ждать никакого зла.

– Позвал я тебя, красавица, горю твоему помочь. – Беглецов ласково на Наталью поглядел, поиграл четками. – Знаешь, поди, что лихие люди избу твою нынче в ночь спалили?

Беглецов внимательно посмотрел на молодуху. Та глаза отвела, снова дурашливо запричитала:

– Знать ничего не знаю, ведать не ведаю!

– Да ты погодь. Нешто не знаешь, что избу твою пожгли?

– Не знаю, боярин, не ведаю.

– И ярыга мой того тебе не говорил?

– Ничего я не знаю, не ведаю!

– Ну, а муж твой, Тимофей Анкудинов, где ныне обретается?

– И того я тоже не знаю.

– Значит, ничего не знаешь? Ну, а как ты с детишками у Ивана Пескова оказалась – тоже не ведаешь?

Наталья замолкла, снова отвела глаза в сторону.

Беглецов понял: зацепился точно. Сидел, ждал, лениво перебирая четки.

– Ну, так как же ты к Ивану Пескову с детишками попала?

Наталья молчала.

– Али мне Ивана Пескова об том спросить?

Наталья заплакала.

Беглецов ждал.

– Ничего-то я не знаю, – неуверенно затынула она.

– Ну, вот что, баба, – вдруг, сильно стукнув рукой по столу, сухо и зло проговорил Беглецов, – плакать дома будешь, а здесь слезам не верят. Или ты мне тотчас скажешь, кто тебя к Пескову привел, или не я буду с тобой разговаривать, а кнутобойцы в пыточной избе.

Наталья от страха побелела. Откуда было ей знать, что Беглецов просто-напросто

пугает ее? Не помня себя, Наталья заговорила:

– Не гневись, боярин, на меня, глупую. Со страху забыла я все. Привез меня к Ивану муж мой, Тимофей.

– А когда привез?

– Нынче под утро и привез.

– А зачем ему было ночью тебя с ребятишками из своей избы в чужую возить?

Наталья хотела было снова сказать заведенное – «не знаю», но, взглянув на Беглецова, тотчас же передумала.

– Сказал он мне, что буду я с детишками у Ивана жить. А он с Москвы вместе с Косткой, товарищем своим, вон пойдет. И они нас на телегу усадили и к Ивану свезли. А боле я, боярин, вот те крест святой, – Наталья встала, истово перекрестилась на образа, – ничего не знаю.

– Что, много муж твой задолжал? – спросил вроде бы невзначай Беглецов.

– И этого я, боярин, не знаю, – ответила Наталья и заплакала.

Беглецов поглядел на нее печально.

– Иди с богом. Будешь надобна – призову.

Отпустив Наталью, Беглецов прошел в соседний покой к Наумову.

– Худо дело, Василий Петрович.

– С Анкудиновым, что ль?

– С ним.

– Ну, говори.

– Тимошка с Косткой Конюховым, Новой же Четверти подьячим, женку Тимошкину и детишек ночью свезли к Ивашке Пескову. После того изба Тимошки загорелась. А сами они, Тимошка и Костка, из Москвы побегли вон.

Предвосхищая вопросы Наумова, Беглецов пояснил:

– И Тимошка, и Костка задолжали в Москве немалые деньги. А чтобы те долги не платить, чаю я, Тимошка избенку свою подпалил: чего де с погорельцев возьмешь, тем паче, что баба бездомная за беглого мужика безответна.

Наумов глядел куда-то вбок, вроде и не слушал.

Беглецов, помолчав, спросил:

– Али я не то говорю, Василий Петрович?

– Может, то, а может, и не то.

– Скажи, Василий Петрович, не томи.

– Твоя правда, Никита Наумович, еще не вся правда, а может, половина или же четверть. А правда в том, что Леньку Плещеева, бывшего вологодского воеводу, из Сибири обратно в Москву привезли.

Узнав, с каким делом привезли в Москву Леонтия Плещеева, Беглецов мгновенно понял, что теперь дело Анкудинова принимает совсем иной оборот, и потому решил бумаги по начатому розыску составлять сам. Пригрозив пыткой, он еще раз допросил Наталью Анкудинову, выпросил, что мог, у Ивана Пескова, записал речи соседей Тимофея и пищиков с подьячим, что сидели с Конюховым и Анкудиновым в Кабацком приказе. И после великого и многотрудного розыска вышло так: Новой Четверти подьячие Тимошка Анкудинов да Костка Конюхов воровским обычаем затягались со многими людьми и ночью, украв из казны сто рублей, чтобы замести следы, подожгли избу и тем же воровским, изменным обычаем бежали из Москвы неведомо куда.

Полностью отводя от себя возможные упреки в нерадении и попустительстве, Беглецов отправил отписку в Сыскной приказ, чтобы на заставы посланы были листы, а в тех листах были бы описаны приметы воров, и буде божиим соизволением попадут те воры в руки властей, то, оковав железом, послать воров в Москву, в Разрядный приказ, за крепким караулом.

## Глава десятая ЧЕРНИГОВСКИЙ КАШТЕЛЯН

Тимофей открыл глаза. Ясные незакатные звезды текли в черном высоком небе. И, почти дотрагиваясь до звезд, немо и недвижно стояли околдованные тишиной медные сосны.

Только ближний ручей тихо журчал, обмывая коряги и камни, да всхрапывали рядом уставшие кони. Неслышно дыша, спал, разбросав длинные жилистые руки, Костя. Спали птицы и звери, и только звезды да он, Тимофей, не спали в этот час – глядели друг на друга и шептали друг другу тайное, сокровенное.

Робко, будто опасаясь – не рано ли? – пискнула первая пичуга. За ней, увереннее, – вторая. Тимофей сел на ворохе сена, пригладил руками волосы, потер ладонями лицо и пошел к ручью мягкой, крадущейся походкой. Вернулся свежим, умытым, бодрым. Сила и радость переполняли его.

Лес уже наполнился свистом, стрекотом и стуком бодрствующей, трепещущей, бьющейся жизни.

Вставало солнце. Тимофей прикоснулся к плечу Кости. Костя тотчас открыл глаза и быстро сел, приглаживая волосы и потирая лицо.

– Седлай коней, Константин. К ранней заутрене надобно быть нам в Киеве, – проговорил Анкудинов строго, как говаривали со своими стремянными начальные люди.

– Счас, князь-батюшко, счас, Иван свет Васильевич, – произнес Костя дурашливо и метнулся к коням, изображая страх и великое усердие.

Анкудинов не засмеялся. Подошел к Косте, сказал:

– Не шутейное дело задумали мы с тобой, Константин. Кончились наши забавы. Одно слово не так скажи, одним глазом не туда посмотри – и висеть нам на дыбе в Разрядном приказе. А получится у нас, как задумали, то так с тобою заживем – царю завидно станет.

– И пора бы уж, – посерьезнев, ответил Костя. – Иные недоумки, головою от рождения скорбные, в двадцать лет уже окольныхчи, а в тридцать – бояре. А и всех-то заслуг – что не в избе, а в хоромах на свет появились.

– А мы, Костя, хоть и из избы мир божий увидали, зато не обделил нас создатель умом да сноровкой. И пять раз будем мы дурнями, если данное нам перед иными людьми превосходенье на пользу себе не употребим.

– В золоте будем ходить, князь Иван Васильевич, и на золоте есть будем, как и подобает великим мужам, кои от одного короля к другому служить отъезжают.

– Ну, дай-то бог! – весело воскликнул Тимофей и вскочил в седло.

А Костя бережно собрал осыпавшееся сено, закинул его на верхушку стога и, тронув коня, выехал из леса.

Адам Григорьевич Кисель, черниговский каштелян, комиссар короны и сенатор республики, в этот день долго не ложился спать. Через двое суток в Варшаву отправлялся воеводский гонец, и Адам Григорьевич с двумя писарями готовил необходимые письма.

Адам Григорьевич, сидя в углу комнаты, диктовал, затем читал написанное, перемечал киноварью и отдавал обратно – писать набело.

От долгой работы у каштеляна заболела спина, резало глаза: все никак не мог собраться поменять очки, да и годы давали себя знать – все-таки шел седьмой десяток. Когда часы пробили десять, Адам Григорьевич встал, потер поясницу, повел плечами.

– Завтра придете в десять.

Писаря молча поклонились.

Адам Григорьевич походил по комнате, посидел у стола, сложив руки. Подумал. Медленно, аккуратно очинил перо, затем второе и третье. Придвинул к себе лощеную бумагу с затейливым фламандским вензелем в верхнем правом углу. Придвинул шандал,

аккуратно снял со свечей нагар. Склонив голову набок и взяв перо в левую руку, вывел тщательно:

«Ясновельможный пан! Неделю назад в Киеве, в Печерском монастыре, объявился некий беглец из Московии, называющий себя Иваном Васильевичем Шуйским – внуком покойного царя Василия. Моими стараниями ныне живет князь Шуйский на моем киевском подворье. Я постарался, чтобы слух о его появлении не распространялся, по крайней мере, до тех пор, пока вы не примете решения, как следует с ним поступить и что предпринять.

Гонец, который доставит это письмо, должен привезти от вас и ответ на него».

Кисель улыбнулся и сразу же написал второе точно такое же письмо. Залив конверты с письмами сургучом, Кисель вдавил в еще мягкий сургуч серебряный перстень-печатку с латинскими буквами «F» и «S» и, еще раз улыбнувшись, сам себе сказал: «Ай да молодец Адам Григорьевич! Ай да розумный чоловік! Теперь читай письма кто хочешь – никак не догадаешься, кто и кому их писал».

Летом каштелян вставал до первых петухов. И на этот раз проснулся ни свет ни заря. Светало. Адам Григорьевич полежал с открытыми глазами, разгладил усы – делал он это всякий раз, когда крепко над чем-нибудь задумывался, – и хлопнул в ладоши, вызывая казачка.

Хлопчик лет десяти тут же вбежал в спальню и замер у порога.

– Оденусь я сам, а ты пойди в гостевые покои, где живут ныне паны из Московии, и попроси ко мне Ивана Васильевича не мешкая.

Мальчик выбежал, а Адам Григорьевич неторопливо, по-стариковски, стал одеваться.

Только он затянул златотканый кушак, как тот же хлопчик возник на пороге и, низко поклонившись, сказал:

– Иван Васильевич московский до вашей милости.

Адам Григорьевич погладил усы, велел:

– Проси.

Анкудинов вошел быстро. Здороваясь, чуть наклонил голову, взглянул сумрачно. Кисель шагнул навстречу, протянул руку, проговорил душевно:

– Поздорову ли, князь Иван Васильевич?

– Спаси бог на добром слове, Адам Григорьевич.

Поглядели друг на друга внимательно. Анкудинов, как и прежде, – недовольно, Адам Григорьевич, как и прежде, – ласково. Тимофей будто ненароком коснулся пальцами золотого креста, что висел у него поверх кафтана.

Остановившись перед дверью в соседний покой, Адам Григорьевич спросил участливо:

– Ай чем недоволен, Иван Васильевич?

Анкудинов, поглядев строго, сказал громко:

– Не холоп я, Адам Григорьевич, и не слуга твой. А корм мне и дворянину моему идет не по достоинству, а будто мы простые мужики или казаки.

– И только-то? – засмеялся Адам Григорьевич. – Ну, эта кручина – не беда, князь. Ну, да ладно – не гневайся, князь. Чего раньше-то не сказал?

– Гонор шляхетский и у меня есть, пан Адам. Христарадничать князя Шуйские и в нужде не обыхли.

– Да что ты, князь! Корм тебе я со своего стола посылаю. Да дело-то в том, что сам я в яствах и брашнах умерен, говяды и в мясоед не вкушаю, в вине воздержан, пища моя – хлеб, молоко, да то, что с огорода и с бахчи на стол идет. – Кисель обнял Тимофея за плечо: – Стар я стал, забываю, что в молодые годы и я попить-поесть любил. А ведь вы люди молодые, вас молочком да дыней не насытишь.

Адам Григорьевич хлопнул в ладоши. Подбежавшему казачку сказал весело:

– А ну, хлопчик, скажи, чтоб несли в застольную вина ренского добрую сулею да быстро бы зажарили индюка и всего прочего принесли бы тотчас довольно.

Кисель показал рукой на дверь в соседнюю комнату. Сам дверь распахнул, пропустив

князя впереди себя. Сел на лавку сбоку, гостя посадил под образа. Погладив усы, начал тихо:

– Позвал я тебя, князь, по спешному делу. Через час пойдет в Варшаву гонец с письмами к панам-сенаторам. Одно письмо – о тебе. Не лучше ли это письмо послать с верным человеком особо?

Правый глаз у князя Ивана Васильевича стал чуть косоват: задумался князь.

– У меня, Адам Григорьевич, два верных человека. Известный тебе дворянин Константин Евдокимович да, чаю я, еще и ты.

Не остыл еще Тимофей от недавнего разговора – держал на Киселя сердце.

«Экой наглец», – подумал Кисель. Однако ответил сдержанно:

– Я, князь, верный человек только моему королю да православной церкви. А тебе – лишь доброхот, покуда готов ты служить нашему делу и вере наших отцов.

Анкудинов понял, что перегнул палку, поставив Костю и Киселя на одну доску, а себя против них возвысив.

Здесь, на удачу, появился казачок с серебряным подносом, с серебряными же сулём и стопками.

– Стало быть, и думать нечего, – ответил Анкудинов с улыбкой. – Коли нужен верный человек, хоть и один он пока что у меня, бери его, Адам Григорьевич, и любой твой наказ он исполнит, как мой собственный.

– Добре, князь, – ответил Адам Григорьевич, наливая в стопки душистое ренское. Гостю – под край, себе – самую малость. – Вели своему человеку быть в канцелярии, как только мы с тобой угощаться кончим.

Костя выехал в Варшаву вместе с гонцом пана Адама, казаком по имени Силуян, лишь только взошло солнце. Шли они одвуконь, ведя в поводу сменных лошадей.

В девять часов утра, по летнему времени в самую обеденную пору, гонцы остановились у ручья, на опушке соснового бора. Неподалеку от них на большом панском поле жали хлеб мужики и бабы. Солнце взошло уже довольно высоко. Становилось жарко.

Костя и Силуян расседлали коней, разулись, положили под головы седла и с наслаждением вытянули ноги. Расстелив чистый холщовый плат, Силуян разломил хлеб, отрезал два куса сала, достал из тороков кiset с солью и походную деревянную сулю с водой, похожую на сырнй круг. Молча сжевали гонцы мягкий пахучий хлеб, розовое твердое сало и прилегли снова – набираться сил перед дальней дорогой.

Костя закрыл глаза, и возникло перед ним все, что увидел он, выехав из Киева.

Увидел дорогу – широкую, пыльную, серую. Желтые хлеба, зеленые травы. Полуголых, черных от загара косарей, белые платочки жнущих баб. Верхоконных панских надсмотрщиков, что медленно, как бы задремав в седлах, переезжали с покоса на ниву и с нивы на покос. Шла вторая половина июля – самое страдное время на Украине, когда кончается первый покос и начинается жатва.

«До солнца пройти три покоса, ходить будет не босо, – вспомнил вдруг Костя невесть откуда всплывшую пословицу и подумал: – Здешние мужики до солнца по пять покосов проходят, да все почти босы, лапти и то не на каждом, а постолы на одном из десяти».

И снова всплыли перед взором Кости дорожные картины... Карета с гербами, с гайдуками на запятках, окруженная дюжиной всадников. Бредущие по обочине слепцы-нищие, серые и пыльные, как дорога. Вереница возов, груженных глиняными горшками-«писанками», что везли на продажу в Киев коричневолицые, синеглазые гончары... Брели по дороге странники – с высокими посохами в руках, с котомками за спиной. Брели монахи – босые, в выгоревших на солнце рясах, подпоясанные веревками, с кружками на поясе. Твердо вышагивали солдаты, неся на плече алебарды, с навешанными сапогами, шлемами, кирасами.

Ехали в повозках хитроглазые торговцы, утомленные долгой дорогой ямщики. Скакали верхами надутые спесью паны, окруженные толпой загоновой шляхты – пьяной, горластой,

в латаных сапогах, дырявых кафтанах; и если бы не усы в три вершка да не сабля – не отличить пана от хлопа.

Проезжали сумрачные, влитые в седла гонцы, с сумками через плечо, в кожаных штанах, в шапочках с коротким пером. Гнали по дороге круторогих волов, блеющих, суеющихся овец, изможденных острожников, иссушенных зноем и голодом пленных татар и казаков. А вокруг шумели хлеба и травы, пели птицы и жужжали шмели. Пчелы несли мед, и земля дарила людям наливающиеся соком яблоки и черные ягоды черешен и вишен. И тучные волоокие коровы копили жирное молоко, и суежилась в перелесках всякая живность. И всего было довольно вокруг, ибо земля была черна и масляниста, трава высока и хлеба густы. Да только мужики и бабы, что работали вдоль дороги, показались Косте еще беднее, чем те, что встречались ему у Москвы или возле Вологды...

– Поехали, – буркнул Силуян.

Костя быстро собрался, переменял коня и поехал дальше, держась позади своего неразговорчивого попутчика.

До темноты гонцы еще дважды меняли лошадей – после полдника и после ужина.

Поздним вечером Силуян остановился возле корчмы. Спрыгнув на землю, он передал повод Косте и, произнеся только одно слово «жди», вразвалку пошел к корчме.

Было темно, светились лишь окна корчмы, да где-то в стороне – за огородами – желтым сполохом подрагивал над землей костер.

Силуян открыл дверь, еле втиснувшись в узкий проем, и Костя услышал пьяную разногласицу собравшихся в корчме постояльцев.

Не успел Силуян переступить порог, как дверь распахнулась снова. Шум в корчме стал сильнее.

В освещенном дверном проеме появился темный силуэт широкоплечего, приземистого Силуяна. Гонец, отступая, пятился на крыльцо.

– Константин! – крикнул Силуян.

Костя, мгновенно сообразив, подогнал лошадей ко входу в корчму.

Он увидел, как Силуян, выхватив пистоль, остановился у края крыльца и, не сводя глаз с двух пьяных шляхтичей, выскочивших на крыльцо с обнаженными саблями, проворно спрыгнул на землю. Схватив одной рукой жеребца за холку, Силуян быстро поймал ногой стремя и с необыкновенной для такого грузного человека легкостью взлетел в седло.

Шляхтичи, увидев Костю, остановились, громко ругаясь, отступили в корчму.

– От бисовы дети! – проворчал, Силуян и резко повернул коня.

Костя, ведя в поводу пару сменных лошадей, поскакал следом.

Силуян, обогнув корчму, полем направился к недалекому костру.

Проскакав сажень сто, Силуян остановил коня. Повернувшись к ехавшему обок него Косте, сказал:

– Что там за люди у огня, не знаю. Только думаю, не хуже тех псов, что выбили меня из корчмы, облаяв еретиком и схизматиком.

– Как такое могло случиться? – с удивлением спросил Костя. – Ведь ты – воеводский гонец. Кто может государева или воеводского гонца на постоялый двор или в ям не пустить?

– Это в Московии такие порядки. А у нас здесь... – Силуян, не договорив, махнул рукой.

– Ничего, дядя Силуян, – ответил Костя, – под небом спать – оно приятнее: ни клопов, ни воню.

Силуян, ничего не сказав, тронул коня с места.

Подъехав ближе, Костя увидел у костра десятка два мужчин и женщин. Они сидели и лежали у огня, опасливо вглядываясь в темноту. Заслышав близкий топот четырех коней, они не ожидали ничего для себя доброго.

Силуян и Костя остановились, не доезжая до костра сажень десять. Снова Силуян перебрал повод Косте, а сам вперевалку пошел к огню.

Один из сидевших у костра поднялся, и Костя услышал:

– Сидайте с нами, добрые люди. Грейтесь, угощайтесь чем бог послал.

– Спаси бог, – ответил Силуян, позвал негромко: – Константин, иди к огоньку – погреемся да повечеряем.

Костя вошел в круг света. У костра сидели, лежали увечные да старые, кто и в страдную пору был не работник. Чуть в сторонке стояло несколько телег с привязанными к ним конями, худыми, облезлыми, старыми – ни дать ни взять хозяевам под стать. В двух телегах на соломе лежали двое – хворые ли, увечные ли, покрытые по грудь рваными рогожами. Такими же рогожами были покрыты и привязанные к телегам кони.

Присев к костру, Костя и Силуян выложили хлеб, сало, но никто не прикоснулся к их чистосердечным дарам, отговариваясь тем, что все они только что повечеряли. В ответ гонцам предложили репу, ржаные лепешки и лук – все, что было у этих бедных людей, православных крестьян, шедших на богомолье в Киевско-Печерскую лавру. Они везли с собою двух больных – мужа и жену, которым, кроме как на чудо да на милость божью, не на что было надеяться.

Костя, разминая затекшие ноги, несколько раз подходил к больным. В сумерках они выглядели неживыми, думалось, что даже чудо им едва ли поможет.

Возвращаясь к костру, Костя видел перед собой людей, казавшихся не намного лучше лежавших под рогожами: лица сидевших у огня были измождены, печальны, руки с набрякшими от работы венами бессильно лежали на коленях, их свитки, шаровары, юбки и кофты были грязны и ветхи. Странники сидели молча – все давно уже было переговорено.

Посидев недолго, богомольцы разбрелись в стороны, забравшись на ночлег под телеги. Последними в лагере заснули гонцы, и думы их были невеселыми.

В тот самый час, когда в ста верстах к западу от Киева заснули, наконец, Костя и Силуян, с подворья пана Киселя выехал еще один гонец.

Адам Григорьевич сам вышел провожать его. Вручив гонцу второе письмо, составленное слово в слово с первым, Кисель сказал:

– К ночи будешь на месте. А не поспеешь к ночи – не беда. Так что коня не гони. Жду тебя через четыре дня. А не окажется его на месте, жди хоть неделю, но без ответа не возвращайся.

Гонец поклонился и вспрыгнул в седло. Когда он уже был в воротах, Адам Григорьевич крикнул:

– Письмо только самому отдай, в собственные руки.

Гонец кивнул головой и повернул коня к берегу Днепра, на восход солнца – к полтавской дороге.

Костя и Силуян въехали в Варшаву 30 июля 1644 года. День уже угасал. Солнце упало за Вислу, вызолотив на прощанье кресты, флюгера, шпили множества островерхих башен.

По узким грязным улочкам Силуян уверенно проехал к центру города и остановился напротив большого нового дома, развернувшегося дивной красоты фасадом на небольшую площадь.

– Тебе в цей палац треба занести письмо, – сказал Силуян. – А мени треба у другий палац. – И негромко добавил: – Без мени не уезжай. Завтра об цю пору буду ждать тебя у палаца князя Оссолинского, на цем мисте.

Как только Силуян скрылся за поворотом, Костя спрыгнул на землю и стал соображать: что ему делать с тремя конями, куда хотя бы на время привязать их?

С высокого крыльца палаца, лукаво ухмыляясь, глядели на неловкого москвитя двоюродного брата гайдучков в расшитых серебром кафтанах, с саблями, в шапках с перьями.

И вдруг на площадь вылетела сверкающая, гремющая кавалькада всадников в шелке, в бархате, в лентах и перьях. Шурша шелком, звеня шпорами и оружием, кавалеры проскакали перед самым Костиным носом, едва не сбив его с ног и обдав целым облаком

запахов – конским потом, порохом, вином, сырой кожей и, что вовсе уж дивно, каким-то благоухающим и терпким ароматом.

Попятившись назад, Костя совсем растерялся, но проскакавшие мимо кавалеры с птичьим гомоном, со смехом и шутками спорхнули с седел и стали охорашиваться, поправляя шляпы, парики, плащи и оружие.

Со всех сторон кинулись к кавалерам мальчишки и парни, предлагая подержать коней, пока ясновельможные шляхтичи будут гулять во дворце. Небрежно бросая поводья, кавалеры неспешно и важно потекли к парадной двери, у которой остановились две кареты, только что появившиеся на площади.

Гайдуки быстро распахнули дверцы карет, отбросили подножки. Из карет не спеша вылезли два старика. Строго взглянули на поднимающихся по ступеням шляхтичей. Те остановились, забрякали шпорами, стали махать перед собою шляпами, касаясь ступеней длинными яркими перьями.

Гайдуки лихо распахнули дверь палаца. Старики неспешно и важно вошли во дворец. За ними с непокрытыми головами чинно потянулись затихшие кавалеры.

Тут и к Косте подбежал хлопчик, шустрый, синеглазый. Улыбаясь, схватил коней за узды. Костя дал ему грош и с замиранием сердца пошел к распахнутой настежь двери – такой высокой да красивой, какие на Москве бывали только в церквях.

## **Глава одиннадцатая КАНЦЛЕР РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ**

Вечером 30 июля в одном из покоев дворца князя Оссолинского встретились трое немолодых мужчин. Это были хозяин дома Ежи Оссолинский и два его брата: старший – Кшиштоф, и младший – Максимилиан.

– Что же это делается? – нервно проговорил Кшиштоф. И по тому, как он сказал это, было ясно, что два других Оссолинских хорошо знают, что заботит старшего брата.

Максимилиан удрученно молчал. Ежи опустил глаза. Затем произнес:

– Я ничего не могу поделать с Вишневецким. Да и сам король ничего не может с ним поделать.

– Хороша республика! – воскликнул Максимилиан. – Канцлер и король не могут найти управу на зазнавшегося подданного!

– Попробуй найди, – ответил Ежи, – когда у Иеремии триста тысяч собственных подданных, собственная армия и даже своя монета. А замки и города Вишневецкого укреплены намного лучше королевских фортеций. Люди Вишневецкого захватили наш обоз и разграбили два наших села, конечно же, не потому, что пану Иеремии стало нечем платить своим слугам. Эти грабежи есть акт политический. И направлен он против меня, канцлера Речи Посполитой, ибо я – сторонник сильной королевской власти, а пан Иеремия – ее первый враг. Он хочет быть абсолютно независимым от Варшавы и потому сеет раздоры, поощряет разбой и потворствует распрям во всех землях государства, кроме собственных своих владений, чтобы стать самым сильным среди ослабленных междоусобицами магнатов.

– Ты все хорошо объяснил, Ежи, – с нескрываемой иронией произнес Кшиштоф. – Скажи теперь только одно: что делать нам, братьям Оссолинским, после того как нашей фамилии нанесены ущерб и оскорбление?

– Терпеть и ждать своего часа, – бесстрастно произнес канцлер. – В политике чаще всего побеждает тот, кто умеет ждать.

«Что же тебе еще остается?» – подумали и Кшиштоф и Максимилиан с раздражением.

Неловкую тишину прервал робкий стук в дверь.

На пороге появился ливрейный гайдук, за ним стоял незнакомый гонец – высокий, жилистый, зеленоглазый.

– От его милости пана Адама Киселя до вашей светлости, пан князь, – произнес гайдук

громко и тихонечко подтолкнул гонца в спину.

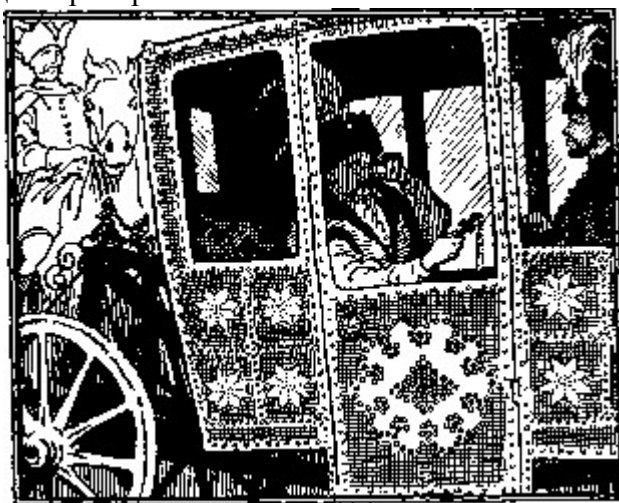
Ежи шагнул к двери, взял из рук гонца пакет и с хрустом поломал печати.

Быстро пробежав письмо, он еле заметно улыбнулся и, возвратившись в глубину комнаты, открыл стол. Письмо исчезло во тьме одного из многих ящиков, а на свет – оттуда же – появилась серебряная монета. Канцлер по-мальчишески подбросил монету, ловко поймал ее и протянул гонцу. Гонец улыбнулся и, тряхнув в поклоне светлыми кудрями, вышел.

– Чему ты улыбаешься, Ежи? – спросил Кшиштоф, как только братья остались одни.

– Может быть, теперь нам недолго придется ждать гибели зрадцы Иереми, – задумчиво проговорил канцлер и снова загадочно улыбнулся.

Адам Григорьевич, получив ответные письма, доставленные Костей и вторым гонцом, решил везти князя Шуйского в Варшаву. Поразмыслив, он велел закладывать одну карету, чтобы во время неблизкой дороги кое о чем порасспросить Ивана Васильевича, а кое-что поведать, чтобы знал князь, с кем посчастливилось ему иметь дело и каков есть черниговский каштелян Адам Григорьевич Кисель.



Удобно разместившись в карете насупротив Тимоши, пан Адам потихонечку начал выведывать то, чего еще о нем не знал. Однако князь Иван говорил все то же, что и раньше, повторяя неспешно, тихо и печально:

– В смутное время, Адам Григорьевич, неведомо какими путями попал я вместе с верным моим слугой Константином в Вологду. Мал я был совсем, титешник, должно быть, и потому от времени того совсем ничего не помню. Возрос я в доме вологодского владыки, архиепископа Варлаама. И он-то, владыка, открыл мне одноднесь великую тайну, назвав меня царевым рождением. А вслед за сим показал мне тайно же грамоту, коей царь московский жаловал меня наместничеством и воеводством, и по той грамоте на европейский манер был я как бы вологодским королевичем. Грамота та хранилась у владыки в ларе железном, а ларь стоял в ризнице Софийского собора. В том же ларе хранился и этот вот крест.

Тимоша снял крест, протянул его Адаму Григорьевичу. Пан Адам, скучая, как бы нехотя, повертел крест в руках, поглядел из вежества, протянул обратно.

– Ты надпись на нем прочти, Адам Григорьевич, – настойчиво проговорил Тимоша, не принимая протянутого к нему креста.

Кисель вынул из кармана очки и, кривясь лицом от ненужной ему доуки, долго не мог углядеть никакой надписи. Тимоша пересел к пану Адаму на лавку и так повернул крест, что надпись как бы выплыла из глубины. Кисель прочитал и, не сказав ни слова, вернул крест Тимофею.

– А дале что было?

– А дале решил я правду искать. И с верным моим слугою бежал в Москву. Да только разве в Москве правду сыщешь?

Тимоша вздохнул огорченно и, отвернувшись, стал глядеть в окно. Адам Григорьевич, ничего в ответ не промолвив, засмотрелся в другое. Долго ехали молча.

Наконец Кисель отвернулся от окна, ласково на Анкудинова поглядел. Наклонившись, коснулся рукою его колена.

– Теперь я тебе, князь Иван Васильевич, о себе расскажу. – Кисель вздохнул, глазами стал печален. – Вот ты думаешь – едет с тобой в карете большой вельможа, по-русски – боярин. Многими милостями взыскан и титулами украшен: каштелян и сенатор, комиссар его королевского величества, владелец немалого числа маетностей и державца сел и починков, угодий и бортей.

Кисель еще раз вздохнул, руку от Тимошиного колена отнял и, выпрямившись, взмахнул ею, будто с кем прощался.

– Что мне с тех титулов и маетностей? Пошто они мне? Я и молодым был – за богатством не гонялся, а теперь и подавно не побегу. Или я села мои и земли смогу в могилу с собою забрать?

Анкудинов молчал, не понимая, к чему клонит Адам Григорьевич.

Кисель продолжал:

– Жизнь мою не скопидомству я посвятил, не погоне за чинами и милостями. Видит бог, – Кисель истово перекрестился, – был я обласкан и одарен многими богатствами и королем Владиславом, и покойным его батюшкой Сигизмундом, царствие ему небесное.

– Что же для тебя, Адам Григорьевич, было наиважнейшим? – спросил Тимоша.

– Служить православной вере, – проникновенно произнес Кисель и испытующе поглядел на Анкудинова.

– А попы на что? – простодушно спросил Тимофей.

Кисель замаялся: не мог понять – строит ли из себя князь Иванушку-дурачка или на самом деле не понимает. Решил объяснить по-серьезному.

– Вера, князь, не одних попов дело. За веру сражаться треба, особь если ее со всех сторон теснят. А у нас, в Речи Посполитой, нет тех обид, каких бы не испытали мы, приверженные отцов наших греческому закону. И я потому тебе защита и опора, что и ты, князь, в одной со мною вере рожден.

– Это дело ясное, Адам Григорьевич, – проговорил Тимофей, все еще не понимая, куда клонит старый сенатор.

– Ну, а если ясное, то слухай со вниманием. Речь Посполитую составляют пять народов: поляки, или ляхи, как называют их в Московии, литовцы, малороссы, белорусы и русские. Есть еще и другие – малые, – но не о них сейчас речь. Поляки сплошь привержены римскому закону – католической церкви. Литовцы тоже во многом числе, а малороссы, белорусы и русские – православные. А так как король и магнаты – католики, то начальные люди государства теснят православных, хотя в битвах за Речь Посполитую равно льется кровь и тех и других. Но только два народа – поляки и литовцы – имеют свои сеймы, своих канцлеров и могут принимать собственные ординации или же законы. А православные, живущие на земле польской короны, и их единовверные братья в Великом Литовском княжестве лишь исполняют эти законы, платят налоги да ходят на войну. И всю мою жизнь, Иван Васильевич, воюю я за то, чтоб не утесняли нас, православных, чтоб не высылась папешская рука над церковью нашей. Да вот беда – немного у меня помощников.

Адам Григорьевич вздохнул еще раз, сокрушенно покачал седою головой.

– Как же, Адам Григорьевич, могу я в сем великом деле подмогу тебе учинить?

Кисель опустил глаза. Сказал глухо:

– О том и речь пойдет, князюшка. Был ты в Вологде архипастырем обласкан и взыскан, и того тебе показалось мало, и ты, желая правду отыскать, из гиперборейских пустынь прибежал на Москву.

Тимофей согласно кивнул.

– И из Москвы ты снова утек: обидел тебя царь Михаил и бояре его – не дали тебе в Вологде наместничества, попрали твое добродество.

Кисель поднял голову, строго взглянув на собеседника. Анкудинов снова кивнул согласно.

– А в Речи Посполитой чего ты чаешь найти? Веселого да сытого житья? На такое житье и здесь притязателей довольно.

И Тимоша вспомнил лес под Киевом и сказанные ему Костей слова: «В золоте будем ходить и на золоте есть, как и подобает великим мужам, кои от одного короля к другому служить отъезжают!» Вспомнив это, от дурного предчувствия заробел: не просто, видать, зарабатывают веселое да сытое житье. Желая переменить разговор, он сказал:

– И все-то ты, Адам Григорьевич, меня пытаешь: что да как? А ну я тебя спрошу: зачем ты меня в Варшаву везешь? С золотых тарелей кормить? Ренским вином поить? Или же к какому делу приспособливать? А ежели едем мы с тобой для какого дела, так скажи мне о нем испряма, без утайки.

Кисель надел очки, в упор посмотрел на Анкудинова.

– А и скажу. Испряма. Без утайки. Ты Речи Посполитой таков как есть не надобен. Воевод да подскарбиев, каштелянов да гетманов у нас и без тебя довольно. Нам нужен московскому царю первого градуса супротивник и супостат. Чтобы подыскивал под ним государство, чтоб трон его шатал беспрерывно.

У Тимоши снова нехорошо стало на сердце: вспомнил Вологду, книжницу Варлаама и то, как на себя в зеркало глядел: на Шуйского – царя – похож ли?

– Если ты Шуйский, князь, то отеческий стол должен взять и никому отнюдь его не уступать. Ну, а ежели кто иной, тогда и говорить нам с тобой не о чем.

Анкудинов скривил рот набок, развел руками, сказал с обидой:

– Неверки такой не ждал от тебя, Адам Григорьевич. Может, что сказал не так – прости. А отечество мое всем ведомо.

И снова как бы ненароком прикоснулся к кресту.

– Ну, а если так, князь, то будешь ты в Варшаве не просителем, а московского престола искателем.

Кисель и его свита остановились на собственном подворье Адама Григорьевича в Краковском предместье Варшавы. Тимофея и Костю поместили в двух разных покоях. У Кости покой был поменьше и попроще, у Тимоши – высок, светел, на потолке пухлые крылатые младенцы с луками и стрелами, сиречь амурь или же купидоны. Кровать с шатром, а в головах зеркало до самого балдахина.

И корм с самого начала стали давать совсем иной, нежели в Киеве. Костя усмехался, довольный, Тимоша при Косте не тужил. Однако, оставаясь один, глядя в затканый серебряными звездами испод балдахина, думал: «Какую же плату возьмет за все это христоробивый пан Адам?» И понимал: немалую.

Меж тем не проходило дня, чтоб Адам Григорьевич не навещался к Тимоше. Еще чаще звал его за свой стол, где на камчатной скатерти стояли не хлеб с молоком и не лук с чесноком.

За ренским, кое любил пан Кисель более прочих вин, говаривал он Тимоше многое. Рассказывал о долгой жизни своей, о том великом добре, что сделал он для сотен тысяч своих единоверцев, исправляя на Украине должность королевского комиссара.

Рассказывал, как усмирив он разумным и добрым словом не одну казацкую замятню, как почти без крови прекратил мужицкий бунт, а главного заводчика, Павлушку, изловил и передал законным властям. И вот уже шесть лет, говорил Адам Григорьевич, нет на Украине ни мятежей, ни скопов. Золотой покой пришел, наконец, на Украину.

И, скромно потупив глаза, давал понять, что это не чья-нибудь, а именно его, Киселя, заслуга.

Однажды завел пан Адам беседу, которая поначалу показалась Анкудинову не имеющей к нему никакого касательства. Стал пан Кисель говорить о Руси и о Польше. Со слезами в голосе поминал старое лихолетье, когда шли на Москву польские и литовские

люди, и запорожские курени, и наемная немецкая пехота, – и от того возникла великая междуславянская распря. Но ведь время то давно миновало, говорил Адам Григорьевич, что же нам прежним жить? Теперь другое важно – не почитать Речь Посполиту врагом Руси. Надобно забыть свары и брани прежних лет и объединить обе державы против общих врагов – турок, татар, немцев и шведов. Ибо распри между нашими странами – на радость нашим недругам и на погибель нам самим.

– Не возьму в толк, Адам Григорьевич, того, что от тебя слышу. Мне-то пошто все это знать?

– Тому не дивлюсь, – раздумчиво отвечал хлебосольный хозяин, – ибо мужи старее и опытнее тебя тоже таковых моих сентенций ни слышать, ни понимать не желают. А жаль. Ведь наши два государства подобны двум кедром ливанским, от одного корня произрастающим. Десница господня создала нас от единой крови славянской и от единого славянского языка. Свидетельствуют о том и греческие, и латинские историки, о том же и Нестор-летописец повествует. Да и наши языки не то же ли самое подтверждают? И разве не про нас сказано в писании: «Коль добро и коль красно еже жити, братие, вкупе!»

Ты пойми, князь, – Адам Григорьевич, наклонившись, искательно смотрел в глаза Тимоше, – все беды наши от разделения славянского, происходят. Были славяне едины – и трепетали перед ними Рим и Константинополь. Распалось славянское братство – и полуденные славяне оказались под игом турецким, а в Корсуне-городе, там, где святой равноапостольный князь Владимир византийскую веру приял, ныне крепко сидит поганая Крымская Орда.

Настало время, Иван Васильевич, вновь о славянском единстве порадеть. И если ты в том помощником моим окажешься, то и я тебе в твоём деле сгожусь.

Анкудинов молчал, поглаживая крест. В глаза Киселю не смотрел, глядел вниз, думал: «Вот уже то дело, кое Кисель задумал, не его, а мое стало. Уже он мне в его же собственном деле помогать собирается». Однако подумал одно, а сказал другое:

– За то тебе мое спасибо, что ты мне, Адам Григорьевич, сгодиться собираешься. А бог даст, достигну прародительского престола, быть тебе у меня в великой милости. Только не знаю я, Адам Григорьевич, как тому моему делу стать?

– То дело великое, Иван Васильевич. В том деле помогут тебе первые люди Речи Посполитой – канцлер, а может, и сам король.

– Добро, Адам Григорьевич. Если доведется быть у короля, те твои слова о двух кедрах ливанских скажу его величеству как свои собственные.

Кисель засмеялся. Подумал: «Умен, Иван Васильевич или как там тебя на самом деле?» Вслух же сказал:

– Вот ты и ответил на тот вопрос, который мне задавал. Понимаешь теперь, как твоему делу стать?

– Понимаю, Адам Григорьевич. Вы мне прародительский стол, я вам – все те русские земли, коими владеете, навеки оставляю да еще и московские полки против татар и шведов на ваши степные украины пошлю. Так, что ли, Адам Григорьевич?

– Так, князь Иван, – ответил Кисель, будто одним ударом гвоздь в бревно по самую шляпку загнал.

Вот уже более получаса канцлер Оссолинский не выходил из кабинета короля Владислава.

– Государь, – прижимая руку к сердцу, проникновенным бархатным голосом говорил канцлер, – я убежден, что это именно тот человек, который нам нужен.

– Для чего? – раздраженно спросил король, с самого начала не веривший в успех предложенного Оссолинским предприятия и оттого сердившийся все больше.

– Для достижения тех целей, которые были столь близки, но, к сожалению, остались неосуществленными.

Владислав вздохнул и отвел глаза. Не глядя на канцлера, нервно постукивая пальцами

по краю стола, Владислав произнес:

– Двадцать четыре года я был царем московитов.

«Точнее, вы носили этот титул, ваше величество», – подумал Оссолинский.

– Ты же знаешь, пан Ежи, что я получил русский трон пятнадцатилетним мальчиком, – продолжал Владислав. – И почти до сорока лет сохранял его за собою. В тридцать четвертом году меня заставили отречься от него. Так неужели ты думаешь, что я буду стараться для кого-то добыть то, что по праву принадлежало мне четверть века?

– Ваше величество потеряли трон не в 1634 году, а в 1613-м. Этот трон отобрал у вас Михаил Романов и вот уже тридцать лет силой удерживает его за собою. Он же десять лет назад заставил ваше величество отказаться и от титула, который вы носили четверть века. Более того, он добился того, что русская знать и поместное дворянство не считают более королей из дома Ваза законными русскими государями.

– Ты хочешь сказать, что русские нобили и принципалы могут признать законным претендентом на трон этого бродягу, выдающего себя за князя Шуйского? Ведь ты же знаешь, что у покойного царя Василия не было детей.

– Где ваша мудрость, государь?! – воскликнул канцлер с нескрываемым возбуждением. – Не сочтите за дерзость и не думайте, что я пытаюсь поучать вас, но разве не вы первый должны твердо поверить в законные права князя Шуйского на московский трон? И не только поверить, но и уверить в этом других!

– А почему, пан Ежи? Разве не было в России самозванцев? Или только я и ты знаем это, а другие забыли? И добро, если бы было их два или три, а то ведь страшно вымолвить – два десятка сиволапых мужиков выдавали себя за царских детей и внуков. Кто же после всего этого поверит, что князь Шуйский не какой-то подыменщик и вор?

– Да нам-то что до того, кто он на самом деле? – воскликнул канцлер. – Разве год назад, когда послы московитов – князь Львов и боярин Пушкин – просили выдать головою самозванцев, прятавшихся на Самборщине и в Бресте-Литовском, разве мы отдали им тех людей? Нет, ваше величество, не отдали. Ибо если бы мы поступили подобным образом, то никогда более ни один враг русского царя не стал бы искать у нас прибежища, а связывал бы свои помыслы со шведами или турками, к большой досаде и немалому вреду для Речи Посполитой.

– Ну, хорошо, пан канцлер, – примирительно сказал Владислав, – если этот Шуйский все-таки добьется трона, то выиграет ли от этого республика?

– На русском троне, государь, окажется человек, обязанный вам и Речи Посполитой всем, что у него есть, – престолом, титулом, самой жизнью, наконец. Он утихомирит Запорожскую Сечь – это средостение смутьянов и поджигателей – и тем самым укрепит вашу власть, государь, ибо не один полк коронных войск перейдет с Украины в Польшу и магнатам будет не так-то легко противиться вашей воле.

Оссолинский представил, как, повинаясь королевскому ордонансу, под власть Владислава один за другим переходят города и замки магнатов. Как бежит из своей столицы ненавистный Вишневецкий, как комиссары короны твердой рукой повсюду насаждают закон и порядок, и, представив это, решил не отступать до конца.

– А ты уверен, что князь Иван, окажись он на троне, будет таким же покладистым, как теперь, когда он бессилен и нищ?

– Одному богу может быть это известно, государь. Но ведь наша помощь все же должна обязать князя Шуйского.

– Чего стоит услуга после того, как она оказана? – устало, с нескрываемой насмешкой произнес Владислав. – Оба Димитрия вначале тоже обещали нам полную покорность, но стоило им оказаться во главе армии, как многое тут же изменялось.

– Я постарался предусмотреть и это, государь. Шуйский начнет с того, что разошлет по России универсалы, в которых именем бога поклянется в неизменной верности славянству против татарских орд и извечных врагов Руси – шведов. Это сплотит вокруг него юг страны, страдающий от набегов крымцев, и север, беспрерывно отражающий войска вашей

кузины, шведской королевы Христины Вазы.

Король молчал. Он казался больным и утомленным. Оссолинский вдруг вспомнил, что Владиславу вот-вот исполнится пятьдесят, что нынешней весной у короля умерла жена, что казна государства пуста, и из-за всего этого разговор, который он только что вел, показался ему неудачным.

«Он всего боится, – подумал канцлер. – Ему более всего хочется покоя, а я втягиваю его в дело, где можно многое выиграть, однако можно и многое потерять. Такие дела не для этого одряхлевшего толстяка».

Владислав встал.

– Я приму князя Шуйского, пан Ежи.

## **Глава двенадцатая АВГУСТЕЙШИЕ БРАТЬЯ**

Королевский секретарь Джан Франческо Спигарелли бесплотной тенью проскользнул в кабинет Владислава, как только оттуда вышел Оссолинский. Остановившись у двери, Спигарелли почтительно ждал, пока король заметит его.

Владислав стоял за столом, уставившись взором в одну точку и машинально постукивал пальцами по краю большого, совершенно пустого стола.

Джан Франческо, хорошо изучивший характер своего патрона, был совершенно уверен, что причиной такого состояния короля был только что закончившийся визит Оссолинского, и ждал не двигаясь, почти не дыша.

Наконец Владислав вышел из оцепенения. Казалось, что он был где-то за тридевять земель отсюда и вдруг совершенно для себя неожиданно оказался в своем кабинете.

Когда взгляды Владислава и Спигарелли встретились, король, опускаясь в кресло, произнес:

– Завтра после ужина я приму князя Оссолинского, черниговского каштеляна пана Киселя и еще двух приезжих кавалеров.

Спигарелли ничего более и не требовалось: он понял, что Оссолинский, оставивший короля в состоянии крайней задумчивости, явится завтра вечером, чтобы продолжить сегодняшний разговор.

Он понял, что важную роль при этом будет играть пан Кисель и те двое, которых он приведет с собою.

Следующим утром на варшавском подворье пана Киселя появилась хорошо здесь всем знакомая странница Мелания. Чуть ли не каждый год зимовала она на подворье среди прочих захребетников и приживалок.

Мелания проползла в людскую к закадычной своей подруге стряпухе Варваре, и та добрых два часа, бросив все дела, слушала дивные рассказы бывалой старухи. А чтоб не ударить в грязь лицом, стряпуха и сама рассказывала обо всем, случившемся на подворье за весну и лето.

Мелания жевала пирог, ахала, выпрашивала, поддакивала и наконец, низко поклонившись, тихо выползла из людской.

...В полдень Спигарелли знал, что в доме Адама Киселя поселились двое москвитов, одного из которых звали князем Иваном Шуйским.

Спигарелли, тонкий дипломат, лукавый царедворец, образованный гуманист, еще в ранней юности посвятил себя служению Иисусу Христу, вступив в орден истинных сынов веры – иезуитов. По совету многоопытных отцов-наставников он, как и многие другие члены ордена, не стал налево и направо трезвонить о своей принадлежности к священной дружине защитников святой церкви.

Однако, куда бы ни посылал его орден, верные люди извещали Спигарелли о

братьях-иезуитах, находящихся рядом и готовых в любую минуту прийти к нему на выручку. В свою очередь иезуиты знали, что королевский секретарь Джан Франческо Спигарелли так же, как и они, является членом великого ордена Иисуса.

Знал об этом и самый высокопоставленный иезуит Польши – брат короля кардинал Ян Казимир.

И как только Спигарелли догадался, что между Оссолинским, Киселем, Шуйским и королем Владиславом протянулась тоненькая, едва заметная ниточка, он немедленно сообщил о своих наблюдениях Яну Казимиру.

Королевский кабинет был сумрачен и пуст. Анкудинов заметил, что даже пан Кисель немного растерялся: по-видимому, он рассчитывал увидеть здесь хоть одного ожидавшего их человека. Так и стояли все они – Кисель, Тимофей и Костя – в неловкой и томительной тишине, пока вдруг прямо из стены не вышел навстречу им худой невысокий мужчина лет пятидесяти с опущенными вниз, но тем не менее все подмечавшими глазами.

– Канцлер князь Оссолинский, – шепнул Кисель Тимофею.

Анкудинов стоял напрягшись, положив руку на эфес сабли.

Канцлер подошел ближе, церемонно склонил голову, широким, округлым жестом пригласил садиться на стулья на диван. Тимофей и Костя переглянулись: ножки у дивана и стульев были столь тонки – сядь, тут же хрустнут как иссохшая хворостинка.

Канцлер сел первым, за ним, откинув саблю в сторону и уперев широко расставленные ноги в блестящий как зеркало, пол, сел Тимофей.

Кисель привычно, без опаски, опустился на резной тонконогий стул. Костя сесть не решился, остался стоять держась рукой за диванную спинку.

– Князь Иван Васильевич Шуйский? – вопросительно произнес Оссолинский и посмотрел Анкудинову прямо в глаза.

«Ого, – подумал Тимофей, увидев глаза канцлера – умен, хитер, многоопытен. Не может этого скрыть хотя бы старался. Оттого и смотрит более всего себе под ноги».

– Так, пан канцлер, – не отводя взгляда, но сильно волнуясь, подтвердил Анкудинов.

– Каким судьбами занеслись вы в Варшаву? – слегка коверкая русский язык, произнес канцлер.

– Гонения недругов моих, боярина Морозова и иных заставили меня и дворянина Конюховского покинуть Московское государство.

– Что делать будете в Речи Посполитой? – спросил канцлер и вдруг, поспешно встав, повернул голову в ту сторону, откуда только что появился сам.

Все невольно обернулись и поднялись. У стены стоял невысокий толстый мужчина в простом камзоле, в черном парике, со шпагой на боку.

– Садитесь, панове, – проговорил толстяк негромко и плавно повел пухлой рукой (с этой минуты пан Кисель стал перетолмачивать все, о чем в кабинете говорилось).

Все продолжали стоять. Тогда толстяк подошел поближе и сел в одно из свободных кресел.

– Продолжайте, панове, – так же тихо проговорил он.

Оссолинский, повернувшись ко вновь вошедшему повторил последний вопрос. Толстяк подпер щеку рукой внимательно глядя на Анкудинова.



«Кто бы это мог быть? – подумал Тимофей. – Канцлер вскочил так резво, как будто перед ним появился сам король. Но разве может король ходить в столь бедном платье? К тому же ни Оссолинский, ни Кисель не поклонились ему поясным поклоном, не встали перед ним на колени. Нет, это кто-то другой, должно быть, ближний боярин, посланный королем для догляда». И Анкудинов, глядя на князя Оссолинского, произнес важно:

– Ищем мы, князь, родительский престол, захваченный у нас неправдою Мишкой Романовым со товарищи.

– А какие у князя Шуйского права на московский престол? – так же тихо проговорил толстяк. И после этого он почему-то показался Тимофею опасным и неприятным.

– О моих правах на стол московский пан канцлер добре ведает, – строго ответил Анкудинов, желая показать, что ни с кем, кроме Оссолинского, он говорить не хочет.

– А и нам бы, пан князь, тоже добре было знать о сем немаловажном деле, – вдруг за спиной у собравшихся проговорил еще кто-то, и собравшиеся в кабинете увидели у двери, ведущей из приемной, высокого моложавого щеголя в лиловом парике, с торчащими вверх тонкими стрелочками усов.

Вошедший, хотя и был роскошно одет, строен и франтоват, чем-то неуловимо напоминал сидящего в кабинете толстяка.

И снова канцлер дернулся, вскочил, как на пружине, и отвесил вошедшему низкий поклон.

«Король, – подумал Тимофей и, встав, низко поклонился щеголю. Однако тут же усомнился в том, правильно ли поступил, ибо неряшливо одетый толстяк не только не поклонился вошедшему, но даже, напротив, раздраженно произнес какую-то длинную фразу на языке, который совсем не понимал Тимофей и который – он видел это – не понимал и почему-то резво вставший со стула Адам Кисель.

Кисель дернул Анкудинова за руку и прошипел:

– Это Ян Казимир – брат короля.

Щеголь ответил толстяку не менее раздраженно, и Анкудинов увидел, как лицо Оссолинского покрылось пятнами и он, вытянув вперед руки, стал быстро и жалобно лепетать на этом же тарабарском языке, поворачиваясь то к одному, то к другому из споривших.

Не понимая, что происходит, но чувствуя, что и он должен встать, Тимоша поднялся. Лишь толстяк в черном парике оставался в кресле.

Что-то сердито пробурчав под нос, толстяк вдруг поднялся и сказал по-русски:

– Спасибо за визит, князь Шуйский. Прощайте. Прощай и ты...

– Пан Конюховский, – подсказал Кисель.

– Пан Конюховский, – с нескрываемым пренебрежением проговорил Владислав и пошевелил толстой короткой рукой, затянутой в черную перчатку.

Тимоша и Костя, неловко пятясь и низко кланяясь, стали отступать к двери. Пан Кисель вопросительно поглядел на короля.

– А ты, Кисель, останься, – произнес Владислав, и в его голосе всем собравшимся послышалась нескрываемая угроза.

Щеголь в лиловом парике, окинув оставшихся в кабинете насмешливым взглядом, произнес, чуть картавя:

– Теперь, когда здесь нет чужих, – и он, прищурившись, недобрыми лукавыми глазами взглянул на пана Киселя, – я покажу вам, панове, нечто прелюбопытное.

Щеголь опустил два пальца за обшлаг кафтана и из-под кружев и рюшей вынул сложенный много раз листок бумаги. Он протянул его пану Киселю и с подчеркнутым добродушием проговорил:

– Читай, пан Адам, ты лучше всех сумеешь объяснить нам, о чем здесь написано, если мы чего-нибудь не поймем. Да и почерк, вероятно, тебе знаком.

Кисель развернул листок, и буквы запрыгали у него перед глазами. Затем все затянул туман и наступила тишина и тьма.

– Читай, пан Кисель, – повторил Ян Казимир, но старый сенатор, запрокинув голову, с закатившимися глазами, медленно сползал со стула, царапая шпорами сверкающий паркет.

Оссолинский метнулся к окну и дернул бархатный шнур портьеры.

На звонок явился секретарь и, мгновенно сообразив, что от него требуется, спросил только:

– Лекаря, ваше величество?

– Да, и поживее!

Спигарелли исчез.

Оссолинский схватил с дивана подушечку, подложил ее под голову лежавшему без чувств старику, похлопал его по пепельным щекам – Кисель не шевелился.

Затем канцлер подобрал валявшийся на полу листок и мельком взглянул на него: «Ясновельможный пан! Неделю назад в Киеве, в Печерском монастыре, объявился некий беглец из Московии, называющий себя Иваном Васильевичем Шуйским, внуком покойного русского царя Василия...»

«Что за наваждение!» – подумал Оссолинский и осторожно коснулся левой стороны груди. Ткань кафтана была тонка, и он явственно прощупал все пять сургучных печатей на конверте с письмом, лежавшим во внутреннем кармане камзола.

– Я узнаю о лекаре, ваше величество, – поспешно проговорил канцлер и выскользнул за дверь.

Приемная была пуста. Оссолинский подошел к окну, встав таким образом, чтобы любой вышедший не смог бы увидеть письма.

Он вынул конверт из-под камзола и убедился, что письмо на месте.

«В руки Яна Казимира попала копия, – подумал канцлер. – Нужно предупредить Киселя, что среди его доверенных есть шпион». Но Оссолинский ошибся.

Гонец, поскакавший на восход солнца, переправившийся через Днепр и выехавший

затем на полтавскую дорогу, был послан паном Киселем в Лубны – стольный город государства в государстве, где сидел не царем даже – идолом – Иеремия Михаил Вишневецкий.

Рожденный в украинской шляхетской семье, еще ребенком он был отдан в обучение к отцам-иезуитам во Львов, а оттуда уехал в страны, бывшие несокрушимым оплотом католицизма, – Италию и Испанию.

Вернувшись на родину девятнадцатилетним юношей, он принял католичество и с неистовым пылом неопита стал насаждать на своих землях ненавистную православным крестьянам и горожанам папешскую веру.

Иеремия Вишневецкий построил в Прилуках доминиканский монастырь, в Лубнах, Лохвице и Ромнах воздвиг католические костелы.

Он не поклонялся ни Венере, ни Бахусу, легко переносил лишения, вел простой образ жизни. Иеремия был горд и высокомерен с магнатами, прост с незнатными шляхтичами, щедр на подарки слугам и надворному войску.

Фанатизм новообращенного и непомерное честолюбие были для него самым главным и единственно важным.

Братья Оссолинские не преувеличивали, что у Иеремии Вишневецкого триста тысяч подданных, несметная казна и многочисленное собственное войско.

И всю эту силу Иеремия Вишневецкий взращивал и пестовал для одного – для сохранения и умножения собственных богатств и для уничтожения любого, кто на эти богатства посягнет. Причем богатство это не было для него самоцелью – оно было средством для увеличения его собственного могущества.

Всю жизнь он ненавидел и презирал своих подданных, бессловесных, покорных, трудолюбивых страдников, которые день за днем работали на пана Иеремию, создавая для него богатства, повергавшие в удивление и вызывавшие зависть самого короля Владислава.

Он презирал их за то, что они безропотно по грошу, по полушке сдают его сборщикам потом заработанные деньги, а ненавидел за то, что в любую минуту, схватив цепи, косы, топоры и вилы, могли броситься на его дворцы и замки и разорвать его в клочья, искромсав серпами и пропоров рогатинами.

Они – верил пан Иеремия – всю жизнь ждали одного: пустить по ветру скопленные им богатства, по камню разнести его дома и службы, в куски изрубить верных ему холопов. Однако его презрение было сильнее ненависти, и потому он не боялся их.

Не боясь потерять и собственную жизнь, Иеремия не останавливался перед казнями сотен крестьян и казаков, если они начинали возмущаться установленными в его государстве порядками. Поэтому, когда Вишневецкий получил письмо от Адама Киселя, первое, что он почувствовал, – опасность. Он еще не понимал, откуда она идет, но то, что князь Шуйский несет в себе опасность, Иеремия чуял нутром. Однако, и чувствуя это, он все же ничего не боялся. Он был молод, смел и самонадеян. Сначала он решил, что нужно поддержать нового претендента на русский трон, дать ему войска, снабдить деньгами, а потом получить долг обратно – с такими процентами, какие не снились и венецианским ростовщикам, у которых князь Вишневецкий одалживался, живя в Италии.

Оставаясь в одиночестве, Иеремия любил смотреть на большую разноцветную карту Европы, что висела в его кабинете между двумя окнами. С юношеским тщеславием Иеремия сам начертил на карте черные линии, проходившие через те города и страны, где он бывал. Эти линии – дороги его странствий – напоминали ему о многом. Они тянулись от Мадрида до Смоленска через Рим и Венецию, Париж и Вену. А восточнее синей полосы Днепра между Киевом и Полтавой, захватывая чуть ли не все левобережье Украины, лежала его «панщина». Дальше – на востоке – чернел зубчатый кружок Смоленска, который польские войска удерживали за собою вот уже более тридцати лет. За Смоленском начинались бескрайние просторы дикой Московии. Велика и богата была ее земля, да не было на ней – казалось пану Иеремии – добрых хозяев. И часто представлял он себе: ах, если бы достались ему эти леса и поля! Уж он бы сумел заставить работать заросших

бородами сиволапых смердов. Не только в Варшаве – в Париже и Риме ахнули бы герцоги да кардиналы, завидуя богатствам, добытым им в Московии!

В ответ на полученное письмо он отправил пану Киселю эпистола, в которой советовал везти князя Шуйского в Варшаву, представить его королю и решительно потребовать поддержки для завоевания московского трона.

Пан Кисель, заручившись поддержкой Вишневецкого и канцлера Оссолинского – двух смертельных врагов, каждый из которых считал черниговского каштеляна только своим союзником, – смело ринулся в рискованное предприятие.

Но чем дальше шло время, тем все беспокойнее становилось на душе у Иеремии Вишневецкого. Он перестал спать, ночами мерещились ему кошмары. Теперь уже мнился ему не Московский Кремль, куда въезжает он под звон колоколов стремя в стремя с князем Шуйским, не коленопреклоненные бояре, подметающие длинными седыми бородами дорогу у копыт его коня, а нечто страшное, кровавое.

Мнилось ему, что из-за Вязьмы и Дорогобужа идут ошетилившиеся пиками и бердышами стотысячные орды москвитов. Горят его замки, а холопы его прячутся по лесам и оврагам.

Бежит он стремя в стремя с князем Шуйским к Киеву, а оттуда встречу им мчатся с гиком и звериным ревом чубатые запорожцы, и окружают их, и стаскивают с коней, и, посадив в железную клетку, везут в Москву на муки и поругание.

В одну из ночей, не выдержав великой маеты и страха, в котором он стыдился признаться и себе самому, князь Вишневецкий разбудил гонца, дал ему письмо Киселя и велел мчаться в Варшаву, дабы пресечь в самом начале затеянное безумие.

Вишневецкий рассказал гонцу, как найти в Варшаве отца Анджея – брата-иезуита, у которого некогда учился он во львовском иезуитском коллегиуме, и велел шепнуть монаху условные слова, а затем просить его незаметно подбросить письмо Яну Казимиру.

Отправляя письмо, Вишневецкий не знал, что старая лиса пан Кисель днем раньше отправил точно такое же послание его заклятому врагу Оссолинскому. И, не зная этого, не захотел раскрывать истинную роль Киселя, ибо надеялся, что черниговский каштелян еще пригодится ему. Он рассчитывал, что Ян Казимир, прочитав попавшее к нему анонимное письмо, хотя и не будет знать, от кого оно исходит, отыщет в Варшаве князя Шуйского и не даст совершиться его планам. Не даст – чего бы это ему ни стоило, ибо Иеремия знал тщеславные замыслы тридцатипятилетнего Яна Казимира, который ждет не дожидается, когда умрет его старший брат Владислав, появившийся на свет четырнадцатью годами раньше.

А мечтал Ян Казимир стать сначала королем Польши и, заключив дружественный антишведский пакт с русским царем, силой взять затем престол Стокгольма. А если на русском троне окажется новый царь, то не кончит ли он стародавнюю вражду со шведами, обратив свои алчные взоры за Днепр и Вислу?

Отец Анджей подкинул письмо пана Киселя о князе Шуйском в то утро, когда нищенка Мелания проведала, что за жильцы обитают на подворье черниговского каштеляна. И когда Спигарелли пришел к Яну Казимиру, чтобы сообщить ему о таинственном князе Шуйском, брат короля показал секретарю загадочное письмо без подписи и обратного адреса, за несколько часов перед тем обнаруженное им у порога собственной спальни.

Спигарелли, не зная, что точно такое же письмо получил от Киселя и Оссолинский, посоветовал Яну Казимиру отдать его пану Киселю во время свидания с королем, ибо на этой аудиенции будет и князь Шуйский, о котором идет речь в подкинутом Яну Казимиру письме.

– А вдруг, – сказал Спигарелли, – их это смутит или напугает и заставит сказать что-нибудь такое, чего мы не знаем?

Ян Казимир пожал плечами. Он не верил в сказанное секретарем, но опыт прошедших лет много раз убеждал его, что Джан Франческо Спигарелли бывает прав чаще, чем кто-либо другой.

И потому, придя в кабинет короля в точно указанное секретарем время, Ян Казимир поступил так, как советовал ему проницательный флорентиец.

Однако то, что произошло после этого, превзошло ожидания двух иезуитов, но при том спасло пана Киселя от немедленных расспросов. Когда вызванный секретарем лекарь осмотрел пана Адама, он сообщил, что это просто обморок, который непременно пройдет, и посоветовал отправить больного домой. Придя в себя, старый сенатор вспомнил все случившееся и понял, что ни король, ни его брат не поняли истинной причины его обморока. Только канцлер, получивший от него точно такое же письмо, может догадаться о его двуличии и коварстве. И если канцлер или король вдруг захотят узнать истину, они немедленно прикажут схватить князя Шуйского.

«Я-то отверчусь, – подумал пан Кисель, – а вот московскому гостю надо уносить ноги».

Этой же ночью из Варшавы выехали два всадника и, нахлестывая коней, помчались на юг. Над их головами кривой татарской саблей повис молодой полумесяц.

## **Глава тринадцатая ИВАН ВЕРГУНЕНОК**

От Десны до Волги и от Оки до Дона – почитай что на семьсот верст с запада на восток и на столько же с севера на юг – раскинулось Дикое поле – непаханая ковыльная степь с тихими светлыми речками, с вековыми черными борами, с пыльными серыми шляхами, с непугаными стаями птиц и зверей, с вольными ветрами, пахнущими жухлыми травами и соленым зыбучим морем. На севере, где текли многоводные реки и густо стояли сочные травы, по самой кромке Дикого поля желто-красной, будто из меди выкованной стеной поднимались, цепляясь за облака, сосны и ели непролазных лесных чащоб.

Веселые пестрые подлески, краснеющие к зиме рябиной и калиной, по весне белеющие черемухой да вишней, летом чернеющие ежевикой и смородиной, окаймляли леса и дубравы, стелясь у подножия деревьев-великанов.

А сразу же за соснами, елями и дубами северной границы Дикого поля тысячеверстным валом шла Белгородская засечная черта – чудовищное нагромождение деревьев, сваленных топорами и искусно переплетенных друг с другом, для того чтобы ни пеший, ни конный не смог пробраться на южные укрaines Российского государства. Белгородская засечная черта тянулась от притоков Оки до притоков Днестра. Там, где линия леса прерывалась, крестьяне, посадские, служилые люди копали рвы, насыпали валы, ставили рогатки и частоколы. А в тех местах, где за черту убегали на север пыльные шляхи, стояли поперек пути острожки, городки и крепостцы – Ахтырка, Белгород, Воронеж, Тамбов – с башнями, с палисадами, с крепкими стенами. За стенами и палисадами сидели стрельцы, казаки, пушкарники и затинщики, закрывавшие татарам путь на Елец и Ливны, Тулу и Москву.

С юга через черту шли по Дикому полю шляхи – узкие полоски сухой земли, вытопанные тысячами подков и сапог, лаптей и босых ног, копыт и колес. Тянулись шляхи от Кафы и Бахчисарая через Перекоп, а затем разбегались по Дикому полю во все стороны. Через Ахтырку на Ворскле проходил Бакаев шлях, через Белгород шел Муравский шлях, через Оскол – Кальмиусский, через Тамбов – Ногайский.

Переплетались, петляли, извивались татарские шляхи, проносилась по ним степная конница, гнали по ним табуны коней, отары овец, гурты волов, стада коров, тысячные толпы полоняников.

Стон и плач невольников и невольниц висел над шляхами. Черепа бессловесных тварей и омытые дождями человеческие кости белели по их окраинам. Не только суслики да коростели свистели в траве – нагайки и стрелы степняков да их разбойничий посвист не умолкали в Диком поле с ранней весны до глубокой осени.

А вокруг шляхов, подстерегая добычу, вертелись конные ватажки понизовой вольницы с Волги и Дона, чубатых запорожцев, охочих государевых людей из городков на черте.

Иные ватажки выходили в степь с пушками, с добрым огневым нарядом, конно, людно и оружно. Шло их по сто, а то и по двести человек со всей воинской хитростью и великим бережением. Иные же выходили сам-третей, с саблей да самопалом. И выходило по-разному: к удалым бог приставал – возвращались с немалым дуваном, а многолюдные телепни приходили назад ни с чем.

Вот так в середине мая 1644 года вдоль по берегу речки Миус, неподалеку от Кальмиусского шляха, крутились четверо запорожцев, надеясь на то, что и к ним пристанет бог. Атаманом этой немногочленной ватажки был Иван Вергуненок, прибежавший на Сечь из Полтавы.

Был Иван смугл, быстроглаз и хотя ростом невелик, но силой и удалью мог потягаться с двумя детинами саженого роста. Трое других запорожцев молодечеством да смелостью были под стать атаману. Не впервой выезжали они в Дикое поле, как раз туда, где сходились владения Сечи с землями перекопского царя Ислам-Гирея. В прошлые годы удавалось им отбивать и русских полоняников, и телеги с награбленным крымцами добром и даже однажды взять на аркан молодого легкомысленного мурзу, понадеявшегося на двух нукеров и милость аллаха.

Нукеры оба пали в сшибке, оставив коней и оружие, а за мурзу Иван взял добрый выкуп, иному бы скареду на полжизни хватило, да не к тем татарин попал – продували ватажка все до полушки за какой-нибудь месяц.

А на этот раз не заладилось дело у Ивана с товарищами: шли по сакме такие отряды – полку не совладать.

И крутились казаки между берегом Сурожского моря и речкой Миус, промышляя птицу да рыбу и забывая, каким он бывает, хлеб насущный.

Долгие уже теплые дни сменялись короткими темными, но все еще прохладными ночами, а удача никак не шла в руки казаков. Вдруг в середине дня заметили запорожцы облако пыли, затем услышали рев множества коров и волов: по всему было видно, что погонщики согнали измученное жаждой стадо с дороги, подведя его к водопою на берег Миуса.

Вергуненок с товарищами свели коней в балку, что шла прямо к реке, а сами залегли наверху, приготовив самопалы. Волы и коровы, толкаясь, оттирая друг друга боками, скатились в реку и, едва забредя, с жадностью стали пить мутную желтоватую воду. Трое верхоконных погонщиков-татар спрыгнули с коней на землю, сняли седла и подпруги, положили на берег сабли, колчаны, луки, стянули сапоги и одежду и повели лошадей к реке.

Был полдень, ярко светило солнце, в одном перегоне от водопоя начинались владения крымского хана, а многодневная, полная опасностей дорога почти вся уже была позади – потому-то погонщики почувствовали себя в безопасности.

Введя коней в воду, они бережно ополоснули их, дали остыть и лишь после этого позволили напиться. Кони, фыркая, опустили головы в воду, а погонщики, смеясь, что-то весело крича друг другу, начали плескаться и брызгаться, как вдруг грянули враз четыре пищали. Двое тут же замертво пали, а возле тех мест, где они только что стояли, желтая вода Миуса стала медленно розоветь. Кони всхрапнули, запрядали ушами, вскинули вверх головы. Третий татарин нырнул под воду и, выскочив у прибрежных кустов противоположного берега в чем мать родила, кинулся наутек, петляя, как заяц.

Казаки от великой удачи и от того, как потешно улепетывал от них голый степняк, и стрелять ему вслед не стали.

А когда выгнали стадо из реки да пособирали брошенный татарами скarb, то решили и вдогон за беглецом не ходить – что с голого табунщика возьмешь, тем более что стоптанные сапоги и рваный азым он оставил на берегу.

Взяв в повод захваченных коней и окружив стадо, запорожцы погнали его на заход солнца – в Сечь.

А когда стемнело, навалилась на них невесть откуда татарская сила. Трех товарищей

Ивана на глазах у него в жаркой схватке порубили степняки саблями, а самого его сорвали с седла волосяным арканом, как он когда-то снял с аргамака мурзу, и, как он тогда мурзу, привязали веревкой к седельной луке и погнали вместе со скотом, нахлестывая кнутом, если не шибко бежал.

Так и трусил Вергуненок позади стада, глотая пыль и проклиная белый свет, а пуще всего кляня себя, дурака, что не догнал тогда голого табунщика, не уложил его в степи, потому что добежал татарин до своих, навел их на след. Да и трудно ли было отыскать отметины, оставленные десятками волов и коров да семью лошадьми, когда любой степняк и зайца выследит?

На десятый день пригнали татары иссохшего, почерневшего казака в Бахчисарай и в первую же пятницу продали маленькому, носатому, говорливому человечку, который, не развязав ему рук, не сняв аркана, повел за собой из города вон.

Вергуненок шел, не зная, что и думать. Так как хозяин его шел пешком, стало быть, идти было недалеко, однако вскоре и Бахчисарай остался позади, а они брели куда-то по каменистой дороге. И когда Иван спросил своего хозяина, куда это они идут, тот закричал на него страшно, но ни одного слова казак не понял.

Меж тем узкая каменистая дорога шла дальше и дальше. Справа от дороги, как только вышли из города, потянулась отвесная серая скала вышиной саженой в пятьдесят, а слева – длинная узкая лощина. На дне лощины паслись козы и лошади, а на противоположном ее склоне лепились одна над другой каменные татарские сакли.

Встречь то и дело попадались татары – важные, лениво шагающие мужики, голопузые, босоногие ребятишки, закутанные с ног до головы в черное бабы. Никто не обращал на связанного казака внимания – не в диковину было видеть здесь такое.

Вдруг Вергуненок увидел нечто столь дивное – глазам не поверил. В отвесной скале, все еще тянувшейся справа от дороги, заметил он окна и двери, переходы и лестницы, как будто не скала была это, а храм. Подняв к небу голову, казак и вовсе обомлел: у самого верха скалы, над окнами последнего этажа, стояли – скорбные и строгие – угодники божьи. Видать, искуснейший богомаз писал тех угодников, ибо стояли они как живые, а их синие и красные ризы, казалось, вот-вот затрепещут на ветру.

«Как же так, господи? – подумал Вергуненок. – В двух верстах столица поганого царя Махмута – и на тебе, христианский храм!» Однако спросить было не у кого, потому как и возле храма толклись одни татары, – и казак побрел дальше, поминутно оглядываясь на угодников, которые, казалось, провожали его строгими, не улыбочивыми очами.

И хоть не попали Вергуненку единовверцы, а на душе стало легче: стало быть, и здесь живут люди, что на груди крест носят.

Вскоре дорога пошла вниз, в лощину, а потом Вергуненок и его хозяин стали карабкаться вверх по склону, направляясь к отвесным скалам, показавшимся казаку повыше той, в коей был высечен храм. Скалы нависали над лощиной темно-серой громадой. Ни куста, ни лозинки не росло на их выжженных солнцем камнях. Белые облака, почти цепляясь за кромку, медленно ползли над ними, да ласточки выпархивали из невидимых с земли расщелин, где вили они свои гнезда.

И вдруг на самом гребне скалы Вергуненок увидел маленькие человеческие головы: кто-то, неизвестно как забравшийся на такую высоту, смотрел вниз. Хозяин оглянулся и, заметив нескрываемое удивление на лице своего раба, криво улыбнулся. Дернув Ивана за аркан, он ткнул вверх свободной левой рукой и произнес:

– Чуфут-кале.

Удивительным был этот Чуфут-кале. Построен он был в незапамятные времена народом, который пришел в Крым чуть ли не сразу после вселенского потопа, когда праотец Ной расселил своих сыновей в разных частях света. А после того кто только не жил рядом с плоским, как лепешка, скалистым плато Чуфут-кале! У его подножия селились скифы и тавры, сарматы и готы, аланы и хазары, греки и генуэзцы, печенеги и славяне. Сменяя друг

друга и смешиваясь друг с другом, они строили города, выращивали хлеб и виноград, воевали и торговали, пока не хлынули через Перекоп несметные татарские полчища, – и мало что осталось от цветущих долин и садов, многолюдных городов, оживленных гаваней...

Угнали в Орду искусных ремесленников, продали за море на невольничьем рынке в Кафе их детей и жен, перебили хлебопашцев, сожгли города – и раскинулось от Перекопа до Херсонесского мыса и от Тарханкута до руин Пантикапеи степное пастбище, по которому носились низкорослые, косматые татарские кони.

А Чуфут-кале уцелел – одна только узенькая дорожка вела на плато, и нельзя было пройти наверх, если защитники города не хотели этого. Какая бы огромная армия ни осадила Чуфут-кале, она не сумела бы использовать свое преимущество, ибо на штурм города могло быть брошено не более сотни воинов, да и те были бы перебиты камнями и стрелами на первых саженях тропы.

Однако особо долгой осады Чуфут-кале выдержать не мог: на бесплодной скале рос только мох, даже коз и кур нечем было бы кормить через две-три недели после начала войны. А кроме того, в городе не было ни одного колодца – жители, используя хитроумную систему канавок, стоков и водосборов, пользовались дождевой водой.

Осадив Чуфут-кале, монгольские полководцы Джебе и Субэдэй не хотели понапрасну терять людей и время. А жители города, понимая, что долгой осады им все равно не выдержать, предложили татарам выкуп и получили согласие.

Так уцелел Чуфут-кале, в жизнь которого завоеватели почти не вмешивались, удовлетворяясь ежегодной данью для своих ханов.

Ивана пропустили через трое железных ворот, перегораживавших тропу, ведущую в город. Поднявшись на самый верх, он оказался на узенькой улочке, плотно застроенной каменными домами. Домов было много, но еще больше было пещер – просторных и тесных, высоких и низких. Некоторые служили жилищами, в других хранилось сено, мешки с зерном, бочки с вином, кувшины с маслом, стояли арбы, толклись овцы и козы, мулы и коровы. Отовсюду слышал Иван шум работы: стук молотов, визг пил, скрежет железа, но, странное дело, никого не видел.

Хозяин завел Ивана в пещеру, заполненную неотесанными каменными плитами, и, пройдя в дальний угол, приподнял с пола толстую деревянную крышку, обитую железными полосами. Вниз, под землю, вела крутая узкая лесенка. Хозяин легонько подтолкнул Ивана, и тот послушно начал спускаться в прохладу и сумрак подземелья.

Первое, что Иван заметил, была узкая полоска света: прямо под потолком подземелья шла щель шириною с ладонь и длиной в полсажени. Сквозь щель виднелось светло-голубое небо, белые облачка и перечеркивающие прорезь стремительные, черные ласточки. Затем Иван увидел человека. Он сидел на полу и равнодушно глядел на спускающихся по лестнице людей. Был он бледен и сед, истлевшая рубаха еле держалась у него на плечах. Хозяин снял с Ивана аркан, развязал руки. Ткнув пальцем в седого узника, сказал:

– Альгирдас. – И, повернувшись, шустро выскочил в люк, будто испугался остаться с рабами наедине.

Вергуненок посмотрел на нового своего товарища, ткнул себя пальцем в грудь и сказал: – Иван.

Альгирдас, в прошлом искусный строитель-будовник, как он себя назвал, уже девятый год сидел в подземелье Чуфут-кале, работая на хозяина Вениамина бен Рабина. Он обтесывал каменные плиты, иногда наносил на их поверхность какой-нибудь орнамент, приветственные слова или же изречения из священной книги караимов. Эти плиты бен Рабин продавал для облицовки фасадов, для украшения полов и стен бассейнов, внутренних двориков и комнат Бахчисарая и Чуфут-кале.

Иногда Альгирдас тесал надмогильные обелиски, иногда каменные корытца для

водопровода и многое другое. Камень был единственным материалом, из которого делались здесь самые различные вещи.

Альгирдас, хорошо говоривший по-польски, без труда понимал украинца Вергуненка. Он рассказал казаку и о том, как оказался в неволе. Прожив тридцать лет в Вильно, Альгирдас – искусный каменотес – подрядился однажды с артелью муравлей и плотников поновить церковь в Умани.

По пути всех их схватили татары и угнали в Кафу, на невольничий рынок. Альгирдаса купил бен Рабин, и вот уже девятый год пленный литовец тесал для него камни.

Когда Альгирдас впервые спустился в подземелье, оно занимало пространство не более квадратной сажени. Альгирдас касался головой потолка и, не вставая на цыпочки, мог смотреть на птиц, на звезды и на луну сквозь отверстие величиной с кулак. Хозяин разрешил ему расширить и углубить пещеру, в которой он сидел. Однако сказал, что заниматься этим Альгирдас может по воскресеньям, когда другие рабы-христиане не работали.

За два года Альгирдас расширил пещеру в несколько раз. Теперь она занимала площадь в четыре квадратных сажени и вышиною была в сажень с четвертью. Хозяин разрешил пробить окно – узкую длинную щель, – и после всего этого подземелье стало казаться Альгирдасу королевским покоем.

Первые два года Альгирдаса совсем не выпускали наверх. Затем разрешили по воскресеньям несколько часов в день сидеть во дворике. Там он познакомился с другими обитателями дома бен Рабина, такими же, как он, невольниками, сидевшими в таких же, как и у него, подземельях.

Расспрашивая этих людей – поляков, литовцев, русских, казаков-малороссов, – Альгирдас понял, что чуть ли не все ремесленники-каменотесы Чуфут-кале – рабы.

Почти все коренные жители города – караимы – торговали, занимались ювелирным делом, перепиской книг, златоткачеством, приготовлением лекарств, врачеванием, достигнув во всех этих ремеслах немалого мастерства.

Невольники, побывавшие прежде в других городах и странах, говорили, что жизнь в Чуфут-кале получше, чем, например, в Турции или же в Сирии. Объяснялось это тем, что жители Чуфут-кале бережливее, чем прочие рабовладельцы, относились к своим рабам, как, впрочем, и к другой живой и неживой собственности. Раб для них был довольно дорогой вещью, приносившей большой доход. Зачем же было расчетливым владельцам раньше времени лишаться источника своего дохода? Зачем было морить пленника голодом, если и дитя понимало, что голодный раб не станет работать, хоть бей его плетью, хоть трави собаками? И потому рабовладельцы Чуфут-кале сносно кормили рабов, лечили их, если те болели, давали один день в неделю отдыхать. Однако любви к принадлежавшим им людям у них было не больше, чем к лошадям или мулам, которых они тоже кормили, лечили от хворей и не давали надрываться на работе до смерти.

Первые несколько дней Иван лежал на соломе не шевелясь. Не ел, не пил, смотрел в узкую щель на синюю полоску неба, на белые кудри облаков. Ночами беззвучно плакал. Думал: «Кончилась моя жизнь, пропаду в проклятом городке». Лежа без сна, вспоминал Иван прошлое свое житье в веселом городе Лубны. Отец его служил при дворе всесильного Иеремии Вишневецкого стремянным казаком. У себя в доме был отец буен, драчлив и вечно пьян. Бил он сына и жену смертным боем, а как зарезали отца в пьяной драке, стала бить Ивана мать, вымещая на нем прежние обиды и горечь за неудавшуюся судьбу свою. Когда же исполнилось Ивану тринадцать лет, бежал он из дома куда глаза глядят и, добравшись до Полтавы, нанялся батрачить к казаку Ивану Романову. И здесь хозяин бил его и кормил худо, а когда по каким-то делам отлучился его господин из дома, Иван снова бежал и вскоре прибил к казачьему куреню на Дону.

С шестнадцати лет стал он ходить в набег, сначала со всем куренем, потом с сотней, а там вышел в поле сам-четверт. Но хоть опасно было малым числом в степь ходить, зато

доставалась тебе от добычи четвертая часть, а ежели шел с сотней, то только сотая.

Однако не корысть уводила Ивана в степь не в сотне, а в малой ватажке. Буен был Иван, горд, непокорен, и сколь ни бились с ним сотники, куренные, кошевые, полковники – не признавал он над собой их власти. Бит был за это Иван и по-иному взыскан, однако не только власти не покорялся, но еще более ненавидел тех, кто карал его за непослушание. Потому-то, как только почувял Иван в себе силу, тут же ушел в степь сам-четверт, с тремя такими же сорвиголовами.

Вот и вертелся Иван у реки Миус, поджидая свою удачу.

И дождался...

В каменной норе казалось Ивану прежнее его житье раем, а отец, мать, хозяин его Ивашка Романов представлялись теперь почти что херувимами...

На третью ночь будто выгорело все у Вергуненка внутри. Перестал он плакать, перестал душу себе воспоминаниями травить, начал думать.

И к утру придумал.

– Ох, Альгирдас, помираю я, – тихо и жалобно проговорил Вергуненок, услышав, что лежавший у противоположной стены Альгирдас проснулся.

– Чего это ты? – с испугом откликнулся Альгирдас и склонился над Вергуненком.

– Зови хозяина, пусть знахаря пришлет или же попа, пришла моя смертушка.

– Звать не могу, как позовешь? Услышит хозяин, что я после благовеста к ранней заутрене молотом не стучу, так и сам зайдет узнать, почему не работаю. Не стучу – значит, случилось что.

– А, вот оно как, – проговорил Вергуненок и замолчал, отвернувшись к стене.

«Проклятушая жизнь, – думал он с тоскою и злобой. – Как только до света еще зазвонит в пещерной церкви за лощиной колокол, так и начинают пилить, ковать, сверлить, тесать рабы железо да камень в своих подземельях. Как к поздней вечерне отзвонит – могут ложиться спать. Хозяину и глядеть не надо – ходит да слушает: споро ли работают, не ленятся ли?

Тут услышал он жиденький, тихий благовест – бил звонарь в малый колокол к заутрене. Застучали в соседних камерах рабы – принялись за дело.

Альгирдас сидел праздно, спрашивал:

– Чего же ты, Ваня, а?

Иван молчал. Альгирдас пытался утешить:

– В других краях невольники разве так живут? А посадили бы тебя гребцом на галеру? Или отправили бы в каменоломню? Или дорогу строить? И был бы ты катом-надсмотрщиком плетью бит на дню по пять раз. А тут ты четвертый день лежишь, а хозяин тебе слова не сказал: понимает, что, как проволокли тебя недавно на аркане да в склеп каменный бросили, нет в тебе никаких сил. Иной раз так-то люди по неделе лежат и по две, а потом все равно за дело берутся. Да как не взяться? Если бы не работа, разве хоть кто-нибудь здесь выжил?

Иван повернул к Альгирдасу голову.

– Слушай, Альгирдас. Скажу тебе нечто. Если удастся, как я задумал, будем мы оба на воле, в золоте будем ходить...

Как Альгирдас сказал, так и получилось: хозяин вскоре заглянул в подвал, однако спускаться не стал, а, приоткрыв дверь, о чем-то спросил у Альгирдаса на непонятном Ивану языке. Альгирдас ответил, и хозяин ушел: испугался, должно быть, заразы – мало ли чем мог заболеть его новый раб.

Через некоторое время в подвал спустилась старуха, маленькая, проворная, розовощекая, голубоглазая. Присев возле Вергуненка, спросила ласково:

– Что, касатик, занедужил? – Положила руку на грудь, в вырез рубахи, потом потрогала лоб, внимательно поглядела в глаза. – В нашей волости – лихие болести, – вздохнув,

сказала старуха и перекрестилась. – От болезни твоей одно лекарство – воля. Да где то лекарство взять?

Иван резво вскинулся, сел на соломе, жарко зашептал.

– Мать! Слышь, мать! Век буду за тебя бога молить, только помоги мне! Ведь одного мы с тобой бога дети, и на мне и на тебе один православный крест! Сполни просьбишку мою малую, мать! Сполни, прошу тебя, родимая!

Иван схватил старуху за руки, припал к ним щекой.

– Что ты, дитяtko, что ты?! – испуганно зашептала старуха, отбирая руки. – Не архиерей ведь я, чего ты мне руки целуешь?

– Принеси мне пороху, мать.

Старуха отшатнулась, перекрестилась.

– Можа тебе враз и пистоль принесть?

– Да ты не бойся, пороху мне надо самую малость – полгорстки. А ты кого хошь спроси – от одного пороху никому никакого вреда, ни убивства быть не может.

– А пошто тебе порох?

– Для дела надо, мать, а для какого, хоть режь, не скажу.

– Нет, касатик, боюсь я, а ну как ты что недоброе умыслил?

Вергуненок вскочил, рванул верхний край шаровар. Из образовавшейся на поясе прорехи вытащил золотой немецкий талер – все, что сумел утаить от пленивших его татар.

Старуха сложила губы колечком, задумалась.

– Ин ладно, принесу тебе пороху.

– И снадобья, мать, принеси, коим ожог исцеляют.

Старуха ничего не сказала, ни о чем более не спросила. Молча протянула руку.

Вергуненок набычился, зажал монету в кулак, а кулак отвел за спину.

– Принесешь пороху да снадобья – тут и отдам тебе золотой ефимок. Ты не серчай на меня за неверку мою: последняя надежда у меня на этот ефимок. Кроме его, и нет у меня ничего.

Старуха долгим взором поглядела на казака.

– Жди. В пятницу вечером принесу.

– Ты, главное, лежи смирно и, храни тебя бог, не дернись. Даже если кожей пошевелишь – всей твоей затейке конец. Терпи, казак, атаманом будешь, – говорил Альгирдас Вергуненку в субботу вечером.

Вергуненок, сняв рубаху, лежал на полу лицом вниз. Рядом с ним на корточках сидел Альгирдас и медленно сыпал ему на спину порох, разделив его на две части. Одну половину пороха Альгирдас уложил в виде полумесяца, а вторую, чуть отодвинув в сторону, в виде звезды.

– Ну, казак, держись, – проговорил Альгирдас и, ударив кресалом о камень, зажег трут с обоих концов. Раздув трут как следует, каменотес поднес тлеющие концы к пороху. Звезда и полумесяц вспыхнули в одно мгновение.

Вергуненок скрипел зубами и так сжал кулаки – кожа побелела на запястьях. Мгновения, пока порох пылал у него на спине, наполняя подземелье запахом горелого мяса, не только Вергуненку, но и Альгирдасу показались вечностью.

Наконец огонь погас. Иван застонал, расцепил пальцы. Альгирдас смазал глубокие ожоги мазью, принесенной старухой, и крепко перехватил спину и грудь Вергуненка мягким чистым холстом.

Уже на следующий день Вергуненок повеселел, лихо зазвенел молотом, ожидая своего часа. Однажды Альгирдас – в который уж раз – осмотрел спину Вергуненка и сказал, что теперь можно действовать дальше: раны затянулись молодой кожей, и никто бы не мог сказать – двадцать лет или всего несколько месяцев этим необычным знакам.

В середине октября, в один из субботних дней, когда бен Рабин вернулся домой,

Альгирдас и Иван задолго до конца работы отбросили в сторону молоты и стали ждать появления хозяина.

Бен Рабин вскоре приоткрыл люк и спросил, почему они не работают.

– Не знаю, господин, с чего и начать, – взволнованно проговорил Альгирдас.

– Ну, говори, говори, – нетерпеливо и раздраженно произнес бен Рабин.

– Дело, господин, необычайное. Спустись вниз да прикрой люк – нельзя, чтоб кто-нибудь это услышал.

Бен Рабин важно спустился вниз и, отставив ногу в сторону, встал у лестницы. Альгирдас быстро и взволнованно зашептал, поглядывая то на приоткрытый люк, то на Вергуненка. Бен Рабин сначала слушал невнимательно, потом рассеянность сменилась иронической сосредоточенностью, и, наконец, в глазах у хозяина и Иван, и Альгирдас заметили искорки неподдельного интереса.

Когда Альгирдас окончил рассказ, бен Рабин подошел к Ивану и поднял край рубахи. Подведя Вергуненка к окну, хозяин долго рассматривал звезду и полумесяц, а потом, пожевав губами, повернулся и в глубокой задумчивости полез вверх по лестнице.

Вениамин бен Рабин был неглупым человеком, и потому его не заботило, правда ли, что купленный им казак – сын московского царевича Димитрия Ивановича, как сказал принадлежащий ему каменотес-литвин. Бен Рабина занимало другое: получит ли он какую-нибудь прибыль от того, что станет уверять всех в царском происхождении своего нового раба.

И, прикинув и так и этак, решил, что если в эту историю поверят обитатели Чуфут-кале, то за царевича он, несомненно, получит больше, чем за десять самых искусных каменотесов.

И, решив так, бен Рабин позвал к себе Абрахама бен Якуба, местного брадобрея и хирурга, известного всему городу крайней болтливостью и всезнайством.



Взяв с брадобрея самые страшные клятвы в сохранении тайны, бен Рабин пересказал ему то, что услышал от Альгирдаса. Брадобрей недоверчиво косился на бен Рабина, не понимая, зачем именно ему рассказывает этот человек столь сомнительную историю. Но когда бен Рабин сказал, что хочет посоветоваться со всеми уважаемым бен Якубом, несомненно одним из умнейших людей в городе, брадобрей успокоился, ибо и сам считал себя таковым.

Проговорив дотемна, бен Рабин свел своего гостя в подземелье и там при свете свечи показал ему царские знаки на спине Вергуненка.

Бен Якуб с округлившимися глазами выбрался из подземелья и заспешил домой, от волнения забыв даже попрощаться с любезным Вениамином бен Рабином.

К вечеру следующего дня в Чуфут-кале ни о чем более не говорили, как о московском царевиче, живущем в доме бен Рабина. А еще через день в городе появился ханский гонец и велел доставить новоявленного царевича в Бахчисарай.

Владетель Бахчисарая, перекопский царь, хан Крымской Орды, багатур и подножие султанского трона, осыпанный милостями аллаха благородный Ислам-Гирей родился в царском дворце, однако видел в жизни и трюмы невольничьих кораблей, и казематы, и забытые аллахом пыльные, полумертвые городишки, заброшенные на край света.

Семь лет провел царевич Ислам в польском плену. Мог бы просидеть и поменьше, да, видно, не больно-то хотел видеть Ислама на свободе его старший брат Мухаммед, сидевший в Бахчисарае на троне Гиреев.

Польский король Владислав, смекнув, что на воле Ислам будет более опасным для крымского хана, чем в захолустном замке в Мазовии, отпустил Ислама на волю.

Царевич уехал в Истамбул, припал к стопам султана, но недолго пришлось жить ему у подножия трона в столице Блистательной Порты.

Интригами старшего брата, опасавшегося немилости султана более всего на свете, Ислам был выслан на остров Родос – пустой, малолюдный, сонный.

Надев простой халат, бродил царевич Ислам по пыльным улочкам единственного города, носившего такое же, как и остров, название. На руинах языческих храмов, построенных тысячи лет назад ромеями и греками, росли чахлые деревца, обглоданные худыми, грязными козами.

В заброшенных полутемных церквах, где некогда молились византийцы и проклятые аллахом разбойники-крестоносцы, кричали ишаки и верблюды. По осыпающимся камням старых крепостных стен еле бродили сонные, разморенные жарой стражники.

На тихом базаре ленивые толстые торговцы спали в тени рваных палаток и скособочившихся деревянных лавчонок...

Царевич уходил на берег моря и, забравшись под скалу – в тишину и прохладу, – глядел на далекую белую полосу турецкого берега. Только оттуда – из Турции, от великого султана, повелителя правоверных, грязного шакала, капризной бабы, источника милости, средоточия несчастий, – мог он, безвинный страдалец, ждать грозы и ласки. И он то смиренно молил аллаха выволить его из этой грязной родосской дыры, обещая построить мечеть и до конца дней верно служить благодетелю-султану, забыв все обиды, то изрыгал хулу на владетеля империи османов, призывая на его голову мор и несчастья.

И аллах услышал молитвы гонимого: султан Блистательной Порты, источник справедливости, средоточие правды, дарователь милостей, вернул Ислама в Бахчисарай, на трон его предков Гиреев, а неверную собаку Мухаммеда велел привезти на остров Родос – в пыль, в навоз, в сонное царство мертвых ромеев, греков и крестоносцев.

Хан Ислам-Гирей, еще не добравшись до Бахчисарая, поклялся аллаху и – самое главное – самому себе, что отныне не будет у султана более верного слуги, чем он, Ислам. И поэтому, очутившись в Бахчисарае, более всего следил за тем, что так или иначе могло угрожать интересам султана и тем самым – его собственным.

Услышав, что совсем рядом, в Чуфут-кале, объявился русский царевич, Ислам-Гирей велел привезти его к себе, ибо на собственном опыте убедился, что любой претендент на любой престол – человек и опасный и ценный. И лучше держать его возле себя, чем доверять его охрану кому бы то ни было.

Потому-то в Чуфут-кале и появился ханский гонец.

## **Глава четырнадцатая ДЕЛА ТУРЕЦКИЕ**

12 июля 1645 года, в день святого угодника Михаила Малеина, Михаил Федорович, великий государь всея Великия и Малыя и Белья России, великий князь Московский и Владимирский, царь Казанский, царь Астраханский и прочая, и прочая, и прочая, опираясь на плечи двух отроков и с трудом переставляя отекие ноги, вошел в Благовещенский собор. Отроки провели государя к царскому месту, с великим бережением усадили под островерхий шатер на обитую бархатом скамью, однако и сидеть благодетель не смог – заваливался на бок из-за великой слабости.

По случаю царских именин служил сам святейший патриарх Иосиф. Исполняя чин, читая молитвы, кладя земные поклоны, уходя в алтарь и снова возвращаясь к молящимся, Иосиф не сводил глаз с царя и, когда отроки задолго до конца службы повели Михаила Федоровича из храма, подумал: «Последние именины ныне у государя».

Едва Михаил Федорович сошел с царского места, как случился с ним припадок. Он сполз на каменные плиты собора, и смертельно побледневшие отроки застыли немо, не зная, что делать. Их оттерли ближние государевы люди – бояре, окольничьи, стольники. Положив больного на руки, понесли в палаты, как сосуд со святой водой, боясь расплескать хоть каплю.

Царь лежал, утонув в подушках. Нос его заострился, глаза помутнели. Три лекаря из немецких земель – Венделин Сибелиста, Иоган Белоу, Артман Граман – тихо шушукались. Сибелиста, подняв к очкам скляницу, глядел на свет урину – жидкость, кою выделял мочевой пузырь занедужившего государя. Урина была бледна – от многого сидения, от холодных напитков и от меланхолии, сиречь кручины. Белоу и Граман, понимающе глядя на скляницу, сокрушенно кивали головами.

Михаил Федорович велел позвать царицу Евдокию Лукьяновну, царевича Алексея и царевен – Ирину, Анну и Татьяну. Царица и царевны, сбившись у Михаила в ногах, тихо плакали. Шестнадцатилетний царевич, нескладный, узкоплечий, красноносый, плакал, уткнувшись в плечо дядьки – Бориса Ивановича Морозова.

Государь тяжело дышал, и оттого тело его, тучное и обессилевшее, слабо колыхалось под легким платом, коим прикрыли умирающего из-за великой жары и духоты. Михаил Федорович хотел сказать собравшимся нечто важное, но мысли разбегались в разные стороны, и оставалось только одно: жалость к себе, что ровно года не дожил до пятидесяти, а вот батюшка Федор Никитич скончался семидесяти годов, да и матушка Ксения Ивановна преставилась всего не то семь, не то восемь лет назад. А вот ему, рабу божьему Михаилу, не дал господь долгого века – по грехам его...

А кроме жалости, мучила царя тревога: на кого оставляет царство? На этого младенца, что плачет безудержно, содрогаясь рыхлым, не по летам тучным телом?

И, глядя на единственного сына, коему оставлял он все города и веси, леса и поля, реки и озера, бояр и дворян, купчишек и мужиков великого и славного Российского царства, что раскинулось на полсвета от чухонских болот до Пенжинского моря и от Студеного окияна до Хвалынского моря, подумал царь: «Очаруют, изведут, а паче того явится новый Гришка Отрепьев и отымет у Алеши все, что оставляю». Ибо с малых лет – как помнил себя – боялся Михаил Федорович дурного глаза, волшебного слова, наговоров да чародейства. Еще маленьким слышал он, как мягко ворочался под полом дедушко-домовой, как шушукались в темных углах дворцовых комнат серые бабы – кикиморы. Уже юношей – на соколиной охоте – сам видел лешего, зеленого, обросшего рыжей бородой. Мелькнул леший на краю чашобы, захохотал филином и сгинул с глаз. Кинулись за лесным чудом ловчие, загонщики, сокольничьи да и остановились на опушке, у буреломов, – кони всхрапывали, гончие псы визжали и прижимались к ногам лошадей, но в лес за лешаком не шли. На божьих тварей глядя, покричали да посвистели охотники, проехали у края леса да и повернули восвояси... А уж скольких ведьм стащили по его приказу в пыточную избу – того и не счесть...

Однако более колдовства боялся Михаил Федорович подыменщиков – воров, подыскивавших под ним московский трон, на котором сидел он сам-первой. Не был сей трон для него наследственным, прародительским, и потому всякий боярин ли, князь ли, который хоть как-то к прежним царским родам прикасался, был для Михаила Федоровича ох как опасен.

А еще более было воровских шпыней – мужиков, казачишек, гультяев без роду и племени, что нагло втыгались в чужое имя и объявляли себя Рюриковичами.

Немногие годы прошли, как изловили и казнили псковского вора Сидорку, объявившего себя новым – третьим уже – царевичем Димитрием Ивановичем. Поймали двух воров в Астрахани, выдававших себя за внуков царя Ивана Васильевича, якобы происходивших от старшего сына Грозного – Ивана. И многие людишки в то крепко уверовали, хотя всему народу было известно, что царевича Ивана отец убил железным посохом и никаких детей у убиенного не осталось.

А от царя Федора Ивановича – хилого и немощного недоумка – осталась скитаться по степным юртам добрая дюжина смутьянов, вводивших в сумление царским происхождением доверчивых казаков и инородцев.

И уж совсем недавно в Самборе, у Карпатских гор, объявился еще один подыменщик – сын царя Василия Шуйского, Семен. Как после всего этого оставить младеня Алешу на престоле? Одна надежда – собинный друг Борис Иванович Морозов, муж в государственных делах велемудрый и рукою твердый.

Михаил Федорович уже как сквозь пелену поглядел на Бориса Ивановича. Морозов стоял прямо, глядел сурово. «Слава тебе господи, – подумал умирающий, – хоть один человек возле меня оказался, на кого могу и жену с детьми и державу оставить».

Собрав последние силы, сложил государь персты, благословляя сына Алешу на царство. Деревянными, стылыми губами прошептал:

– Борис Иванович, тебе сына приказываю, служи ему, как мне служил.

Борис Иванович пал на колени, ткнулся носом в бессильно упавшую руку государя.

Патриарх Иосиф, неслышно ступая, подошел к постели исповедать и причастить умирающего.

Новый царь тотчас же разослал во все государства гонцов и послов, чтобы известить о кончине отца и о собственном благополучном восшествии на престол.

И помчались послы и гонцы: в Швецию – к королеве Христине, в Польшу – к королю Владиславу, в Англию – к королю Карлу, во Францию – к Людовику, в Молдавскую землю – к господарю Василию, в Турцию – к султану Ибрагиму.

К Ибрагиму велено было ехать стольнику Степану Телепневу да дьяку Алферию Кузовлеву.

Телепнев и Кузовлев третью неделю сидели на худом подворье в крымском городе Кафе, не зная толком, кто они – послы или пленники? Татары никого к ним не пускали и со двора ни им самим, ни их слугам ходить не велели. Корм послам давали скудный, вина и вовсе не давали. От таких дел, от бескормицы и умаления чести большой государев посол Степан Васильевич Телепнев почернел лицом и лишился голоса. Страшила неизвестность, посоветоваться было не с кем. Дьяк Алферий, до того три года просидевший в Поместном приказе, в бусурманской земле отродясь не бывал и посольских обычаев не знал совсем.

Да и вообще с самого начала все было худо в этом треклятом посольстве. В Бахчисарае не только хана – визиря не видели. Прoderжали послов для укора, без всякой надобности возле ханской ставки два месяца. Бесчестили и пугали, обделяли всем, чем можно, даже воды и той вдоволь не давали. Телепнев понимал, что, пока крымский хан не снесется с султаном, дороги послам не будет. Так оно и вышло. Через два месяца вывели татары послов во двор, посадили на коней и, окружив, будто полоняников, погнали на юг – в Кафу. В Кафе снова поместили на худом дворе и велели ждать фелюгу, какая пошла бы через

Русское море в Царьград.

Послы томились, не зная, что будет дальше. Хотели одного – скорее добраться до места. Ехали они к султану не только с вестью о кончине Михаила Федоровича и восшествии на престол Алексея Михайловича, но и с жалобой на крымского хана, султанского подручника, коий в минувшие 7152-й и 7153-й от сотворения мира годы набегал из своего крымского улуса на украины Московского государства и, поруша шерть, сиречь договоры, воевал грады и веси многими людьми безо всякия пощады.

За долгую дорогу да за докучливое двухмесячное сидение в Бахчисарае обо всем послы друг с другом переговорили и жили в Кафе, как в дурном сне, – маялись пуще прежнего.

Однажды близко к полуночи стукнули в дверь тайным, условным стуком: сперва один раз, потом быстро два и, чуть пождав, снова один.

За день послы высыпались до помутнения разума, ночами ворочались без сна и потому оба враз встрепенулись и Кузовлев спросил:

– Чул?

Большой государев посол засипел безгласно – слышал-де.

Кузовлев на цыпочках подошел к двери, замер. За дверью сопел неведомый ночной гость. Мелко перекрестясь, дьяк Алферий спросил тихо:

– Во имя отца и сына и святого духа, с добром ли?

Из-за двери ответствовали шепотом:

– С советом и делом.

Кузовлев без страха распахнул дверь – свои. В сенях стоял высокий худой старец в черной рясе до полу с капюшоном на глазах. Кузовлев показал рукой – проходи. Гость шагнул через порог навстречу Телепневу, стоявшему посреди горницы с зажженной свечой. Войдя в круг света, старец опустил капюшон на плечи.

– Отче Иоаким! – радостно просипел Телепнев.

Старец протянул послам руку, и те истово поцеловали ее. Сев за стол, старец сказал Кузовлеву:

– Аз есмь смиренный инок Иоаким, не по достоинству носящий чин архимандрита Святогорского Спасского монастыря в Цареграде.

Телепнев молча закивал головой: так-де, истинно – архимандрит. Иоаким взмахнул широкими черными рукавами, послы подвинулись ближе, склонили головы к плечам пастыря.

– То дело тайное, послы, дело великое.

Послы затаили дыхание.

– Шесть недель назад прислал крымский хан в Царьград вора. Влыгается вор в царское имя, называет себя сыном Димитрия Ивановича.

– Ах пес! – воскликнул Кузовлев.

Телепнев ударил кулаком по столу, просипел нечто непотребное. Иоаким проговорил смиренно:

– На всяку беду, честные господа, страху не напасешься: ведомо мне, кто сей вор.

У государских послов засверкали глаза: ай да старец, ай да мудрец! Придвинулись еще ближе, ушами касаясь усов архимандрита.

– Имя ему Иван, прозвищем Вергуненок, родом он не то из Лубен, не то из Полтавы...

Иоаким ушел до рассвета. А утром загрузили послов на фелюгу, и те, набираясь смертного страха, пошли к Царьграду, падая с волны в пучину и взлетая из пучины на новую волну. И так, то умирая, то воскресая, тонули и возносились Кузовлев и Телепнев три дня и три ночи, пока бежала к турецкому берегу краснопарусная мухаммеданская ладья.

Сошли они на берег совсем без сил, ибо не вкушали ни воды, ни хлеба все трое суток, хотя бусурмане и предлагали им какие-то травы, и рыбу, и еще что-то, но не только есть – видеть сей поганской пищи послы вовсе не могли: вконец измотало их проклятое морское качание.

Оказавшись на земле, пошли Телепнев да Кузовлев как пьяные – все еще качало их океанное море, как малых детей в зыбке. И видеть совсем никого не желали – об одном молили: оставить их в покое да дать отлежаться. Однако не было им покоя и в Константинополе. Только пали они навзничь на ковры и подушки, что принесли для их потребы в посольскую избу султановы служилые люди, как оказались возле них двое незнакомцев. Видели послы тех незнакомцев как сквозь туман – один был грузен и ростом высок, второй тоже высок, но тощ. На грузном была черная ряса и скуфья, на тощем – полосатый халат и чалма. Дородный склонился к послам низко и проговорил:

– Во имя отца и сына и святого духа, с добром ли?

Телепнев ничего не ответил, только на горло рукой показал – не могу-де говорить. А Кузовлев, из-за усталости и хвори забыв условные слова – «С советом и делом», бухнул вдруг:

– Аминь.

Гости на момент смешались, однако черноризец быстро догадался, в чем дело, и снова повторил:

– Во имя отца и сына и святого духа, с добром ли?

Тогда Телепнев выдал из себя из последних сил:

– С советом и делом.

Черноризец встал на колени, склонившись к Телепневу, прошептал:

– Аз есмь недостойный пастырь архимандрит Амфилохий. А сей человек, – он плавно повел полной рукой в сторону стоящего рядом татарина, – толмач, почтенный Зелфукар-ага.

Татарин поклонился. Телепнев сел на подушки. В ушах у него стоял звон, в глазах – туман, посольская изба все еще плыла по морю, качаясь то вправо, то влево. Глядя на Телепнева, сел, привалясь к стене, и Кузовлев. Амфилохий наклонился к самому уху Телепнева. Кузовлев подполз и также сколь мог приблизился к архимандриту.

– Вор и супостат у турецкого царя, честные господа, – тихо проговорил Амфилохий, подъяв указующий перст и страшно округлив глаза.

– Знаем, – вяло отмахнулся Кузовлев, – довели нас о сем воре верные люди еще в Кафе.

– Не могло такого быть, – вдруг проговорил Зелфукар-ага, – вор только неделя в Истамбул. И не из Кафа вор ехал – из Молдавская земля.

– Как звать вора? – просипел Телепнев, нутром чуя нечто скверное.

Амфилохий произнес со значением:

– Иван Васильевич Шуйский.

Государевы послы, отпав на подушки, легли недвижно. Посольская изба перестала качаться. Свет за ее окнами померк, уличный шум затих. Изба медленно погружалась в морскую пучину.

Зелфукар-ага, сложив руки на животе, внимательно слушал разноглазого уруса, стоявшего перед великим визирем Азем-Салихом-пашой.

Великий визирь – везир-и-азам, – малорослый, желтолицый, сморщенный, сидел на высоких подушках, перебирая янтарные четки. Глаза его были закрыты. Однако везир-и-азам не спал. Он слушал монотонную речь толмача Зелфукара-аги и думал: «Кто такой на самом деле этот разноглазый русский бек, прибежавший в Истамбул в поисках милостей султана?»

А между тем Зелфукар-ага переводил:

– И после того как польский король не дал мне ни войск, ни денег, я ушел с верным человеком из его земли. И, претерпев великие лишения, оказался, наконец, в славном городе Истамбуле, желая найти поддержку и покровительство могущественнейшего монарха вселенной, его султанского величества Ибрагима.



Чуть приоткрыв глаза, Азем-Салих-паша спросил:

– Когда урус-бек Иван ушел от польского короля?

Спросил для того, чтобы урус подумал, что ему, великому визирю, ничего о нем не известно. Хотя задолго до того, как московский царевич был допущен для встречи, Азем-Салих-паша знал многое из того, что произошло с беглецом, но, полагал визирь, лучше, если беседующий с тобой считает тебя неосведомленным и, рассказывая, не опасается острия знания, спрятанного под одеждой неведения.

Зелфукар-ага, выслушав Анкудинова, ответил:

– Позапрошлым летом, господин.

– Спроси уруса, где он бегал два года?

– Он говорит, что после того, как люди молдавского господаря отобрали у него все имущество и едва его не убили, он ушел в Румелийское бейлербейство, которое урусы называют Булгарией, и жил там в христианском медресе у своих единоверцев – болгар, читая книги пророка Исы из Назарета и обучаясь у лекарей и звездочетов. Оттуда он ушел в Истамбул, оставив в Румелии своего человека.

– Обучен ли урус ратному делу?

– Урус говорит, что умеет биться на саблях, стрелять из самопала и пистоли.

Везир-и-азам снова закрыл глаза.

Тимофей молчал. Молчал и Зелфукар-ага.

– Спроси его, чего он хочет от его величества султана, повелителя правоверных, опоры ислама, владыки великой империи османов, да продлит аллах до бесконечности его годы!

– Бей говорит, что, если повелитель правоверных даст ему сорок тысяч сипахов, хумбараджей и сияхтаров, он поведет их на Москву и привезет царя урусов в Истамбул в железной клетке.

– Спроси его, примет ли урус сначала нашу веру? – так же тихо и монотонно произнес Азем-Салих и, прищутив желтые кошачьи глаза, уставился прямо в переносицу Анкудинову.

...Синие орлы висели в белом небе над выжженной зноем степью. Даже суслики попрятались в норы, и только змеи недвижно лежали в пожухлых, коричневых травах.

Тимоша и Костя ехали на полдень. Солнце уже медленно скатывалось книзу, но до заката было еще долго, и земля еще не остывала, а, принимая солнечный жар, смешивала с ним свое тепло на самой грани почвы и воздуха. И от этого над камнями и травами степи зыбкой завесой стелилось сиреневое марево, будто стояли ночью бесчисленные казацкие курени и ушли, оставив дотлевать сухие травы, кизяки и солому. Тимоша и Костя ехали молча, устав от зноя, тишины и жажды. Вдруг кони их враз всхрапнули и, запрядав ушами, заметно прибавили шаг. Остроглазый Костя проговорил быстро:

– Вроде мазар впереди.

Тимоша, взглядевшись, подтвердил:

– Вроде мазар. – И, помолчав, добавил: – А где мазар – там и колодец.

Глинобитный мазар вынырнул как-то сразу. И тут же путники заметили невысокую каменную кладку колодца.

Солнце, красное, большое, висело над краем степи, и по всему выходило – ночевать нужно было в мазаре.

Среди ночи – охнуть не успели – повязали их некие лихие люди и, забрав все до нитки, выгнали из мазара. Ночь стояла светлая, видно все было, как днем. Связанных одной веревкой, привязали их к луке седла последнего всадника и неспешно двинулись на полдень – туда, куда Тимоша и Костя поехали бы и сами, если б довелось им утром проснуться свободными.

После того как первое потрясение прошло, Тимоша и Костя поняли, что пленившие их люди – не разбойная ватажка и не татарский разъезд. Всадники – все до одного – сидели на сытых красивых конях, кафтаны на всадниках были одного цвета и фасона, одинаковыми были и сапоги и шапки. И даже лицами были они похожи друг на друга – смуглые, усаые, кареглазые.

Ждать разгадки пришлось недолго. В двух верстах от места их последнего ночлега, на берегу речки, пленники увидели шатры, палатки, повозки, слышали песни, звуки бубнов, учуяли запах дыма и жареного мяса.

Их провели по шумному, веселому табору сквозь ряды телег и палаток к большому белому шатру. У входа в шатер торчал бунчук, стояло знамя, обвисшее чуть не до земли, и, опираясь на пики, стояли здоровенные усаые гайдуки, одетые точно в такие же кафтаны, сапоги и шапки, какие были и на тех людях, которые час назад повязали Тимошу и Костю.

«Свита какого-то потентата, – смекнул Тимоша. – Как рынды или же стрельцы из государева стремянного полка, все в одинаковой одеже. Только чьи же они? На татар не похожи, на турок тоже».

Слабый ветерок колыхнул знамя. Из складок глянул на Тимофея грозный зрак Иисуса. «Волохи! – обрадовался Анкудинов. – Все ж таки православные, не турки, не татарва».

Из шатра вышел некто – грузный, пьяный. Зло и тупо поглядел на гайдуков, на пленников. Гайдуки, опасливо на него взглянув, встали прямо. Толстяк подошел к Тимоше и, что-то крикнув, ткнул пальцем себе под ноги. Анкудинов молчал, не шевелясь. Гайдуки подскочили, один ударил под колени, второй, обхватив за шею, дернул книзу. Тимофей упал на колени. Толстяк крикнул еще что-то. Гайдуки бросили на землю Костю и, не дав распрямиться, обоих потащили на веревке в шатер.

Все вокруг были по-нехорошему тяжело пьяны, и потому ни Тимофей, ни Костя не могли угадать, что с ними будет через мгновение. Под ноги им кинулись шуты и карлы – безумные, страшные, визжащие, лающие, мяукающие. Важный толстяк сунул грязный сапог под нос Анкудинову, и кто-то из окружающих крикнул по-русски: «Целуй!» Тимофей вздернул подбородок и почувствовал на затылке холодное острие ножа...

Из табора их вывезли на арбе, в которой прежде возили навоз. Вывезли голых, связанных одной веревкой. Сбросили у дороги, избитых, измазанных кровью и грязью. Они лежали ничком, содрогаясь и скрипя зубами от воспоминаний минувшей ночи, в которую на их долю выпало столько унижений и издевательств, сколько не выпало за всю прежнюю жизнь, даже если бы все гадкое и постыдное, случившееся с ними до этой ночи, увеличили во сто крат.

Дотемна они прятались в кустах у реки, а с темнотой, отмыв кровь и грязь и оплетя чресла ветвями и листьями, двинулись на полдень. К утру они набрали на юрту бедного буджакского татарина и с грехом пополам объяснили, что их ограбили лихие люди. Татарин сказал печально и тихо:

– Башибузук – нет. Большой бей, хан, коназ сымает бедыный человек все.

Он дал Тимоше и Косте рваные портищи и старый мешок, из которого они соорудили еще одни штаны, дал одну рубаху на двоих и кусок вонючего овечьего сыра.

Прощаясь, сказал:

– Ходит, ходит батыр. Собирает силу на хана, на коназа, на бея. Силу надо. Тьму батыров надо – больших беев побивать...

Тимофей сказал хрипло:

– Скажи визирю, Зелфукар-ага побусурманюсь, если даст мне сорок тысяч конных. Нужна мне тьма батыров, чтобы силой поломать царскую силу.

Визирь сощурил глаза, поджал губы.

– Переведи ему, Зелфукар-ага: сначала он отречется от учения пророка Исы и станет правоверным, а потом мы подумаем, давать ли урусу бунчук и доверить ли Алем – зеленое знамя пророка.

Ивана Вергуненка привели к великому визирю вслед за Анкудиновым. Так же сложив руки на животе, неподвижно стоял у плеча везир-и-азама Зелфукар-ага. Так же тихо и монотонно журчал его голос. Так же перебирал четки не то слепой, не то дремлющий желтолицый старик. Только совсем не так отвечал Азем-Салиху-паше Иван Вергуненок.

Когда визирь спросил его, чего он хочет от падишаха вселенной, Иван, заносчиво вздернув голову, сказал Зелфукару-аге:

– Скажи ему, что со мною он не смеет разговаривать сидя, если я, русский царевич, стою перед ним:

Визирь перестал перебирать четки и, приоткрыв глаза, сказал, что царевич может сесть насупротив него.

Иван сел, скрестив ноги, и велел Зелфукару-аге точно перевести то, что он скажет.

– Я хочу видеть брата моего, турецкого царя Ибрагима. И говорить стану только с ним.

Великий визирь, услышав это, на мгновение чуть было не поверил, что перед ним действительно внук царя урусов Ивана Ужасного, повоевавшего Казанский и Астраханский улусы, Сибирский юрт и многие иные татарские орды. Но десятилетия службы при дворе, природный ум и привычка не верить ничему, кроме того, что проверено сто раз и не может содержать в себе никакого подвоха, победила и на этот раз.

Кого только не видел Азем-Салих-паша во дворцах великого сеньора, как называли султана в странах, поклонявшихся пророку Исе!

Искатели приключений, бродяги, чародеи, самозванцы, лазутчики так и роились у порога султанского дворца, и, если кто-нибудь из них проникал через его высокие резные двери внутрь, везир-и-азам должен был точно определить, сколько стоит предлагавший свои услуги человек и во что может обойтись правительству государства, именовавшего себя Блистательной Портой, это одолжение.

Смуглый до черноты, дерзкий кареглазый казак все же чем-то смутил визиря, и он решил сначала сбить с наглеца спесь, а потом поглядеть, что из всего этого выйдет. Открыв глаза, Азем-Салих сказал:

– Его султанское величество повелитель правоверных не может принять неверного гяура. Если ты примешь закон Магомета, то, может быть, тогда тебе будет позволено видеть лик владыки половины вселенной.

– Ты не понимаешь того, что говоришь, – громко, отчеканивая каждое слово, проговорил Вергуненок. – Как это я, русский царевич, пойду доставать мой престол, надев на себя халат и чалму?!

Визирь подумал: «Кто бы ты ни был, урус, ты дерзок и глуп. Сначала ты говоришь мне, что я – великий визирь – не понимаю того, что говорю, а затем спрашиваешь меня, как тебе достать отобранный у тебя Московский юрт». Но сказал другое:

– Ты, кажется, мало думал, прежде чем сказать мне то, что я сейчас слышал. Мы предоставим тебе время для размышлений.

Визирь хлопнул в ладоши, и на пороге, как джинны из бутылки, появились два янычара-балтаджи в белых бурнусах. Зная, что Вергуненок понимает татарский язык, визирь неспешно и четко сказал по-татарски:

– Отведите этого человека в Семибашенный замок.

Под черной кожей скул у Вергуненка заходили желваки. Бешеными, белыми от злобы глазами он полоснул везир-и-азама и, повернувшись к двери, громко произнес длинную фразу.

Зелфукар-ага закрыл глаза и укоризненно покачал головой. Великий визирь хотя и не знал языка урусов, но спрашивать толмача, о чем это с таким жаром говорил на прощание московский царевич, не стал.

Этой же ночью Зелфукар-ага пробрался на подворье русских послов. Кузовлев, уже отлежавшийся от качки, встретил толмача приветливо и радостно, а большой государев посол Степан Васильевич Телепнев хотя и был гостю рад, однако встретить его по достоинству не смог: от бусурманских напастей занедужил изрядно и лежал, тяжело дыша от стеснения в груди и великого жара.

Вообще-то толмач не сразу отправился к послам, сначала он встретился на Египетском базаре с Амфилохием, слово в слово передал архимандриту беседу с обоими подыменщиками, сиречь самозванцами, и выслушал от черноризца совет идти сегодня же к послам, ибо кто же ведает, что там замыслил везир-и-азам, вдруг да завтра поутру и призовет Степана Васильевича да Алферия к себе во дворец?

И Зелфукар-ага, получив от Амфилохия письмецо малое и хотя и невеликий, но тяжелый кожаный кошель, направился к послам. Уйдя с базара, толмач тут же прочитал письмо и, запомнив все, о чем там было написано, изорвал его в мелкие клочья. Высыпав на ладонь кучку мелких серебряных монет – мангур, пиастров, акче и аспр, – Зелфукар-ага даже плюнул с досады: тяжел был архимандритов кошель, да только за три дюжины полученных от Амфилохия монет никакой меняла не дал бы и одного золотого фондука.

Подойдя к русскому подворью, Зелфукар-ага отдал все, им полученное, двум грязным и бесчестным стражам – ямакам, стоявшим у ворот посольства, и, поклявшись возместить убытки за счет Телепнева и Кузовлева, решительно перешагнул порог.

Расчет Зелфукара-аги оказался правильным: после того как послы разузнали все, о чем говорил великий визирь с ворами, они с лихвой возместили пронырливому толмачу его убытки. И чтобы не навлечь на доброхота Зелфукара и тени подозрения, Кузовлев дал ему не русские деньги, а две золотые сицилийские онцы, выменянные еще в Кафе на захваченные из Москвы ефимки.

Получив мзду, Зелфукар-ага сказал:

– Если дашь еще золота, скажу, кто есть в самом деле вор Шуйский.

Телепнев слабым голосом, не подымая головы с подушки, отвечал:

– Зелфукар-ага, то золото, что мы тебе дали, не наше золото, а государево, и нам за то золото перед государем ответ держать. А как я государю скажу, что за малые дела много денег отдал?

Толмач повел плечом, приподнял брови:

– То дело не малое, господин. То дело великое. – И добавил жалобно: – Чтоб имя вора узнать, я много одному человеку платил. Что теперь делать? Обрато у доброго человека золото брать?

– Сколь заплатил? – тихо спросил Телепнев, понимая, что придется раскошелиться еще раз.

– Пять фондуков платил, – ответил толмач, не отводя глаз.

– Говори, – вздохнул Степан Васильевич и велел дяку Алферию достать из сундука деньги.

– Звать вора Тимошка, по прозванию Анкудинов. Прибежал вор из Вологды на Москву и там был в приказе Новая Четверть подьячим.

– Новая Четверть! – воскликнул молчавший до того Кузовлев. – Да я ж того Тимошку знаю! Был он при Иване Исаковиче Патрикееве в подьячих. И из Москвы года два как улег. Мы с ним даже на одной свадьбе вместе были. Я, Степан Васильевич, вора Тимошку, если

поставят меня с ним с глазу на глаз, тут же уличу!

– Ну и дела! – слабо ахнул Телепнев. – Ладно, коли так. А если нет?

Зелфукар-ага приложил руку к сердцу:

– Так, господин, истинно так.

Степан Васильевич вздохнул и, еле пошевелив пальцами, показал Кузовлеву: пододвинь-де толмачу кису с деньгами.

Кузовлев толкнул по столу кожаный мешочек, и Зелфукар-ага ловко поймал его. Кузовлев спросил:

– А скажи, ага, как нам сподручнее того вора Тимошку достать?

– Везир-и-азам сам такого дела не сделает. Можно вора достать большой казной.

– Все казной да казной, – проворчал Телепнев. – Деньги отдадим, а вора нам не выдадут – и потеряем казну даром. Люди-то ваши – ты, Зелфукар-ага, не обижайся – не однословы: пообещать пообещают, а дела не сделают.

Зелфукар-ага сказал:

– Зачем стану обижаться? Правду говоришь, господин. А ты меня послушай: бросьте вы это дело. Пойдет вор по земле, волочась, – и сам пропадет. А то зашлет его везир-и-азам в дальний город или же на галеру в греблю отдаст. А если станешь, господин, о воре промышлять, то пуще его вздорожишь, и станет везир-и-азам думать: «И вправду вор царского кореня».

Телепнев вздохнул, подумал: «Вот привязалась напасть – сам черт не разберет. И так-то посольство – хуже не придумаешь: на крымского царя султану надо челом бить, о злодеяниях его доводить многими словами, накрепко. А как еще султан к тому отнесется? Крымский царь единоведец его – из султановой руки на мир смотрит. Да и в набег ходил не по наущению ли из Цареграда?»

А Зелфукару-аге сказал так:

– Спасибо тебе, Зелфукар. То воровское дело для нас, послов, не главное. Есть у нас и иные, государственные дела. Только если речь о воре пойдет, то скажи боярину твоему, Азему, что вор тот – худой человек, подьячишка, нечестных родителей сын.

Анкудинов, живя во дворце. Азем-Салиха-паши, с утра и до полудня слушал поучения хаджи Рахмета, носившего красную феску с черной кисточкой – признак ученого человека. Хаджи Рахмет занимался с Тимошей турецким и арабским языками, готовясь к тому, чтобы понятливый и способный к языкам урус вскоре мог понимать Коран.

А с полудня и до глубоки ночи Тимоша бродил по великому городу Истамбулу, само название которого означало – «полный мусульман». Он исходил его весь – от замка Румели Иссар до древнего Хризополиса, называемого турками Ускюдаром, и от площади Сераскера до Силиврийской заставы. Он шатался по кварталам Ливадии и Галаты, возле Урочища Рыб, у белых стен султанских дворцов Топ-Капу и Чераяган, по берегу Босфора у садов Долма-бахче.

Он исходил вдоль и поперек все базары Истамбула, дивясь их разноязычию, многолюдству и богатству. Он забредал в мечети, церкви, кофейни, цирюльни, бани, таверны. Толкался среди носильщиков, водоносов, кузнецов, горшечников, мясников. Знакомился с важными деребеями – турецкими вотчинниками, с лукавыми ростовщиками, ловкими торговцами, простодушными крестьянскими сыновьями – уланами. Дивился на гадателей, заклинателей змей, фокусников, акробатов.

Но не прошло и месяца, как все это великое шумство и многолюдство, пестрота и живость, голубое небо и голубое море, горы сладких плодов и ласковое тепло ранней осени стали раздражать Тимофея и вызывать у него такое чувство, какое появляется при виде сахара у человека, объевшегося сладким. И, заслоняя прелести щедрой осени и яркие краски базаров, стали лезть в глаза ему нищие и юродивые – по-здешнему дервиши, коих было в Истамбуле поболее, чем в Москве; стали попадать под ноги стаи облезлых бездомных псов, а в кварталах босфорского побережья – тучи крыс. И вместо свежего

морского бриза стали бить в нос запахи гнили и тления – от падали, валявшейся в канавах, от затхлой воды в арыках, от тухлой рыбы на берегу, от гор гнилых фруктов на базарах.

Не весело стало от всего этого на душе у Тимофея, а тревожно и смутно. Все чаще стали вспоминаться ему белые снега и звенящие от мороза леса – чистые, смоляные, светлые. И все чаще, выходя на Босфор, глядел Тимоша на его западный берег, туда, где кончалась Европа, хотя турки считали, что именно там не кончалась она, а начиналась. На европейском берегу Босфора, собравшись тесной стайкой, застыли у самого моря белые терема византийских императоров. Зеленые кипарисы и невысокие стены с башенками окружали жилище ушедших в небытие басилевсов, некогда владевших половиной известного им мира. А неподалеку от невысоких теремов императоров громоздилось здание храма Святой Софии, обстроенное клетушками, выступами, минаретами.

Когда Анкудинов впервые оказался внутри храма, огромного, запущенного и грязного, он не почувствовал ни величественности, ни простора, ни света, хотя София в Истамбуле была раз в десять побольше Софии в Вологде. Бесчисленные колонны уходили в разные концы огромного зала, бесконечные коридоры убегали в глубь здания, ныряя под галереи и переходы и теряясь в чудовищной толще циклопических стен храма. Грязный, потрескавшийся пол, покрытые птичьим пометом подоконники, осыпавшаяся штукатурка – все кричало о разрушении, забвении, являя всеконечную мерзость запустения. Стены, некогда расписанные фигурами святых и изукрашенные речениями отцов церкви, теперь были густо закрашены цветами и орнаментами, покрыты затейливой арабской вязью сур из Корана.

Сквозь переплетение золотых, зеленых, красных и черных линий проглядывали, как из зарослей, желтые и коричневые лики христианских святых, голубой хитон спасителя, скорбный и нежный лик богородицы.

Молящихся было немного. Тимофей прислонился к одной из колонн и вспомнил Вологду, свечи, горящие в холодной тьме Софийского собора, владыку Варлаама, и у него сладко заныло сердце и на глаза навернулись слезы. «Ох, до чего хочется домой!» – подумал он. И тут же некто, уже давно поселившийся в сердце, шепнул: «Увидишь родные места из железной клетки!» «Господи, – взмолился Тимофей, – пособи вернуться домой, вразуми, как быть, что делать?» И некто второй спросил ехидно: «Какого бога просишь, Христа или Мухаммеда? Их тут два, а храм все едино загажен божьими птицами и человеческим нерадением. Даже воедино собравшись, не могут главные во вселенной боги на малой частице своего царства порядок навести».

И от этой мысли стало Тимофею и легко и одновременно страшно, а в душе возникла вдруг такая пустота, какую ощущаешь, когда летишь с забора или с крыши наземь и еще не ударился, но уже ждешь этого и от дурного предчувствия замирает сердце.

А когда поздним вечером лег он на ковер, снова вспомнил полуразрушенный и грязный храм Святой Софии, который турки звали мечетью Айя София, понял вдруг, что нет в небесах ни Аллаха, ни Саваофа, ни Магомета, ни Христа. А иначе нешто допустили бы они, всеильные, такое запустение святыни?

Ощущение пустоты не оставляло его и утром, когда он рассеянно слушал поучения хаджи Рахмета. Еле дождавшись полуденного намаза и отстояв как во сне магометанскую обедню, Тимофей рассеянно попрощался со своим наставником и, выйдя из мечети, направился на берег Босфора. Только теперь ему совсем уже не хотелось оказаться под сенью святилища, загаженного птицами и заплеванного приверженцами двух богов.

Ему захотелось пойти к простым смертным, не думающим о грехах и поклоняющимся не идолам, а земным радостям. Он отправился на берег Босфора, но не на европейский, а на азиатский берег, где, загораживая дома и сады Ускюдара сотнями мачт, канатов и рей, стояли корабли, пришедшие в Истамбул со всего света. В порту, среди матросов и грузчиков, он почувствовал себя вольно и весело. Ближе к вечеру трудовой люд разбредался кто куда. Грузчики, большей частью жившие в городе, шли по домам, в грязные кварталы, теснившиеся у самого порта, а иноземные моряки расходились по

кофейням и тавернам, где можно было найти любое из удовольствий – кофе, кальян, вино или сладкогласную, нежную пери, купленную хозяином на невольничьем рынке.

Однажды Тимофей набрел на кабачок, из дверей которого неся шум, слышный за сто сажень. Анкудинов нырнул в синий табачный дым, в терпкие запахи вина, жареной баранины и кофе. Разноязыкий громкий говор, песни и топот ног на первых порах оглушили его, но уже через несколько минут он был рад, что попал сюда. В большом зале, одна часть которого на христианский лад была уставлена длинными, грубо обструганными столами и лавками, а другая – низкими полатями – софами, застеленными вытертыми коврами и засаленными подушками-миндэрами, сидели и полулежали десятки матросов, гребцов, шкиперов, рулевых – турок, греков, голландцев, – всех, чьи корабли стояли по соседству, в торговой гавани. Одни пили джин, другие – кофе, третьи – вино. Кожаные куртки, суконные плащи, штаны и рубахи из плотного полотна, высокие сапоги делали этих людей очень похожими друг на друга. И только фески и тюбетейки одних и помятые шляпы с отвисшими полями, выцветшими лентами, общипанными перьями на головах других позволяли догадаться, кто из моряков мусульманин, а кто – христианин.

Под стать собравшемуся в кабачке обществу была и подаваемая на столы снедь. Для неверных – «райя» – мясо, рыба и птица, пироги, подземные итальянские грибы – тартуфолли, свернутое в длинные тонкие трубочки тесто – макарони, обжигающий горло джин. Для сыновей пророка – сладкий сок винограда – пекмэз, вяленая баранина – пастырма, терпкая густая похлебка – чорба, круглый мягкий хлеб – сомун и тающая во рту пастила – лукум.

Остановившись у двери, Тимофей оглядел зал и заметил за одним из столов свободное место. Заняв его, он жестом подозвал худого черноглазого хлопчика, прислуживавшего гостям, – чухадара, и тот мгновенно подбежал к новому посетителю.

Перемешивая болгарские и турецкие слова, Анкудинов попросил вина, лепешек и мяса. Сидевший напротив него черноволосый бородатый здоровяк спросил Тимофея по-болгарски:

– Откуда ты, друг?

Тимофей за два года жизни в Болгарии, в Рильском монастыре выучился болгарскому языку почти как русскому и потому с радостью отозвался на приветливые слова. О себе сказал немного: жил когда-то в России, потом в Болгарии. Теперь вот – в Цареграде.

Бородач засмеялся:

– Вижу, что ныне живешь ты в Византии, по-вашему – Цареграде, а по-гречески – в Константинополе.

А о себе бородач сказал, что он капитан небольшой фелюги, принадлежащей монашескому братству, расположенному на полуострове Агион-Орос.

– Где это? – спросил Анкудинов.

– При попутном ветре два дня пути. Держись на закат от Дарданелл, оставляя справа по борту остров Самотраки. А прошел Самотраки – полпути позади.

– И что же это за монахи? – снова любопытствовал Тимофей.

– Православные, греческого закона, – ответил бородач.

– И много их?

– Двадцать монастырей на Агион-Оросе. Наш – болгарский – Хиландарским называется. Есть греческие, армянские, есть и русский – Пантелеймонов монастырь.

– Мать честная! – смеясь, воскликнул Тимофей. – Так ведь это ты мне про Афон рассказываешь!

– Верно, – улыбнулся бородач, – про Афон. На этой горе и стоят монастыри, да только наша-то гавань вдали от лавры и других обитателей, потому я тебе о Святой горе ничего и не сказал.

– Про Афон какой русский не знает! – воскликнул Тимофей. – А вот когда услышишь иное название, не сразу и в голову придет, что Агион-Орос и Афон – одно и то же.

Разговорившись, Тимофей и Христо – так звали приветливого болгарина – выпили не

одну корчагу вина.

Хорошо было на душе у Тимофея, легко: встретил он доброго человека, простосердного, без злобы и хитрости. И разговор был хорош, и вино по вкусу. Оттого, видно, и не заметил, как заснул – прямо за столом. Проснулся – нет Христо. Да и народу тоже почти никого не было.

Анкудинов расплатился и вышел из корчмы на вольный воздух.

Тучи клубились над Истамбулом. Сырой и холодный северо-западный ветер – караель – дул с Золотого Рога, жалобно и тоскливо посвистывая в паутине корабельных вант. Скрипели, покачиваясь, старые расшивы. Хлопали мокрые паруса, шуршал по стенам сараев дождь.

Тимоша почувствовал тупой, тяжелый удар по правому плечу. Увидел падающее назад небо, качающиеся мачты парусника, бледные лица двух лиходеев, застывших рядом.

Едва коснувшись земли, Тимоша вскочил и что было силы ударил ближнего к нему злодея в лицо кулаком. Слышно было, как лязгнули у бусурмана зубы, и он мгновенно рухнул наземь, выронив из руки медный пест, каким бабы толкут в ступе зерна.

«Ах, вот чем ударил меня, разбойник», – мелькнуло в голове у Анкудинова, и он потянулся за пестом, но, не успев разогнуться, почувствовал страшный удар ногой в лицо и упал ничком на мокрую землю, ничего не видя и не слыша.

– Ты, господин, шибко радоваться будешь, – говорил следующим вечером Зелфукар-ага дьяку Кузовлеву. – Сегодня ночью мои люди вора Тимошку в корабельной гавани подсадили, а подсадев – повязали.

– И где ж вор ныне? – воскликнул Кузовлев.

– В Семибашенном замке вор. Чуть-чуть не насмерть зашиб вор честного человека: четыре зуба выбил вор, и кроме того, лежит побитый им человек будто мертвый, руками-ногами не шевелит и говорить не может.

– Казнят подыменщика? – с надеждой спросил Кузовлев.

– Все в руках аллаха, – уклончиво ответил Зелфукар-ага и, подумав, добавил: – Найдете для судьбы казны довольно – казнят, а не найдете – будет сидеть в нятстве, пока не выкупят сообщники.

– Как, Степан Васильевич, найдем казну для такого дела? – спросил Кузовлев, обращаясь к недвижно лежащему Телепневу. Однако стольник молчал, будто не слышал.

Кузовлев наклонился, потряс больного за плечо. Телепнев молчал, оставаясь недвижимым. Дьяк пал на колени, приложил ухо к груди, руку – к устам. Встал, побелев лицом, держась дрожащей рукой за стену. Повернувшись в красный угол, где и икон не было, мелко перекрестился: – Преставился раб божий Степан, царствие ему небесное.

## **Глава пятнадцатая СЕМИБАШЕННЫЙ ЗАМОК**

Палачи и тюремщики Истамбула хорошо знали свое ремесло и деньги получали недаром. Вергуненка привезли в тюрьму ночью. Не тронув пальцем и даже оставив на шее золотой нательный крестик, провели по темным узким дворам, между стенами и бастионами не то фортеции, не то острога и остановились у высокой башни.

Когда Иван и тюремщики вошли в башню, Вергуненок увидел лестницу, ведущую, как в преисподнюю, во мрак подвала, и еще одну – наверх, в такую же непроглядную тьму. Однако узника не повели ни вниз, ни вверх. Скрипнула еще одна дверь, и Иван оказался в тишине и тьме отравленного миазмами воздуха. Совсем близко от себя он увидел светлую отдушину величиной с кулак и, протянув руки, шагнул вперед. Сделав четыре небольших шага, он уперся рукой в скользкую холодную стену.

Потоптавшись недолго, он определил, что его комора не более квадратной сажени, с отдушиной вместо окна, со зловонной деревянной кадью в углу у двери.

Комора была невысока – чуть приподняв руку, Иван коснулся потолка, тоже холодного и мокрого. Приложившись глазами к отдушине, Иван увидел крохотный кусочек неба.

Иван лег на голый каменный пол и долго не мог уснуть. Много вспомнилось ему в эти часы. Вспомнился и подвал в Чуфут-кале, представившийся теперь царским покоем.

Под утро в отдушину заглянули звезды – веселые и чистые. Иван засмотрелся на божьи светила и незаметно для себя заснул.

Проснулся он поздно – около полудня, поглядел в отдушину, но в ней, как и прежде, виднелись звезды, улетающие и гаснущие. «Как со дна колодца гляжу», – подумал Иван и вздохнул – толщина стены, в которой была пробита дыра на вольный свет, была никак не менее трех четвертей сажени.

Днем принесли ему кружку теплой, пахнущей тинной воды и черствую лепешку. Иван лег на пол и до тех пор смотрел на небо, пока не сморила его проклятая тоска. И он заснул, как в бездну провалился.

Очнулся Иван из-за жуткого, рвущего сердце крика. Спросонья Вергуненок не понял, кто кричит и откуда доносится этот нечеловеческий вой. Он метнулся к одной стене, к другой и вдруг догадался – кричат в подвале, под полом его коморы.

Иван заткнул уши пальцами, но вопль страдания, казалось, проходил сквозь каменные своды башни, сквозь все его тело, проникая в мозг. Неведомый страдалец то затихал, то кричал вновь, все более слабей, пока не умолк совсем. И тогда Иван Вергуненок – сорвиголова, для кого собственная жизнь давно поросла трын-травой, – опустился на колени и стал молить пречистую деву, заступницу всех сырых и болезных, за человека, тело которого рвали на части турецкие заплочных дел мастера. Он молился, и плакал, и со страхом ждал, что из-под пола снова раздастся леденящий кровь стон. Но все было тихо, и Иван поверил чуду – мать Христова, сама схоронившая замученного и истерзанного сына, услышала его молитву и отвела руки истязателей от страдающей плоти несчастного узника. И, подтверждая это, растворилась дверь – и два тюремщика бросили к ногам Ивана бесчувственное тело. Дверь захлопнулась. Иван подполз к окровавленному человеку, от которого пахло мочой, паленым волосом и горелым мясом. Крупное тело показалось Ивану неживым.

Глянув на обрывки шаровар и чудом уцелевший на голове седой оселедец, падавший на высокий лоб, Вергуненок подумал: «Запорожец. Ей-же-ей запорожец!» И в это мгновение грудь лежащего слабо колыхнулась, и вслед за тем он едва приоткрыл глаза. Страх и мука были в глазах запорожца, ничего, кроме смертной усталости, горя и ужаса. Долго-долго смотрели два узника друг на друга. Сквозь прорезь красной шелковой рубахи запорожец увидел на груди у Ивана нательный крест и молча заплакал. Он лежал не шевелясь, глядел на маленький крестик, а слезы катились и катились по его скулам и по шее, оставляя светлые борозды на грязном, покрытом кровью и копотью лице.

– Убей меня, православный, – прошептал запорожец, и Иван подумал, что человек этот от великих мук лишился ума. – Убей меня, – повторил он и попытался приподняться, но не хватило сил, и запорожец снова уронил голову на пол.

Иван сел подле истерзанного, положил его голову к себе на колени и проговорил участливо и тихо, будто ребенку или девице:

– Лежи, страдалец, лежи. Никто теперь не тронет тебя. Минулось все, что было. Теперь лучше будет.

– Не будет лучше, хуже будет, – еле шевеля бескровными губами, прошептал запорожец. – Они мне с левой руки щипцами ногти посрывали да после того палец за пальцем в кипящее масло поопускали.

Иван взглянул на левую руку запорожца, черную, раздутую, и почувствовал, как сердце сначала прыгнуло к самому горлу, а затем сразу же упало вниз.

– А завтра, – прошептал запорожец, – они мне то же с правой рукой сделают. И если завтра не скажу им правду, то раскаленными щипцами они меня всего на мелкие части порвут.

Холодный пот прошиб Ивана. «Что же с людьми делают, ироды, бусурманское племя, дьяволово отродье», – думал Вергуненок и не знал, что сказать, что делать.

– О чем же они тебя пытаются? – спросил Иван.

– О том я только одному богу скажу, – проговорил казак и замолчал, закрыв глаза.

Всю ночь Вергуненок не сомкнул очей. Утром, когда заскрипели двери и послышался шорох шагов и шум голосов, запорожец еще раз сурово и властно произнес:

– Убей меня, православный. Христом тебя молю. Дай мне помереть легкой смертью. Не допусти, чтоб тело мое живое в куски изодрали.

– Да как же я могу?! – с болью, какую он никогда дотоле не изведывал, простонал Вергуненок. – Как же я товарища моего, такого же, как и сам, казака, ни за что ни про что жизни решу?! Нешто я кат?

– Пожалеешь еще, да поздно будет, – с бесконечною тоской проговорил запорожец и снова замолк.

Запорожца выволокли из коморы после полудня, и Иван, как только услышал из-под пола его крики и стоны, ох как пожалел, что не выполнил просьбу казака!

И снова молился Иван пречистой деве, и плакал, и бил кулаками в дверь, и кричал, и скрипел зубами.

И снова приволокли запорожца в комору, только теперь он уже не открыл глаз, не сказал ничего, только шептал нечто несвязное и среди ночи совсем затих. Отлетела казацкая душа поведать богу то, о чем не сказал он своим мучителям.

И остался Иван один. Да ненадолго. Чуть ли не каждый день втаскивали к нему из подвала истерзанных людей, и они либо рассказывали все, о чем палачи дознавались, и искалеченные шли на казнь, либо молча умирали.

А однажды измученный палачами казак подполз среди ночи к Ивану и сказал:

– Нету здесь попа, и исповедать меня некому. Так хоть ты, православный, послушай перед смертью. Июда я, христопродавец. Не стерпел я муки, выдал товарищей. Рассказал проклятым, как подвесили меня над огнем, что ладят казаки струги, пойдут воевать по весне Трабзон и Синоп. И со второй пытки сказал, что ладятся те струги по всему Дону, и в Воронеже на реке Вороне, и в Ельце. А с третьей пытки сказал, что пойдет стругов сотни три или четыре. И тогда мучить меня перестали, сказали, что будут держать в яме до весны, и если я соврал, а казаки из гирла не выйдут, то сожгут меня в пепел, а если правду сказал, то пошлют на галеры.

Казак заплакал. Сквозь слезы говорил сбивчиво:

– Сколь же теперь христиан из-за меня погибнет? Вышлют турки к гирлу флот и потопят товарищей моих. Как же я буду после этого жить?

Иван не знал, что ответить. Сказал резко:

– Что теперь сделаешь, ежели уже обо всем довел? Спи.

А когда утром проснулся, увидел, что удавился казак.

В коморе, где не за что было зацепиться и ногтем, для того чтоб найти способ самому повеситься, нужно было измыслить нечто совершенно диковинное. И самоубийца придумал, как лишиться себя жизни. Он порвал на ремни рубаху и портки, свил из полос длинную, прочную веревку и сделал на концах ее две петли. Затем он снял со стоявшей в углу зловонной кади лежавшую сверху доску и продел ее в одну из петель. Просунув доску в отдушину, что была в полуподвале башни вместо окна, казак повернул доску так, что она легла поперек отдушины, превратившись в перекладину виселицы. После этого он сунул голову в петлю и, поджав ноги, повесился.

А утром явился в комору к Ивану высокий худой татарин и спросил по-русски:

– Будешь бусурманиться, царевич Иван?

И Иван, похолодев от смертного страха ожидавших его мук, ответил:

– Не буду.

– Тогда еще подумай, – сказал татарин и вышел.

А после того как татарин ушел, открылась дверь и в комору не внесли, а завели мужика

лет тридцати, темно-русого, разноглазого, с поотвислой нижней губой. Одет был мужик нарядно, и хотя сквозь белый плат, повязанный вокруг головы, проступала кровь, ужаса и боли в глазах у него Иван не увидел.

Шагнув в комору, новый тюремный сиделец поглядел бесстрашно и спросил по-русски громко, как будто не узником был, а вольным человеком:

– Кто таков?

Иван, на правах хозяина, отмучившегося в башне полмесяца, осадил наглеца:

– В избу войдя, здороваешься тот, кто порог переступает. Ай не христианин?

Разноглазый смущенно улыбнулся и, шагнув в комору, проговорил примирительно:

– Ну, будь здоров, хозяин. Изба твоя хоть и не велика, да крепка. Поживу у тебя, пока не выгонишь.

Иван, не видевший улыбки с тех пор, как оказался в Семибашенном замке, удивился, и на дне души колыхнулось у Вергуненка что-то хорошее.

– Проходи, коль пришел, хоть и зван не был, – улыбнулся Иван в ответ. – Как звать-величать прикажешь?

– Князь Иван Васильевич Шуйский.

Принеся великие и страшные клятвы никому и никогда не открывать истинного своего происхождения, Анкудинов и Вергуненок признались друг другу, что один из них казак, а другой стрелецкий сын. Однако решили перед турками стоять на прежнем и царское свое происхождение подтверждать до конца. Тимофей даже помог своему новому товарищу, рассказывая обо всем, что удалось узнать и запомнить в книжнице Варлаама.

А Вергуненок, хотя и не был столь грамотен, как Тимоша, – всего лишь умел читать и писать, – поразил Анкудинова прирожденным умением заставить других уверовать в то, что он – лишенный престола царевич.

С тех пор как Анкудинов появился у Вергуненка, в комору перестали таскать битых и пытаных, а затем и вообще перевели их обоих в другую башню, надев на Тимошу халат и чалму, а Ивана оставив в прежней одежде.

Новая комора оказалась больше и светлее старой. На полу лежали вытертые ковры с засаленными подушками. Да и кормить их стали лучше.

Через некоторое время пришел к ним почтенный Рахмет – маалим и как ни в чем не бывало стал снова заниматься с Тимошей языками турецким и арабским и читать Коран.

Вергуненок, присоединившись, турецкому языку учился с удовольствием, но на Коран даже не смотрел, почитал за грех.

А когда оставались два самозванца наедине, то только о том и говорили, как им из неволи уйти. И решились они на превеликую дерзость, точно зная, что если замысел их удастся, то, может быть, окажутся они за воротами замка, а если не удастся – не сносить им головы. И, решившись, стали они ждать весны, а пока без конца обсуждали задуманное и еще спорили о том, что станут делать, вырвавшись на свободу. И оказалось, что, хотя оба они царские дети и оба одного и того же хотят – взбунтовать Московское царство от края до края, каждый из них совсем по-разному мыслит о сем великом деле.

– Да пойми ты, голова-шабала, – говорил Анкудинов Вергуненку, – царя свалить могут только дворяне, кои разорены поборами ради ратной службы, малые начальные люди, обобранные дьяками да воеводами, стрелецкие десятники да сотники, что из-за безденежья и бескормицы готовы хоть сейчас к бунту свои полки подбить, попы, обретающиеся в скудных приходах, купцы средней руки да городские мастера, невесть за что несущие в государеву казну подати.

– Ох, кого пожалел, князь Иван Васильевич! – с издевкой отвечал Вергуненок. – Дворян, да писцов, да попов, да купчишек! Эки страдальцы – с голоду опухают, голы-босы меж двор скитаются!

– А ты, Иван, зубы не скаль, то не шутейно тебе говорю – дельно, взаправду. Посуди

сам: сидит на земле помещник – не князь, не боярин, воинской службы человек. И дана ему деревенька или починок, а в той деревеньке десяток мужиков, ну, пускай два десятка. И должны те мужики помещника, да жену его, да детишек прокормить-пропоить, одеть-обуть. А ну как у помещника детей не один-два, а пять либо шесть?

– А у мужиков что же, ни жен, ни детей нет?! – взрывался Вергуненок.

– Ты погоду, погоду, – отвечал Анкудинов, – пока не о том речь, дойдем и до этого. Ты меня до конца послушай.

– Ну-ну, – говорил Вергуненок и приподнимал брови, скучая.

– Так вот, – продолжал Тимоша. – Поместник, скажем, сам-сем, а мужиков у него двадесать. И хорошо, коли сам помещник с плугом ходит да и урожаем бог милует. А ну как помещник сей тунеядец и бражник? Да неурожай, да ему же и на войну идти? А на смотр надобно ему ехать конно и оружно, и не в тягилее, а в кольчуге, в шеломе и на коне добром. А где ему все сие взять, когда трех урожаев не хватит, чтоб добре ему одному на войну снарядиться?

И приезжает тот помещник на государев смотр, а там любой пищик, на него глядя, зубы скалит, и срамят его бояре да думные дьяки и лают, а то и бьют на виду у иных многих. Сам я не однорадь зрел: сидит такой воин на кляче, в латаном тягилее, с дедовским мечом на бедре, а боярин, что смотр учиняет, кулаками перед носом его машет, бороною трясет, смотрит зверообразно и орет: «Заворовался, тать! Захребетником в деревеньке сидишь! Государевой службы не блюдешь! Бражничаешь да ерничаешь, сучий сын!» А передохнув, пужать начинает: «Собью тебя, вора, со двора, иного – доброго человека – на землю твою посажу, а тебя в яму метну, покуда протори государю не выправишь!»

И сползает помещник с коня, бухается боярину в ноги: «Не погуби, господине, не вели казнить, вели миловать! Вот те крест святой, приеду вдругорядь в кольчуге и с самопалом и на коне добром».

Уезжает со смотра помещник, а каково на сердце у него? Каково на душе? Живым бы того боярина сжевал и собакам на прокорм выплюнул.

– Ох, бедный помещник, ох, несчастный! – скоморошничал Вергуненок. – А вернется в деревеньку – семь шкур с мужиков спустит, а к следующему смотру явится и конно и оружно.

Тимоша сказанное Вергуненком пропускал мимо ушей.

– Ты дале слушай, Иван, – продолжал Анкудинов. – Возьми пищиков, да подъячих, да ярыжек, да иных малых приказных людей, что по всему царству сидят.

– Как пауки сидят, – перебивал его Вергуненок.

Тимоша отмахивался:

– Много ли подъячих видал? Грабят и приказных людей большие люди – бояре, да думные дьяки, да окольничьи. И даже более того скажу: есть и среди ближних царю людей некоторые недовольные – иные себя обделенными считают, другим не в честь места дадены, третьи немецкие государства почитают порядочными против нашей бестолочи да сумятицы, из-за того и Думу и самого царя полагают неспособными государственные дела править.

И в войсках – то же самое: сладко пьют да едят лишь большие воеводы да полковники, а простые ратники – стрельцы, пушкари, воротники, затинщики и десятники их, а то и сотники – по два-три года корма от царя не получают и живут всякими промыслами – кто огородничает, кто пасеку держит, кто торговлишку ведет. А злость на царя и бояр тоже впрок копят.

А попы, что в нищих селах приходы держат? Да их порой от простых мужиков не отличишь: они и землю пахут, и сено косят, и стога мечут. А глядя на иерархов, тучных да в нарядные ризы облаченных, нешто не понимают они, кто во всем этом виноват?

Вергуненок кряхтел, скреб потылицу, усмехаясь, крутил головой.

– А возьми купцов или ремесловых людей, – разве они с чистым сердцем отделяют от плодов рук своих немалую долю неведомым им тунеядцам, что в праздности всю жизнь

проводят возле царя?

– Ну, ты купцов с ремесленниками не равняй, – возражал Вергуненок. – Ремесленный человек с утра до ночи кует ли, пилит ли, ладит ли что, а купец от трудов его живет. Покупает у рукодельца за полтину, а продает за семь гривен.

– Это если его по дороге не ограбят али не убьют до смерти, – стоял на своем Анкудинов. – Да мыт с него возьмут, да лошадей ему кормить, да за поклажу амбарное платить, а если по воде товар везет, то возьмут и с плота, и причальное, и побережное, а со скота – и роговое, и пошерстное. И хоть невелик каждый такой побор, а собери все вместе, так и не расторгнешься.

Вергуненок слушал и чуял в словах Тимоши правду, ибо знал: все это новый его товарищ не от чужих людей слышал, не в книгах читал – видал собственными глазами и прочувствовал собственным сердцем.

Говорил Тимоша, и жизнь его вставала перед глазами: видел он и дьячка Варнаву, и владыку Варлаама, пищиков из воеводской избы и князя Сумбулова, дядю Кости Конюхова, Ивана Бычкова, сладившего владыке дивный часозвон, и иных многих, кого встречал на жизненных путях и перепутьях. А более всего утвердил его в мысли, что сбросить царя могут только вольные люди – дворяне, купцы, посадские и паче всех недовольные царем вельможи, – Адам Григорьевич Кисель. Он рассказал ему, что без вельмож и дворян Речи Посполитой король не смеет и пальцем пошевелить. А когда увидел Тимоша короля Владислава, одетого в темное платье, без сияния камней, – уверовал, что и на Руси только вольные сословия могут не просто утеснить царя, а и с трона сбросить. А заместо прежнего – самодержавного, принуждающего, неволящего – изберут вольные люди нового царя, Ивана Васильевича Шуйского, который бы решал все соборно и никого ни к чему неправдою и удручением не принуждал.

А Вергуненок все это понимал по-иному. Хоть причина у него была та же, что и у Тимофея, – его собственная жизнь, только совсем по-иному прожитая. Сколько себя Вергуненок помнил, колотили его, ломали, унижали и смиряли, как могли. И сколько себя Вергуненок помнил, бил он своих обидчиков тоже как только мог, и крепился, и не сгибался, и стоял на своем до конца. А били его и отец, и мать, и хозяева, у которых он сызмальства батрачил, и сотники, и кошевые, и куренные, и полонившие его крымцы, что гнали Ивана, точно скотину, накинув на шею аркан и подхлестывая нагайкой. Потому-то в каждом, кому дана была власть – по праву ли рождения, по воинскому ли старшинству, по божьему ли соизволению, – видел Иван врагов рода человеческого. И почитал таковыми и зловредных родителей, и жестоких начальников, и несправедливых священников. Оттого-то, споря с Тимофеем, говорил:

– Обо всех ты сказал, Тимофей. О самых главных забыл: о страдниках, что хлебом весь мир кормят, да о казаках, что весь тот мир саблей и телом своим боронят. Они-то, Тимофей, и скинут бояр да царя, а все иные этому делу не подмога. Я почему себя царевичем объявил? Знал, что иначе сдохну в Чуфут-кале, живым в каменную могилу попав. Знал, что только царевичем выпустит меня на волю хозяин мой. А когда хан бахчисарайский в то поверил, стал я все более голос крови царской в себе чувствовать. И, чуя это, стал я по-иному на людей глядеть. Да только как? Страшился увидеть всех рабами, холопами, кабальной сволочью. Хотел видеть возле себя вольницу, свободных людей, смелых да гордых. В мечтах моих видел себя казацким да мужицким царем, а для мужиков да казаков все те людишки, о которых ты баил, – не более чем вши да клопы на теле народном, кроме разве ремесленных.

Тимоша, взрываясь, кричал:

– Когда бывало, чтоб царский престол сокрушали пахотные мужики вместе с такими же сермяжниками, кои, сохи пометав, самоуправно называли себя казаками да подались в степь воровать и грабить?

– А когда царей купчишки да подьячие с трона скидывали?! – кричал Вергуненок.

– Сколь раз бывало! И Федора Годунова, и Дмитрия – родимого твоего батюшку, – со

злым лукавством кричал Тимоша, – они же и убили!

– А заводчиком в том деле твой родной дедушка был, – не оставаясь в накладе, отвечал Вергуненок.

И сколько бы ни спорили Иван с Тимофеем, до одного они не могли договориться: что есть истина и как ту истину добыть-отыскать. Споры эти кончались по-разному: иной раз смехом, а иной раз дракой. Тюремщики, слышав шум, открывали двери и, подзадоривая драчунов, восклицали:

– Машаллах! Лахавлэ! – А затем сообщали чорбаджи Азиз-бею, начальнику тюремной стражи, что двое царевичей-урусов опять побили друг друга. Чорбаджи шурился, как сожравший барана барс, крутил пушистые усы, улыбался:

– Машаллах! Два гяура выбивают друг из друга пыль! Пусть сидят вместе дальше, скапливая яд, подобно скорпионам весной.

А скорпионы ждали весны, чтобы свершить задуманное...

Тимофей постучал в дверь робко, чтобы не разбудить спящего в конце коридора стражника. На стук отозвался другой, который, бодрствуя, шастал мимо обитых железом дверей, заложенных коваными щеколдами.

– Что нужно? – спросил неусыпный страж тихо, тоже не желая будить спящего товарища.

– Позови хакима, ага, – попросил Тимоша, – сильно заболел мой сосед.

– Какой ночью хаким? Спят все. Утром придет чорбаджи Азиз-бей и скажет, что делать.

– Тогда хоть воды принеси, ага. Голову ему смочу – горит у него голова.

Страж потоптался нерешительно и ушел. Вскоре дверь тихонько приотворилась и беспечный капы-кулу вошел в камеру. За дверью, на серой стене коридора, дымно полыхали редкие светильники. И хотя горели они тусклым желтым пламенем, все же погруженная во тьму камера показалась стражнику глубоким, закрытым сверху колодцем. Стражник сощурил глаза и протянул вперед наполненную водой глиняную кружку...



Когда он очнулся, все еще было темно. Капы-кулу почувствовал, что он лежит совершенно голый, во рту у него какая-то тряпка – пырты, а руки и ноги крепко обмотаны веревками. Причем руки завернуты за спину и привязаны к приподнятым лодыжкам. Капы-кулу с трудом различил дверь и стал медленнее улитки подвигаться к ней. Оказавшись на полу рядом с дверью, он вдруг понял, что даже постучать ему нечем – так ловко взнуздали и стреножили его проклятые гяуры. Тогда, подкатившись вплотную к дверям, он заплакал от унижения и обиды и стал стучать по железу большой бритой головой, на которой неверные собаки не оставили даже тюрбана.

Их поймали под утро, по дороге в Бюйюкдере, откуда они намеревались отплыть на Афон. Делибаши из береговой охраны, не найдя у пойманных ничего, кроме небольшого золотого крестика, прежде всего их избили и, оковав в железа, повели к менсугату-баши – начальнику морской пограничной стражи. Менсугат-баши отправил беглецов в Семибашенный замок, так как его успели известить, что ночью оттуда бежали двое урусов, облачившись в одежду правозверных и едва не убив тюремного стража.

Когда золотое солнце взошло над садами и дворцами Истамбула, народ, собравшийся на площади перед дворцом султана, видел, как Сейфуджи-ага, младший помощник палача, одним ударом отрубил голову черноглазому гяуру, а второго гяура – с разноцветными глазами и отвисшей от страха нижней губой – шесть раз по двенадцать ударил палкой по пяткам и, оковав в тяжелые цепи, сбросил на телегу, стоявшую под помостом.

Побитый палками гяур лежал недвижно, закрыв глаза, и не видел ни солнца, ни синего неба, ни зеленых платанов и кипарисов, что стояли по обеим сторонам дороги, ведущей от помоста возмездия к Семибашенному замку.

Больше года просидел Тимофей Анкудинов в земляной яме, в тяжелых цепях, с толстой деревянной колодкой на шее. Стал он худ, грязен до синевы, оброс волосами и более

походил на лешего, чем на человека. А с ним рядом томились и умирали люди, давно уже потерявшие всякое подобие человеческого образа. Они дрались друг с другом, как голодные псы, за кусок лишней лепешки, за гнилое яблоко, за глоток воды.

Он же с самого начала понял, что уподобиться им – значит умереть. И он ел и пил только то малое, что давали стражи, не двигаясь, когда начиналась свалка вокруг объедков, брошенных каким-нибудь сердобольным прохожим. А по ночам, когда несчастные узники затихали, он лежал с закрытыми глазами и вспоминал. Он лакомился хлебом мудрых – притчами, проповедями, пророчествами.

«...Сердце мое трепещет во мне, и смертный ужас напал на меня. И я сказал: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился. Далеко удалился бы я и оставался в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря и от бури.

Я погряз в глубоком болоте – и больше не на что встать, вошел в глубину вод – и быстрое течение увлекает меня. Я изнемог от вопля; засохла гортань моя. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей; враги, преследующие меня, несправедливо усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать...

Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей.

Я пролился, как вода, и кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось как воск и растаяло в груди моей. Сила моя иссохла, как глиняный черепок, язык мой прилип к гортани, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги».

Но не только мудрость печали и песни скорби приходили на память Тимоше. Была и другая мудрость – мудрость надежды и веры.

...8 августа 1648 года корпуса янычар, выйдя из казарм с перевернутыми в знак неповиновения котлами, низложили султана Ибрагима, а еще через десять дней князь гнева – главный палач империи османов – удавил бывшего падишаха вселенной ремнем из змеиной кожи. Султаном был провозглашен восьмилетний сын Ибрагима, возведенный на трон под именем Мухаммеда Четвертого, а правителем государства стал руководитель заговора капудан-паша Кападжилар.

Новый султан велел выпустить на волю всех заживо погребенных в ямах, подвалах, застенках и коморах Семибашенного замка.

В толпе призраков за ворота крепости вышел и пожилой жилистый мужчина, темно-русый, желтолицый. Никто не сказал бы, что ему всего лишь тридцать один год. Отойдя от ворот замка, он постоял немного, запрокинув голову и подставив лицо солнцу, а затем медленно повернулся и осторожно, будто шагал босыми ногами по битому стеклу, чуть пошатываясь, пошел к Босфору.

## Глава шестнадцатая ФЕОДОСИЙ

Христо подобрал еле живого Анкудинова в гавани. Всю дорогу до мыса Агион-Орос Тимофей почти недвижно лежал в тесной каюте капитана, и тяжкие думы непрерывною чредою накатывались одна на другую. Он вспомнил, как сожгли юроды их избушку, как мытарились они с матерью на Лешачьем болоте, как бежал он из Москвы, преследуемый смертным страхом погони и казни, как измывались над ним в Буджакской степи пьяные до беспамятства волохи. Он вспомнил Семибашенный замок, истерзанных палачами узников, гибель друга своего Ивана, собственные свои муки на базарном помосте Истамбула и, вспомнив все, задумался. «Почему, – думал Тимоша, – не помогают мне ни ум, ни сноровка? Почему, напугавшись неведь чего, выгнал нас из Варшавы пан Кисель? Почему не захотел держать на своем дворе Азем-Салих-паша? Почему казнили Ивана Вергуненка, хотя Иван мог принести туркам немалую пользу?» Думал и не находил ответа.

– Собирайся, брат, – прервал невеселые его думы Христо. – Афон вот он – рукой подать.

Тимоша слабо улыбнулся:

– Мои сборы – онучи да оборы. Немного ныне у меня добра, Христо.

– Ничего, брат. У нас говорят: «Кого бог полюбит – нищетою възыщет». Так-то и к разбойникам попасть не страшно: что с голого возьмешь?

– На Афоне – Святой горе – какие ж разбойники?

– Э, брат, этого я тебе не скажу, сам скоро узнаешь, – засмеялся Христо.

– А знаешь, брат, мне ведь ни в один монастырь и показываться нельзя. Словят меня злодеи мои – и прощай воля! Нет, не воля – жизнь прощай.

– А куда же тебе деваться, бедовая твоя голова?

– Возьми меня к себе на корабль, Христо. Я тебе всякую работу стану делать.

Христо задумался. Поглядел на Тимофея – худого, серолицего, – сказал ласково:

– Ты, брат, ныне ни к какой работе не пригоден. Поживи месяц-другой на берегу, на вольном воздухе, под солнышком, у моря, а там почему бы и не взять тебя в работу?

– Будь по-твоему, – сказал Тимофей.

А что ему еще оставалось?

Христо повел Анкудинова по узенькой каменистой тропе в горы. Они долго шли молча. От ароматов теплой земли, высоких нетронутых трав, деревьев и кустов, покрытых диковинными душистыми плодами, у Тимофея кружилась голова и останавливалось дыхание.

Далеко внизу осталась фелюга Христо, и совсем маленькие лодки рыбаков, и белая россыпь чаек – таких крохотных, будто кто-то сыпанул щедрой ладонью серебряную рыбу чешую и она поплыла, покачиваясь на волнах, посверкивая на солнце.

Христо присел на ствол большого старого дерева, лежавшего поперек тропинки.

– Старец, к которому тебя сведу, – сказал Христо, – живет один, в пещере. Пришел он на Афон из Литвы, попросился жить в ваш, русский, Пантелеймонов монастырь, но не прожил и полугода: изгнала его братия за гордость и мудрствования.

– И что же стало со старцем потом? – спросил Тимоша.

– Сначала стал он жить у рыбаков, а потом ушел в горы, занял пещеру, в какой жил до него схимник-болгарин, да незадолго до нынешнего лета помер.

– А как ты познакомился со старцем? – снова спросил Тимофей.

– А я к болгарину-схимнику часто хаживал. То рыбы ему приносил, то овечьего молока, то брынзы. Когда узнал, что схимник помер, пошел вместе с другими многими хоронить его. А еще через сорок дней помянуть решил и отправился к пещере. А в пещере, гляжу, новый схимник живет. Покойный отшельник – отец Георгий – белый был, а перед смертью волосы его от старости даже желтеть начали. Тих был, голубоглаз, нетороплив и ко всем на свете добр. А как на нового старца поглядел – страшно стало. «Никак, – думаю, – гайдук или атаман какой пришел на Афон грехи замаливать». Ростом высок, волосом черен, глазами страшен. И хоть и опускает очи долу, а как взглянет – холодно становится.

– А звать его как? – спросил Тимоша.

– Отец Феодосий.

Когда Тимоша и Христо пришли к пещере, они увидели распахнутую дощатую дверь, в прорубленном окне не было ни пузыря, ни слюды.

В пещере не оказалось ни икон, ни распятия. Стояли стол да скамья, у стены – горшки да ведра. На столе глиняный шандал, в нем оплывшая восковая свеча. Рядом – медная чернильница и кучка гусиных перьев.

У входа в пещеру лежало бревно. Тимоша и Христо уселись спокойно, сняли онучи, вытянули уставшие ноги.

Вскоре из леса вышел некто – худой, прямой, в старой черной рясе до пят.

– Он, – сказал Христо.

Анкудинов, не сводя глаз, следил, как быстро и молодо шел к ним черноризец. В одной руке он нес корзину, в другой – березовый туес. Подойдя близко, поставил корзину и туес наземь, сложив руки на груди крестом, низко поклонился.

Тимофей и Христо поднялись с бревна, в ответ поклонились еще ниже.

– Благослови, отче, – пробормотал Христо и, склонив голову, шагнул вперед.

Старец сказал резко:

– Недостоин есмь благословлять. – И взглянул на Тимофея, будто к стене пещеры гвоздем прибил.

«Не может того быть! – подумал Тимофей и как во сне или в каком наваждении поглядел в глаза схимнику. – Он, черноризец, вологодского воеводы собинный друг!»

Старец глаз не отвел и в лице ничуть не переменился.

«Не узнал! – почему-то обрадовавшись, подумал Тимоша. – Слава богу, не узнал».

Феодосий согласился оставить Анкудинова у себя. Так и зажили они вдвоем в пещере над синим Эгейским морем, в которое еще до рождества Христова бросился несчастный греческий царь Эгей, узнав о смерти любезного своего сына Тесея.

Феодосий был молчалив и больше спрашивал, чем говорил о чем-либо. Тимофей, не сознавшись сразу, что угадал с первого взгляда, кто перед ним, чем дальше, тем больше не решался назвать себя и, чтобы не запутаться, отвечал коротко и односложно. Он сказал, что попал к туркам в плен и сумел бежать, а родом сам из Москвы, однако родителей своих не знает. Сказал, что проживет здесь месяц-другой и пойдет в Болгарскую землю, где в Рильской обители ждет его верный друг по имени Константин. Феодосий ни о чем более Тимошу не расспрашивал. Однако через несколько дней Феодосий понял, что в пещере его свила себе гнездо птица не простого полета. Впервые такая мысль мелькнула у старца, когда сидели они вдвоем на бревне, глядели на большие яркие звезды и Тимофей, водя перстом над головою, раскрывал Феодосию тайны звездочтения.

А еще через три дня принес Феодосий полный туесок взваренного на малине меда и, греховно хохотнув, достал из-под полы баранью ногу, завернутую в чистую холстину.

Поближе к ночи неподалеку от пещеры святые отшельники запалили костер и, настругав свеженины, стали печь ее на углях, запивая крепкой и духовитой медовухой.

От слабости, от долгого к вину воздержания Тимофей опьянел после нескольких глотков дьявольского варева. Он вдруг решил напугать Феодосия – шутейно, не всерьез, – показав себя магом и чародеем.

– А что, брат Феодосий, хошь по глазам твоим правду о тебе скажу, как в книге прочитаю?

– А ты грамотен не только по звездам, но и по глазам читать? – приподняв густую бровь, шутливо спросил Феодосий.

– А то ты сейчас узришь, – ответил Тимофей и, пробормотав нечто невнятное, тарабарское, зашептал таинственно, глядя прямо в глаза Феодосию: – Вижу град деревянный и дома деревянные же. Вижу гридницу, полную дыма и чада. Вижу пьяниц, и сквернословов, и непотребных женок простоволосых и играющих очами. Вижу некоего мужа – ликом скверного, ростом низкого, с бороною скопца. Держит муж кружку серебряную, а на кружке надпись: «Век жить, век пить!» – Тимоша сощурил глаза, будто вчитывался, и полупшепотом произнес: – И еще вижу надпись на ендове той: «Пить – умереть, не пить – умереть; уж лучше пить да умереть!»

Феодосий молчал. Прикрыв ладонью страшные глаза, смотрел на Тимофея сквозь персты неотрывно. Голосом еще более таинственным, протянув над огнем руки, Тимоша, прикрыв глаза, произнес:

– Вижу мужа неказиста, в мужицком рядне, в лаптях и сермяге. Мечется муж промежду крестов на кладбище ночью. Вижу и тебя, брат Феодосий. Вижу. Однако и уже не виден ты мне – проваливаешься сквозь землю!

Феодосий побелел лицом, как подломленный упал на бок, безумными глазами зашарил

по лицу Тимоши.

– Кто ты, сатано?!

– Царевич я. Иван Васильевич Шуйский.

Не узнал Тимофея Анкудинова старец Феодосий, сколько ни всматривался в лицо его, сколько ни вслушивался в его голос. Да и откуда было узнать ему в изможденном и оборванном, обросшем бородой тридцатилетнем беглеце из турецкой тюрьмы безусого мальчика, встретившегося Феодосию пятнадцать лет назад за столом у вологодского воеводы?

И долго-долго глядел в лицо спящему царевичу схимник Феодосий, впервые в жизни воочию увидев чудо проникновения в тайну времени.

– Как прикажешь звать тебя ныне? – спросил Феодосий, когда ночной его собеседник открыл глаза. – Тимофеем или же Иваном Васильевичем?

Анкудинов помолчал, припоминая минувшую ночь. Вспомнил не все, но многое. Сказал строго, согнав с лица и тень улыбки:

– Царевич я. Василия Ивановича Шуйского внук. Московского престола законный хозяин.

И, сев на лавку, стал рассказывать Феодосию то, что уже слышали от него ранее польский канцлер и турецкий визирь.

Феодосий слушал молча, опустил глаза. Когда Тимоша рассказал об освобождении из Семибашенного замка и о том, какие сомнения одолевали его на фелюге, плывшей к Афону, Феодосий, хрустнув пальцами, сказал:

– Это, царевич, хорошо, что привела тебя судьба ко мне, смятенному умом и сердцем. Ты прочитал в книге судьбы моей то, что от простого смертного закрывает пелена времени. Я же расскажу тебе, почему ни ум твой, ни сноровка не помогли тебе получить прародительский престол. Слушай.

Первое, что помнил Феодосий из жизни своей, была темная ямина с малым пятном света где-то вверху, кислый запах прогнивших лохмотьев и безносые, безглазые, беззубые лица нищей братии.

Потом в памяти Феодосия появились дороги и паперти, заброшенные овины и часовни, черные обезлюдевшие избы и лесные скиты, по которым гнала злодейка-судьба маленького, вечно голодного поводыря артели нищих-слепцов, больше похожей на ватажку разбойников.

Потом он вспомнил острог и первый правож батогамы – вполсилы, из жалости к мальчишечьим его годам. И хоть знал он пословицу: «Батожье – дерево божье, терпеть можно», решил: более ни батогов, ни бродяжьей нищенской жизни не потерпит. И в первую же ночь, не долежав на рогоже до утра, ушел Феодосий от товарищей своих искать счастья-истины.

Пришел он на берег Студеного полночного моря и на утлой ладье с таким же странником поплыл к затерянной обители, построенной вероучителями Зосимой и Савватием на Соловецком острове. Невесть сколько мотало ладью по морю. И уже прочитали Феодосий и его спутник отходную молитву и приготовились к смерти, как ветер стих и совсем рядом увидели они землю.

Творя молитву за чудесное спасение, подгребли странники к берегу и упали без сил на чахлую траву, под ветки низкорослых берез.

Это оказался остров Малая Муксалма. А неподалеку от него, на другом острове – Соловецком, – у светлого Святого озера стояла и обитель.

Феодосия и спутника его, Харитона, взяли в монастырские трудники и определили в дубильню, делать для братии кожи – на сапоги, на тулупы, на полушубки.

В обшитых тесом ямах в растворе дубовой коры мокли по месяцу и более коровьи, овечьи, козьи, собачьи, медвежьи и волчьи шкуры. Дух в дубильне стоял такой, что и с

острожным сравнить было нельзя. В чаду и дыму, в шуме мельниц, крошивших на мелкие щепы дубовую кору, стал Феодосий с тоской вспоминать полынные ветры степи и смолистый дух сосновых лесов.

Пробовал Феодосий подойти к старцам, что работали в книгописной мастерской, пробовал между воскресными службами заговорить с иеромонахами о счастье и об истине, но те либо молча отходили от пропахшего кислыми кожами трудника, либо обидно смеялись. И тогда ушел Феодосий из Соловецкой обители и пошел по Руси от монастыря к монастырю и от города к городу. И, скитаясь так без малого десять лет, увидел он и услышал столько, сколько иной не узнал бы и за сто.

В Соловецком монастыре Феодосий научился читать и не упускал ни единой возможности полистать любую из попадавшихся ему книг.

Он увидел, что в книгах столь же мало согласия, сколь и в жизни. Он понял также, что почти все книги – сами по себе, а жизнь – сама по себе. И он стал искать ту главную книгу, которая объяснила бы, что вокруг происходит и почему все так получилось.

Кто завертел волчком краски и ароматы цветов, людское счастье, крики раненых зверей, утренний благовест, свет солнца, плач ребенка, тепло земли и мертвенное бесплодие камня?

Кто завернул в лохмотья одних, надел мантии на плечи других? Кто отправил на костер и плаху рожденных в царском тереме и возвел на трон родившихся в поле? Он спрашивал и искал, читал отцов церкви и ересиархов, вдумывался в смысл гадательных книг, прикоснулся к алхимии и астрологии. И, преуспев в последней, стал знаменит на всю Москву.

Гнилью и тленом дышало древнее византийское благочестие, пытаясь скрепить расплывающуюся рогожную Русь страхом. Псалтырь и Домострой казались допотопными писаниями даже еле бредшим по азбуке заволжским помещикам, опухшим от долгих снов, от скуки, от водки и от великого безделья.

Тем более жадно искали истину в Москве, в Новгороде, во Пскове. Молодые дворяне, исколесившие пол-Европы в государевых посольствах, торговцы, побывавшие в немецких землях, грамотеи попы, стыдившиеся знакомства со своими товарищами, не умевшими читать и писать, жадно ловили каждое новое слово, откуда бы оно ни шло – от вставших ли в ересь новгородских старцев, восхвалявших Моисеево пятикнижие, или же от литовских социнян, отвергавших святую троицу и божественность Христа.

Вот тогда-то и появился среди московских любомудров черноризец Феодосий – вельми ученый муж, до тонка познавший великую науку острологикус.

Не только мятущиеся духом грамотеи, но и отпрыски знатнейших фамилий – Плещеевы, Ртищевы, Беклемишевы (поговаривали и о Морозовых, и о Нарышкиных, и о многих иных сильных людях) – слушали старца Феодосия, зря в латынскую дальноглядную трубу, прозванную тем не менее греческим именем «телескопо».

Однако и из Москвы пришлось Феодосию уйти, ибо о тайных сборищах острологиков прознали патриаршие псы, а после того оставалось ждать либо монастырской тюрьмы, либо кремлевского застенка.

К тому времени собинный друг Феодосия, Леонтий Плещеев, познавший от него азы нового учения, государевым соизволением получил в кормление Вологду, и черноризец, опасаясь кары, отправился к новоиспеченному воеводе.

Из Вологды Феодосий бежал в Польшу и поселился в твердыне польских ариан – Ракуве.

– В Ракуве, Иван Васильевич, ариане, или же, как мы себя называем, «польские братья», живут, почитай, двести лет. Построил для ариан то местечко крепко приверженный нашему учению дворянин Ян Семенский. К нему-то, в Ракув, и сбежались со всей Европы те, кто исповедовал истинную веру, открытую Лелием и Фаустом Социнами.

– Стало быть, есть истинная вера, брат Феодосий? – спросил Анкудинов. И по тому, как

он это сказал, было не ясно, всерьез он говорит или шутит.

– Есть истинная вера, Иван Васильевич. Есть.

– Чем же она лучше прочих? – снова так же непонятно спросил Тимоша.

– А вот чем.

Феодосий сунул руку в один из стоявших рядом глиняных горшков и достал свернутую трубкой тетрадь.

– Сам прочтешь или мне читать?

– Чти ты, Феодосий. Если не пойму чего, то спытаю.

Феодосий положил тетрадь на стол, крепко прижал ладонью, сказал:

– Прежде хочу сказать тебе, Иван Васильевич, нечто. В тетрадь эту выписал я самое важное из того, о чем писали ученики Лелия и Фауста. Были среди них и поляки, и фрязе, и литвины, и русские, и немцы, но суть у них у всех была одна: они считали всех людей земли братьями, звали всех жить в мире и поклоняться тем богам, которых люди выбирали бы сами себе в зрелом возрасте и в здравом уме.

– Как так? – спросил Тимофей.

– А так, что если ты родился в православной семье, то не следует тебя, несмышленого и бессловесного, тащить в церковь и крестить по обряду твоих родителей, а нужно подождать, пока ты вырастешь и по здравом рассуждении сам выберешь себе веру.

– Как Христос?

– Не только как Христос. И пророк Моисей, и пророк Мухаммед, и Будда – индийский вероучитель, – все обретали истину через божественное откровение не новорожденными младенцами, а мужчинами мудрыми, посвятившими поискам истины многие годы.

– Сие разумно, брат Феодосий. Однако если только в этом смысл вашего учения, то далеко ему до всеконечной правды.

– Не спеши, Иван Васильевич.

Феодосий, хмуро глянув на Тимофея, медленно протянул чрез стол тетрадь:

– Читай сам. А я пойду на вольный воздух, на божий свет.

Феодосий вышел, и Анкудинов, услышав, как посыпались камешки из-под его ног, понял, что отправился черноризец к морю ставить сети. «Не скоро теперь вернется», – подумал Тимофей и пододвинул к себе тетрадь.

«Все люди земли – дети бога, и нет для него ни пасынков, ни падчериц, все ему – сыновья и дочери. А ныне, когда существует столько христианских церквей, – какая из них может объявить себя единственно истинной? Католики считают только себя верными слугами Христа и подлинными учениками. Православные полагают, что лишь они сохраняют христианство в чистоте, и обвиняют католиков в схизме. Лютеране и кальвинисты, гугеноты и цвинглиане предают анафеме и католиков, и православных, объявляя всех не согласных с ними еретиками, а папу – антихристом.

Какая же из церквей может притязать на авторитет, которым пользовались апостолы? (Сие речено Самуелием Пшипковским.)».

«Кто отказывает другому в мире и говорит, что он уничтожит его, дает своему противнику такое же право, ибо где нет места для законов мира, там действуют законы войны. Однако в войне нет спасения ни для одной из враждующих сторон. (Сие писано Янусом Крелием.)».

«Христос был простым смертным, подобно тому как были простыми смертными пророки Моисей и Будда и – после Христа – Мухаммед. А троица, коя есть поповское хитросплетение отца, сына и святого духа, – есть глупость, злокозненное устроение, измышленное ленивыми и алчными иереями.

Таковым же устроением является и созданная ими церковь, кою следует считать скорее домом дьявола, чем домом бога, ибо нет в поповской церкви ни любви, ни мира, ни добра.

Все люди суть у бога: и татары, и немцы, и прочие, и нельзя распалить сердца их злобою друг против друга из-за того, что они по-разному поклоняются своему творцу. (Сие писано Феодосием Москвитином, по прозвищу Косым.)».

Анкудинов прикрыл тетрадь и вышел из кельи. «Вот они какие – польские братья, – подумал он. – Значит, когда бы я был рожден в доме кого-нибудь из них, то только теперь мне нужно было избрать для себя веру: принять крещение или же, если оно не пришлось мне по душе, не принимать. И наверное, – подумал дальше Тимофей, – не нужно человеку принимать один какой-то закон – Моисея ли, Будды ли, Христа ли, а знать все их, и тогда не будет на земле еретиков и схизматиков, гяуров и идолопоклонников, но все станут искать истину, ибо свет плоти – солнце, свет духа – истина».

Феодосий вернулся к вечеру. Они пожарили добытую им рыбу и сели на бревне у входа в келью. Молчали, думали. Где-то далеко-далеко чуть слышно шуршало море.

– Скажи, Феодосий, – тихо спросил Тимоша, – ту правду, что отыскиали польские братья, как утвердят они?

И Феодосий ответил:

– Не знаю. Добром мир не принимает истину, а силой заставлять верить во что-нибудь тоже нельзя.

– Но можно сначала искоренить неправду, а потом насадить справедливость и истину! – воскликнул Тимоша.

– Я знаю только одного человека, который сейчас, как мне кажется, пытается это делать.

– Кто он?

– Казацкий гетман Хмельницкий.

## **Глава семнадцатая СНОВА ВМЕСТЕ**

Константин Евдокимов Конюхов, трудник знаменитой на всю Болгарию Рильской обители, в эту ночь спал словно каменный: вконец измотала его работа на монастырской конюшне.

Проснулся он от того, что кто-то сильно тряс его за плечо. В полумраке Костя различил привратника, чья келья была выбита в толще монастырской стены у ворот в обитель.

Костя потряс головой, отгоняя сон, опустил с полатей ноги и спросил хрипло:

– Что стряслось, отче Борис, что будишь ни свет ни заря?

– Пришел середь ночи в обитель человек. Христом богом молил впустить. Замерзаю, говорит, умираю студеной смертью.

– Ну, а меня-то ты, отче, пошто разбудил?

– Говорит тот человек, что он брат твой названный.

У Кости екнуло сердце: неужели Тимофей? Выскочил на мороз скоро, старец за ним едва поспел. Добежал до ворот, откинул дверцу малую, кою звали монахи «недреманным оком», и увидел в предрассветном сумраке незнакомого человека: бородатого, в ветхом азыме, в рваном треухе. Стоял человек скособочившись, опираясь на суковатый посох.

– Кто таков? – спросил Костя.

– Костенька, брат мой названный, – тихо просипел бородатый и, приблизившись к отверстию «недреманному оку», оказался лицом к лицу с Конюховым.

Разного цвета глаза глянули на Костю, и он, сорвав трясущимися руками щеколду, прижал к груди хворого и вконец застывшего странника.

Анкудинов пролежал в монастырской странноприимной больнице более месяца. В больничном покое, кроме него, лежали и иные скорбные телом и головою люди. Поэтому он ни о чем не рассказывал приходившему к нему Косте, ожидая часа, когда выйдут они за стены обители и всласть обо всем наговорятся.

И однажды, когда зима начала пятиться за укрытые снегом и льдом Рильские горы, когда над узкими окошечками больничных покоев повисли веселые светлые сосульки и на

камни монастырского двора стала, звеня, падать капель, Костя пришел к Тимоше с небольшим мешком, и они, взявшись за руки, вышли на синий свет, под золотое солнце.

Пройдя мимо церквей и келий, мимо архипастырских палат и общежительского дома, мимо многих служб и трапезной, мимо домов, где жили странники, послушники, трудники, они вошли в баню и долго-долго плескались, мылись и просто так, ничего не делая, блаженствовали праздно, лежа на каменных лавках и нежась в тепле, чистоте, свежести.

Потом Костя развязал мешок и с озорной улыбкой вынул рубаху, порты, сапоги – все новое, только что сшитое. А когда Тимоша надел все это, оказалось, что в мешке есть и еще кое-что. Подмигнув другу, Костя озорно встряхнул мешок, и в нем звякнули, стукнувшись друг о друга, штоф и шкалики.

Обогнув длинную стену обители, друзья пошли к ближнему лесу, еще мокрому и черному, но уже и выветленному робким пока еще солнышком.

Разложив костерчик, Тимофей и Костя устроились на еловых лапах, как в давние лета возле Вологды, когда застигала их в лесу ночь, а земля была холодна и сыра.

В лесу пахло талым снегом, прелым прошлогодним листом, дымом костра и той невыразимой свежестью, какую приносят в самом начале весны летящие с полудня теплые ветры.



И Тимофей рассказал Косте, как жил он в Цареграде, как заточили его в замок, как бежал он оттуда и был пойман и бит нещадно палками и как потерял он друга своего Вергуненка, казака из Лубен, – царевича Ивана Димитриевича.

Рассказал, как, выйдя за ворота острога, ушел в гавань Босфора и там добрый человек, болгарин Христо, привез его на гору Афон. Рассказал о старце Феодосии, об учении польских братьев-социниан и о том, как однажды утром ушел он в ближнюю от пещеры гавань...

Капитан галеры, смуглый, усатый, кривоногий, в красной феске с черной кисточкой, в кожаных штанах с широким красным поясом и в черной шелковой рубахе с длинными пышными рукавами, зыркнул на Тимофея черным воровским глазом, круглым и злым.

– Я иду в Венецию и даром не повезу даже апостола Петра, а не только бродягу-паломника, – проворчал капитан.

– Тогда возьми меня гребцом, – сказал Тимоша.

Капитан пошарил глазами по плечам, по рукам, по торсу Тимофея – ни дать ни взять конский барышник на базаре – и согласился.

– Ох, сколь немалой оказалась плата за переход от Афона до Венеции, друг мой Костя. Республика воевала с Портой, и любой турецкий корабль, попади он нам навстречу, или бы утопил нас, или бы взял на abordаж. А там – новый плен и вечная каторга. Но бог миловал, дошли благополучно, не считая того, что руки веслом стер в кровь и все тело болело, как после пытки.

– А чего понесло тебя в Венецию? – спросил Костя.

Анкудинов опустил глаза.

– Христос сказал, – ответил он, помедлив, – «Познайте истину, и истина сделает вас свободными».

– Почему же именно в Венеции решил отыскать ты истину? – снова спросил Костя.

– Я не в Венецию шел, – ответил Тимоша. – Я через нее в Рим пробирался. Там хотел узнать: что есть истина?

– Почему же в Рим?

– А потому что все веры и все языки были для польских братьев равны и угодны и лишь католическую веру почитали они анафемской, а папу римского объявили антихристом. И я подумал: «Здесь что-то не то. Надобно мне самому разобраться: что это такое – римская вера? Почему ее одни столь зло ненавидят, а другие столь же яро боронят? Ведь ежели бы ничего хорошего в ней не было, разве стали бы папам великие и мудрые народы поклоняться вот уже полторы тысячи лет?»

– И узнал? – нетерпеливо воскликнул Костя.

– Узнал, – ответил Тимофей. – Только не все.

Он провел в Риме полгода. Он ревностно искал ответа на проклятый вопрос: что есть истина? Но ответа не было.

В пудовых фолиантах и тоненьких книжечках католических богословов шли бесконечные прения о предметах, не стоящих и выеденного яйца.

Тимофей понял, что католических священников более всего волнуют те же вопросы, какие приводят в неистовство и православных фанатиков. Только отвечают на эти вопросы и те и другие по-разному. Если православные утверждают, что святой дух исходит только от бога-отца, то католики считают, что он может исходить и от бога-сына. Если православные полагают, что всех верующих нужно причащать кислым хлебом и вином, крестить младенцев, погружая их в купель, одновременно совершая и миропомазание, то католики считают, что хлеб для причастия должен быть пресным, а вином следует причащать лишь священников; при крещении детей нужно обливать водой, а мазать миром не ранее, чем через восемь лет после крещения. Вокруг этих благоглупостей было навечно еще столько всякой чепухи, что Тимофей долго не мог поверить: неужели из-за признания или непризнания подобного вздора можно было сжигать на кострах живых людей, разрушать города и опустошать целые страны?

И когда после долгих и трудных поисков он не обнаружил ничего, что превратило бы католицизм в свет истины, он оставил Рим и пошел в Болгарию.

Он прошел через земли швейцарцев и владения дома Габсбургов и пришел в Семиградскую землю, где жили мадьяры и волохи, турки и саксонцы, однако правили всеми этими народами венгерские князья из дома Ракоци.

Покинув Семиградье, или Трансильванию, как еще называли это княжество, Тимофей повернул на юг, в землю волохов, где и приключилась с ним последняя беда: не темной ночью – среди бела дня, не в лесу – на проезжей дороге обобрали его лихие люди – гайдуки, отняв коня, одежду, деньги и оставив только малую суму с грамотками и опасными листами, что брал он от тех государей, через чьи земли шел в Рильскую обитель на встречу с другом своим Костей.

Рассказывал все это Тимоша и неотрывно в глаза Косте глядел. И видел, что очи друга то светятся радостью, то туманятся горем, то ширятся от страха. И еще раз понял Тимоша, что нет у него друга лучше Кости и, наверное, впредь никогда не будет. И, посуровев

очами, сказал Тимоша другу:

– Шел я и через магометанские земли, и через земли люторские, видел и православные владения, и католические, латинские страны; и понял я, Костя, что не в том суть, каким хлебом причащаются – пресным ли, квасным ли, на минарет с полумесяцем молятся или же на храм с крестом. А в том истина, что повсюду есть правда и есть неправда и всюду сильные и богатые уничижают и мытарят слабых и бедных. И есть только две веры и две вселенские церкви: одна для сытых притеснителей, другая для голодных трудников, где бы они ни жили.

И Костя, насупив брови, сказал:

– Так, Тимоша, оно и есть. Истинно так.

Потом Кости рассказывал о своем житье-бытье в монастыре, но ни радости, ни страха, ни горя в глазах его не было: два года с лишним изо дня в день, пропуская лишь двенадцать великих праздников да светлые христовы воскресенья, гнул он спину и набивал мозоли на монастырскую братию. И если б Тимоша не поклялся прийти обратно в Рилу, коли останется жив, – ушел бы Костя из обители куда глаза глядят.

Да, слава Христу, дождался.

А потом выпили друзья по чарке и Костя спросил:

– А дале-то что делать станем?

– Дале? – переспросил Анкудинов и, сощурившись, стал молча глядеть на стелющийся по веткам огонь костра.

Костя перехватил взгляд друга, и ему показалось, что Тимофей видит такие дали, какие ему, Косте, не виделись и во снах.

– Путь у нас с тобой один, Константин Евдокимович, – к гетману Богдану Хмельницкому, в Киев, откуда начали мы наши странствия по чужим землям.

– А пошто нам гетман? – спросил Костя.

– А потому, – ответил Тимофей, – что поднял гетман и вольных казаков, и подначальных людей, и крепких земле смердов на смертный бой за правду и вольность. А мы, выучившись возле гетмана, как волю для народа надобно добывать, пойдем с тем учением на Москву и взбунтуем Русское царство от края до края. – Тимофей вспомнил Ивана Вергуненка и, рубя рукою воздух, сказал громко, будто не один Костя перед ним сидел, а стояли несметные толпы поднявшихся на бой бунтарей: – И пойдем на царя и бояр всем скопом: казаков и холопов подыдем, бедных попов и утесненных поборами купчишек, и ремесленных людей, и стрельцов, обделенных царским жалованием, и скуднокормных помещиков. – Вобрал полную грудь воздуха – лесного, чистого, холодного – и выкрикнул: – Победа! Слава! Воля!

И, отзываясь на эхо этих слов, ударили в обители колокола, и Костя, пораженный столь диковинным знамением, сорвал с головы шапку и перекрестился – широко, вольно, истово.

А Тимофей шапки не снял – вздернул голову и, со скрипом повернувшись на крепком насте, увидел, что не деревья стоят вокруг него, а великаны, поднявшие к небу дубины и колья. И, глядя, как качают головами подвластные ему чернорукие гиганты, слушая, как плывет над лесом победный звон колоколов, распластал крестом руки и замер в неизведанном дотоле восторге.

Мал человек и подобен пылинке на челе Земли. Рождается человек и, ничего еще не понимая, видит над собою лицо матери, чувствует мягкие и теплые руки ее, ощущает сладость материнского молока и, еще не радуясь свету, пока что не пугается и мрака. Затем он начинает различать голоса и лица других людей – отца, бабушки, сестер, братьев. Улыбается теплу и солнцу, плачет от первых обид, еще не осознанных, но уже задевающих его маленькое сердце.

Окно, печь, узоры на потолке, свет свечи, мяуканье кошки, шум ветра, лай собаки выводят его из блаженного полусна и бездумья.

И однажды те же руки, что подносили его к груди и укачивали, когда он не спал и плакал, вынимают его из люльки и ставят бережно на пол, а человек шагает вперед, начиная отмеривать предуказанную дорогу жизни, не ведая того, будет ли эта дорога коротка или длинна.

А потом нетвердо выходит он на заросший травой двор, пугаясь петушиного крика и гусяного шипа. Но наперекор страху все дальше и дальше от крыльца родимого дома уходит человек – к дальней околице, к речке, в рощу, к большаку, исчезающему за краем света.

И вместе с тем, как раздается под небом мира его первый крик, начинают сплетаться с его человеческой судьбой судьбы живущих и жизни уже умерших людей. Родные, соседи, односельчане, обитатели ближнего города входят в его судьбу, не спрашивая на то соизволения, так же как и он без спроса входит в их судьбы, либо слегка касаясь, либо круто меняя или даже переламенявая их.

И если суждено человеку, родившись в своей деревне, тут же и умереть, несколько раз за всю жизнь оставив у себя за спиной ее околицу, проплутав долгие годы по ближним к родной деревне тропинкам, то судьбы немногих людей свяжет он с самим собой и на жизни немногих других наложит свой след. И немногих умерших будет знать он – деда, бабу, старых земляков, переселившихся из соседних изб в соседние же могилы.

И после того, как отправят его в последний путь, память о нем хотя и может жить долго, но помнить дела его будут немногие – те, с чьими предками пересеклась его судьба.

А если выйдет человек в необъятный мир и крышей будет ему небо, а границами – океаны, то сонмы судеб живых и мертвых пересекутся, переплетутся и повяжутся с его судьбой, ибо дорога его – не малая тропинка, а путь человечества.

И в жизни такого человека непременно наступит время, когда он начнет понимать, что его сегодняшний день связан с давно прошедшими событиями и временами и что дела и подвиги, трусость и доблесть, благословения и проклятия мертвых так же сильно воздействуют на его судьбу и жизнь, как дела и подвиги, трусость и доблесть, благословения и проклятия живых.

И когда 10 июня 1649 года Анкудинов и Конюхов выехали из ворот Рильской обители, держа путь на Украину, они понимали, что отныне жизни их переплетутся с борьбой и надеждами десятков тысяч людей, вставших под прапор и бунчук мятежного гетмана Хмельницкого.

## **Глава восемнадцатая ХМЕЛЬНИЦКИЙ И КИСЕЛЬ**

В давние времена конные разъезды, бежавшие на юг от Киева, на третий день пути оставляли позади себя последние бахчи, сады и пашни и въезжали в степь. И плыли их пики да красноватые шапки над зеленью, желтизной и синевой трав и цветов, а коней их, да и их самих, видели только коршуны, плававшие вольными широкими кругами между солнцем и степью.

А обочь всадников на каиках и чайках вниз по Днепру, к порогам, и еще дальше к морю уходила голь перекатная, за зверем, за рыбой, за воинской добычей.

За днепровскими порогами, на заросших вековыми лесами островах Хортице, Токмаковке, Базевлуке, Микитином Рогу, удалыцы разбивали станы, называя их на татарский манер – кошами, выбирали на сходке кошевого атамана, а тот делил казаков на курени и ставил над каждым куренного атамана. Куренем называли и отряд, и шалаш, в котором отряд спал. Шалаш строили из хвороста и накрывали сверху сшитыми конскими шкурами. В каждом курене жило примерно полторы сотни казаков. Кисель из гречневой или пшеничной муки с маслом – саломата и рыбная похлебка – щерба были их пищей, седло – подушкой, армяк – одеялом.

Все коши и курени, располагавшиеся на островах за днепровскими порогами,

назывались Запорожской Сечью. Богатырской заставой стояла Сечь на пути турок.

В Сечи царили суровые, принятые самими казаками установления, и за их нарушение виновных жестоко карали. Грабеж православных поселян, поединок с товарищем, привод на Сечь женщины – за все полагалось одно: смерть.

Сначала все запорожцы были равны между собою и даже кошевого атамана сразу же после избрания измазывали грязью, чтобы он помнил, что он такой же казак, как и все, чтобы не дал бесу гордыни обуть свое сердце. Но шло время, и в Запорожской Сечи появились богатые да удачливые казаки – хуторяне, потихоньку прибиравшие к рукам и достатки и власть.

Иной стала Сечь – бывшее братство и вольность сменились новыми порядками, и тлетворный дух неравенства начал ощущаться почти так же, как и в соседних землях – Крымской Орде, Польском королевстве, Московском царстве.

Почти, да все-таки не так! Не было ни одного восстания, в каком не принимали бы участия запорожцы. Не было ни одного холопа ли, мещанина ли, который, прибежав на Сечь и став казаком, был бы выдан помещику или преследовавшим его властям.

Кованым щитом была она для холопов, ищущих воли, и карающей саблей для забывших страх и совесть мироедов – панов, помещиков, корчмарей, судей. Бывало, не просто шляхтичи, а и князья прибегали на Сечь искать защиты и правды от обидчиков, на которых они не могли найти управу ни в Киеве, ни в Варшаве. Сечь принимала их, защищала, мстила.

Более же всего было на Сечи украинских крестьян и казаков, искавших защиты от преследования польских панов-католиков.

11 декабря 1647 года на Микитин Рог, где тогда стояли почти все курени Сечи, приплыл с сотней казаков пожилой, вислоусый, широкоплечий мужчина. Он искал защиты и хотел добиться правды. Его звали Богдан Хмельницкий.

...Днепр в ту зиму замерз к рождеству. В начале декабря, когда струги Хмельницкого подошли к Микитиному Рогу, хотя и дымилась днепровская вода от надвигающихся холодов и по окраинам уже схватило реку тонким льдом – стрежень ее был чист, и легко было гребцам гнать вниз по течению тяжелые лодки.

Хмельницкий первым ступил на землю Сечи, за ним вышли из стругов остальные.

Из прибрежных куреней неспешно выходили старые казаки. Узнав Хмельницкого, давно уже известного многим, снимали шапки. Богдан тоже стоял с непокрытой головой, заметив старых товарищей по походам и битвам, кланялся, смотрел сурово и невесело. Богдан стоял, а к нему все подходили и подходили казаки. Когда никого уже не осталось в ближних куренях, Хмельницкий низко поклонился всем вышедшим к нему запорожцам.

– Смотрите, братья, на меня, старого казака, генерального писаря Войска Запорожского. Я ждал покоя, а меня изгнали из собственного дома. Я искал правды и в Киеве и в Варшаве, а у меня посрамили жену и убили сына и самого меня осудили на смерть. Вот какова правда у панов-католиков. За кровь мою, пролитую для пользы отечества, за раны мои нет мне иной награды, кроме смерти от руки палача. К вам принес я душу и тело, к вам привел друзей моих и сына. Укройте нас и подумайте о собственной защите, ибо каждому из вас угрожает то же, что и мне.

Хмельницкий умолк.

Кошевой спросил зычно:

– Ну что, други, принимаем Богдана?

В толпе зашумели:

– Нам Богдан добре ведом!

– Не раз вместе воевали!

– Где только с ним не были! Во Франции и то пришлось побывать!

Однако раздалась и другие голоса:

– Нехай толком скажет, что с ним случилось!

– Красно говорил пан писарь, да мало что в толк возьмешь!

Хмельницкий поднял руку. Шум прекратился.

– Други! Братья! – громко проговорил он. – Всем вам ведомо, как люто ненавидят меня паны-католики за то, что я всегда был слабому опорой и обиженному защитой. Они-то и решили свести со мной счеты, для того натравили на меня моего соседа, католика-шляхтича Чаплинского.

Я узнал, что Чаплинский собрал отряд головорезов и собирается напасть на мой хутор. А под рукой у меня, почитай, никого и не было. Я поскакал в Чигирин искать защиты у властей. Власти не защитили меня. А когда я вернулся обратно, то увидел, что хутор сожжен, младший сын умер – насмерть засекли его по приказу Чаплинского, – а жену силой увез с собой супостат мой Чаплинский.

Ни в Киеве, ни в Варшаве я не нашел правды. А как вернулся домой, собрал верных моих товарищей, и поклялись мы начать бой за правду, за веру, за справедливость. Да, верно, был среди нас иуда – предатель. Дознались о том паны и хотели уже схватить меня, чтобы затем казнить лютой смертью, но на сей раз помог нам господь: благополучно добежали и я, и товарищи мои, и сын мой, Тимофей, до Сечи.

А теперь решайте, братья, что с нами делать.

Кошевой оглядел молчавших, понурых запорожцев. Печаль и гнев были на их лицах.

– Принимаем тебя, Хмельницкий, хлебом-солью и добрым сердцем с сыном и товарищами твоими, – ответил кошевой.

– Принимаем! – откликнулись казаки.

Ранней весной 1648 года Хмельницкий уехал в Крым и там заключил с ханом Ислам-Гиреем союз против Польши. Он вернулся на Сечь 18 апреля 1648 года и на следующий день был провозглашен гетманом. И запылала Украина. Всевеликое Войско Запорожское, поддержанное десятками тысяч холопов и казаков, двинулось в победоносный поход. Битвы следовали одна за другой. 8 мая отгремело первое большое сражение под Желтыми Водами. В этом бою пали многие знатнейшие паны и сын главнокомандующего польской армией Стефан Потоцкий. И когда отец погибшего узнал о разгроме армии и гибели сына, то, по словам летописца, «все польское войско стало так бледно, как бледна бывает трава, прибитая морозом, когда после холодной ночи воссияет солнце».

16 мая в битве под Корсунем была разгромлена вся польская армия и сам старый Потоцкий сдался в плен.

А 20 мая умер король Владислав. В Речи Посполитой настало бескорольевье.

Города Украины один за другим признавали власть Хмельницкого. Только Иеремия Вишневецкий с трехтысячным отрядом метался среди поднявших бунт холопов, предавая тысячи мятежников самым страшным казням.

Вслед за Украиной восстали православные села и города Белой Руси и Литвы.

Тогда протектор Речи Посполитой, кардинал Матвей Лубенский, регент короны, первое лицо в государстве до избрания нового короля, созвал чрезвычайный сейм. Сейм постановил выставить против Хмельницкого тридцатитысячную армию и одновременно для переговоров с казаками отправить четырех комиссаров во главе с Адамом Киселем.

От казаков требовали возвращения захваченного оружия, освобождения пленных, отказа от союза с татарами, но ничего не предлагали взамен. Требования шляхты были с негодованием отвергнуты казацкой радой.

Кисель обратился к киевскому митрополиту Сильвестру Коссову, убеждая пастыря воздействовать на Хмельницкого. Но и митрополит не помог – гетман был тверд и соглашался только на справедливый и достойный мир.

Польская армия двинулась вперед и остановилась восточнее Львова, на берегу маленькой речки Пилявки.

Как и прежде, поляки потерпели поражение из-за чванливости, разброда, ссор между

военачальниками. В их обозах золота и серебра было больше, чем свинца, и бочек с вином больше, чем лядунок с порохом.

После двух дней битвы, испугавшись ложного слуха о подходе на помощь Хмельницкому сорока тысяч татар, шляхтичи оставили лагерь и побежали ко Львову. Беглецы достигли города на третий день, хотя, по едкому замечанию летописца, в мирное время польский пан со свитой ехал бы туда полгода. Почти не останавливаясь, остатки разбитой армии ушли к Висле. В конце октября 1648 года войска Хмельницкого вступили во Львов.

5 ноября повстанческая армия остановилась у замка Замостье. Хмельницкий понимал, что если он пойдет дальше, то война, которую он ведет, может быть воспринята во многих европейских государствах не как восстание против поработителей его родины – Украины, а как завоевательный поход в соседнюю с ним страну.

Гетман остановил свое войско и послал в Варшаву мирную делегацию с наказом сообщить членам сейма, что если королем будет избран Ян Казимир, а не Карл – второй брат покойного Владислава, – то казаки подчинятся воле угодного им монарха.

Сразу же, как только умер король Владислав, один из претендентов на трон Речи Посполитой, семиградский князь Дьердь Ракоци, предложил Хмельницкому союз и дружбу. Однако Дьердь ненадолго пережил Владислава – не прошло и полгода, как умер и он, а его сын Юрий, наследовавший престол Семиградья, не помышляя об избрании на польский трон, хотел добыть его иными путями. Он предложил Хмельницкому военный союз против поляков, обещая овладеть Краковом, когда казаки выйдут к Варшаве.

Посол Юрия Ракоци, приехавший в Киев в феврале 1649 года, говорил гетману:

– Если мой государь получит польскую корону, то не забудет казаков и сумеет выказать им свою благодарность. В его царстве русская вера будет равной с верой католической, а гетман будет удельным государем Украины и независимым владельцем Киева.

Вопрос об избрании нового короля решал очередной сейм, собравшийся в Варшаве.

Хотя вначале и этот сейм проходил бурно и несогласно, головные казацкие наезды, показавшиеся в окрестностях Варшавы, сделали панов-электоров более сговорчивыми: по наущению канцлера Оссолинского Карл добровольно отказался от притязаний на корону, и Ян Казимир 20 ноября 1648 года был избран королем Речи Посполитой.

Новый король немедленно послал Хмельницкому письмо с просьбой отвести армию на землю Украины и там ждать начала мирных переговоров. Богдан выполнил желание Яна Казимира и повернул войско на восток.

В начале января 1649 года Хмельницкий въехал в Киев под звон колоколов, грохот пушек и радостные клики народа. У стен Софийского собора его встретили митрополит Сильвестр и остановившийся в Киеве по пути в Москву Иерусалимский патриарх Паисий – высокий седовласый старец с глазами библейского пророка. Именем всех православных христиан востока он благословил гетмана и, сравнив его с защитником истинной веры византийским императором Константином Великим, призвал к беспощадной войне с католиками. Паисий и Сильвестр, встав слева и справа от гетмана, вошли в собор, сверкающий огнями сотен свечей, и преклонили колена перед алтарем.

Весной 1649 года войска Хмельницкого осадили крепость Збараж, что неподалеку от города Зборова. 15 и 16 августа у ее стен развернулось сражение, не принесшее ни одной из сторон решающего успеха.

18 августа в Збараже был подписан договор, по которому Украина по-прежнему оставалась в составе Речи Посполитой, а крестьяне – под властью польских панов. Однако в Киевском, Черниговском и Брацлавском воеводствах запрещалось находиться польским войскам, а списочный состав казацкого войска увеличивался до сорока тысяч человек. Паны-католики на этих территориях лишались права занимать административные

должности.

По всей дороге от Збаража до Киева Хмельницкого встречали тысячи людей. Они поднимали на руках детей, чтоб те на всю жизнь запомнили великого воина, выносили на вышитых рушниках хлеб-соль, хоругви и самые почитаемые иконы. Второй въезд Хмельницкого в Киев был не менее торжественным, чем первый.

Однако гетман недолго пробыл в стольном городе Древней Руси и уехал в свою резиденцию – Чигирин.

Окруженный роскошью самодержавного государя и дворцовой гвардией – верным чигиринским полком, – он оставался простым в общении и пока еще доступным простому народу. Но уже казацкие полковники и есаулы получали во владение имения бежавших панов-католиков и на монетах, которые чеканили в Чигирине, на одной стороне изображался меч, а на другой – имя гетмана.

Всю зиму занимался Хмельницкий устройством нового государства – разделял территорию страны между полками, вводил новые законы, подтверждал привилегии и права городов, местечек, монастырей, охраняя старые традиции цехов, братств и целых сословий. Однако крестьяне, как и прежде, должны были браться за плуги и платить, как и прежде, налоги и поборы. И хотя налоги не были столь велики, малыми те налоги назвать было нельзя, а на смену помещикам-католикам пришли новые хозяева: войсковая старшина, хорунжие, сотники, есаулы, полковники, судьи, писаря и еще не слишком многочисленная, но уже наглая и своенравная гетманская челядь.

А так как по Зборовскому договору Украина оставалась в составе Речи Посполитой, то на ее земле поселялись и королевские чиновники – правда, в отличие от прежних времен, только православного вероисповедания.

7 ноября 1649 года в соответствии со Зборовским договором в Киев приехал новый воевода, назначенный королем. Это был Адам Григорьевич Кисель.

Киселю были отведены покои прежнего киевского воеводы, дана богатая казна и подчинен отряд казаков, которому надлежало блюсти спокойствие и порядок в городе.

Чуть ли не до рождества гетман угощал королевских комиссаров и сам гостил в отведенных им палацах. За чарой вина он выслушивал опытных в делах государственного управления панов-комиссаров, прислушивался и к своим старым соратникам, получившим за боевые заслуги хутора и имения, в которых теперь никто не хотел работать, и понимал, что не может быть государства, где бы все были равны и только носили сабли, не прикасаясь к сохе и топору.

И когда пришли на Украину королевские универсалы о подчинении крестьян владельцам земли – как новым, так и прежним, возвращавшимся в свои дворы, – гетман подтвердил эти универсалы и потребовал их выполнения, грозя за бунт карами.

Наступала весна, сходил с полей снег, но мало где ладили сохи и бороны, зато еще сильнее прежнего побежали на низ и на Дон новоявленные холопы – вчерашние борцы за свободу, считавшие себя вольными казаками.

Киевский воевода Адам Григорьевич Кисель сидел в горнице, по стародавней привычке крутил усы, думал: «Как выполнить гетманский указ не пускать на низ гультяев? Земля велика, ночи темны, заставы малочисленны». Ничего не придумав, вздохнул тяжело и, несмотря на поздний час, собрался спать. Уходя в опочивальню, подумал: «Утро вечера мудренее». Однако выйти из горницы не успел – робко стукнули в дверь. Адам Григорьевич по стуку догадался – джура-казачок. Подумал с неудовольствием: «Чего там еще? Ни минуты покоя нет». Сказал громко, сердито:

– Войди!

Джура робко вошел на порожек, чистыми дитячьими очами взглянул на воеводу. У Киселя почему-то отлегло от сердца, спросил, уже тихо, без гнева:

– Ну, что там, хлопчик?

– Пан воевода, до вас пан просится.

– Что за пан?

– Якись-то князь.

– Зови, – сказал Кисель, оправляя кафтан и думая: «Кто бы это мог быть?»

Вошел джура и, как его учили, отступил влево, пропуская гостя вперед. В дверях стоял нарядно одетый пан в зеленом кунтуше, с саблей на боку. Сняв шапку, шагнул в горницу, поклонился хозяину.

– Ай не признал, Адам Григорьевич?

Кисель, сощуривав глаза, шагнул навстречу. Перед ним стоял князь Шуйский Иван Васильевич.

## **Глава девятнадцатая БРАТЬЯ ПУШКИНЫ**

Иерусалимский патриарх Паисий, благословивший в январе 1649 года Хмельницкого пред воротами Святой Софии Киевской, в феврале уже был в Москве. Он явился к благоверному царю Алексею Михайловичу и патриарху Московскому Иосифу за милостынею, кою первосвященники всех православных церквей – Константинопольской, Антиохийской, Иерусалимской – испокон получали от единоверного Русского царства.

Да и отколь еще было взять милостыню православным патриархам, когда со всех сторон утеснены они были неверными агарянами и папистами?

Вот и давали им посильное по прошениям их московские царь и патриарх.

10 июня того же года Иерусалимский патриарх со многими дарами выехал из Москвы. Вместе с ним в Иерусалим ехал старец Арсений, ученый муж, направленный в Палестину для описания святых мест.

Через две недели достигли они Путивля. За Путивлем начались владения гетмана Хмельницкого – православного государя, только что иступившего свою саблю о выи гордых схизматиков-ляхов.

Два месяца ехали Паисий и Арсений по единоверной Украине, ужасаясь следам страшной брани, бушевавшей на ее земле всего год назад, а затем, переправившись через реку Прут, въехали в православную же Волошскую землю и 7 сентября остановились в городе Яссы в патриаршем Борнавском монастыре с заросшими тиной прудами, старым садом, вросшими в землю кельями братии.

Блаженнейший господин Паисий был стар, дорога длинна, обитель тиха и гостеприимна, и потому путники решили пожить в Яссах подольше, отдыхая перед оставшимся – все еще неблизким – путем.

Однако ж дни шли, пролетело шесть недель, и патриарх, вздыхая, велел собираться в дорогу. И пока патриаршие челядинцы неспешно готовили повозки и кладь, старец Арсений пошел на городской майдан прикупить кое-чего в дорогу. Пестр и шумен был в тот день ясский майдан, и много хитроглазых восточных людей – смуглых, черноволосых, носатых – из Джульфы, из Ширази, из Тебриза – толкалось среди рухляди и яств.

А один торговец был волосом рус и голубоглаз. Арсений подошел к нему. Торговец, увидя златой наперсный крест и черный клобук, радостно облобызал руку старца и, склонив главу, принял пастырское благословение. Арсений спросил:

– Отколе, сын мой?

– Из Рыльска мы, святой отец.

– А звать как?

– Григорием кличут. А ты, святой отец, издалека ли? – несмело спросил старца Григорий.

– Из Москвы.

– Из Москвы, – повторил торговец с удивлением и почтительностью. И вдруг спросил: – А скажи, святой отец, есть ли на Москве кто из Шуйских князей?

Арсений опешил:

– Пошто тебе это, сын мой?

– А вчера встретил я на торгу человека, Константином зовут. И Константин сказывал, что служит у князя Шуйского, и тот князь ныне в скиту под венгерскими горами, недужен, и как обможется, то пойдет в Киев.

Не помня как добежал старец до обители и обо всем рассказал блаженнейшему. Патриарх, медлительный и молчаливый, выслушав Арсения, стал кричать:

– Не медли, Арсений! Тот же час отъезжай ко государю! Надобно государя о сем деле известить: не иначе то некий вор вляется в имя Шуйских князей, замыслив нечто недоброе.

Паисий тут же написал две грамоты: одну царю, другую – патриарху, и старец наборзе поехал обратно в Москву, доводить об узнанном государю.

Два с половиной месяца ехал старец из Москвы до Ясс, а обратно – ровно один месяц. И, приехав, не в мыльню побежал и не в опочивальню, а прямо в Иноземный приказ.

И, вбежав в приказные палаты, точно не инок он был, а некий прыткий недоросль, тотчас же все проведенное пересказал думному дьяку Михаилу Волошенинову. Дьяк же, не дослушав Арсения, сбежал к саням – еще в Путивле застала метель, и рыдван поменяли на сани – и, втащив старца в возок, велел ехать в Кремль.

Старец уехал из Москвы обратно с наказом: проведывать все про польского короля с казаками, и про вора Тимошку, и про татар, – и обо всем том ко государю отписывать.

9 апреля Арсений настиг патриарха в мунтянском городе Торговище. Там он узнал, что вор Тимошка и человек его Костка из скита от венгерских гор ушли и уже в великий пост видели их в Киеве. А еще через некоторое время в Торговище приехал киевский протопоп и поведал Арсению, что человек по имени Шуйский, князь, живет ныне в Чигирине, в великой чести у гетмана и чуть ли не ежедневно ест с гетманом за одним столом.

В пятом месяце 7157 года от сотворения мира, или же в первом месяце 1650-го от рождения Христова, выехал из Москвы добро снаряженный обоз. Впереди скакали вершники, за ним – цугом в шесть коней, три раза по паре, – лихо летела карета: с золотой резьбой, с венецийскими стеклами, с гайдуками на запятках. За каретою ровным строем шла полусотня донцов в чекменях зеленого сукна, с прапором в чехле, на сытых, застоявшихся за зиму аргамаках. За донцами резво двигался малый походный обоз в две дюжины саней. Большой обоз загодя вышел вперед и стоял вразбивку там, где ему было указано, ожидая великих государевых послов – братьев Григория да Степана Пушкиных с дьяком Гаврилой Леонтьевым.

Великие и полномочные послы – боярин, оружейничий и наместник Нижнего Новгорода Григорий Гаврилович и окольничий и наместник алатырский Степан Гаврилович Пушкины, ближние государевы люди, – ехали в Варшаву по великим делам.

Было им строго наказано самим государем говорить панам-раде и королю, что великий государь изволит на них, поляков, гневаться за то, что его, государев, титул в присылаемых на Москву грамотах пишется неполно. А ведь было договорено, что его, пресветлого российского царя, титул будет писаться с большим страхом и без малейшего пропуска.

А еще послы должны были потребовать от панов-рады казнить смертью тех двух друкеров, кои печатали бесчестные книги, наполняя оные всякими кривдами и постыдными для государя нелепицами.

Братья Пушкины и дьяк Леонтьев в немецких и турецких и иных землях и ранее бывали не раз и потому и ныне ехали без всякой робости.

Да и кого им было бояться, когда простой казачишка Хмельницкий литовского короля Ивана Казимира на глазах у всех иноземных государей за один год неоднократно побил и едва на аркане в полон не свел?

«Истинно, – думал боярин Григорий Гаврилович, – истинно в старых книгах прописано, что „Казимир“ на древнем русском языке означает „разрушитель мира“. Вот и

сбывается королю Ивану, что есть он самый что ни на есть царству своему казимир».

Однако ж и другое знали послы: что в легкое да приятное посольство государь никогда их ни в одну страну не посылал. Знал, милостивец, что за умаление его царской чести, глазом не моргнув, пойдут братья Пушкины на плаху. Знал, благодетель, что нет у него ни в Посольском приказе, ни в иных столь бесстрашных, гордых и ни в чем не уступчивых послов, как Пушкины. И потому не ждали великие послы быстрого и бездельного посольства, хотя иным боярам и дьякам могло показаться – нехитрое дело поручил ныне Пушкиным государь: не о захваченных землях или полоняниках выговаривать, не взятые ляхами на щит города в обрат требовать. А мысли об отринутых ляхами землях так и лезли в голову, хотя и не о них должны были переговаривать великие послы.

И как той думе не быть, если, отъехав двести верст от Москвы, вступил посольский обоз на землю короля Яна Казимира.

За Вязмой шли порубежные места, и уже в старом Дорогобужском детинце разместился как дома польский гарнизон, а Смоленск и пограничным не был – стоял в глубине Речи Посполитой, столь же далеко от рубежа как и Москва.

Ехали братья Пушкины с дьяком Леонтьевым и переполнялись их сердца едкой обидой: сколь много полей, лесов, сел, починков, городов и замков забрал под себя польский король! А далее пошла единовенная Белая Русь и литовские земли, и все были под скипетром Яна Казимира.

Через три недели подъехали послы к Варшаве. Перед мостом через реку Вислу гарцевали на горячих конях изукрашенные шелками да бархатами паны. На отороченных соболями да горностаями шапках мотались под ветром перья диковинных птиц. И над головами коней тоже трепал ветер перья.



Не доезжая нескольких саженьей, послы остановили карету и стали ждать. Никто из панов с коней не сходил и встреч им не шел.

Запахнувшись в шубы на бобровом меху, крытые сверху добрым фландрским сукном,

сидели послы, ухмыляясь в бороды, в теплой карете, равнодушно поглядывая в венецские окна. За окнами мела снежная поземка, и с реки прямо панам в морды дул ледяной январский ветер.

Дьяк Гаврила время от времени вытаскивал из-под шубы куранты с луковицу величиной, глядел, сколь времени прошло, как стоят послы у въезда в город.

Наконец сдались паны. Слезли с седел и, взяв под уздцы впряженную в сани тройку белых коней, крытых вышитыми попонами, пошли навстречу послам. Боярин Григорий Гаврилович еще плотнее запахнулся в шубу надвинул на косматые брови горлатную – трубой – шапку, отвернулся от окна. Дьяк Гаврила косил глазом в окно – глядел, кто к посольской карете подойдет. Подъехал верхом на коне богато изукрашенный пан. Дьяк узнал его – видел в прежних посольствах. Сказал Григорию Гавриловичу:

– Зри, боярин, подъехал посол королевский – пан Тышкевич.

Пушкин, еле поворачив к окну голову, сказал:

– Пуцай прежде с коня сойдет. Невместно мне первому из кареты идти, когда передо мной невеста кто верхами сидит.

Прошло еще немало времени. Ветер не унимался, паны прятали носы в воротники, грели руки под мышками.

Наконец Тышкевич слез с коня, одеревеневшей рукой ткнул вперед: велел гайдукам распахнуть дверцы московской кареты. Гайдуки на негнущихся от мороза ногах побежали к возку. Распахнув дверцы, стали обочь.

Боярин Пушкин, повернувшись на обитой бархатом лавке, рывкнул по-медвежьи:

– Так-то встречают великих государевых послов! Смерды дверцы каретные рвут, как воры лесные, – без поклона и вежества! А ну, Флегонт, Пётра, – позвал Пушкин своих гайдуков, – затворите дверь, пуцай прежде научатся ляхи, как потребно перед великими государевыми послами стоять!

Околевшие на морозе, Флегонт и Пётра попадали с запяток в снег, с трудом переломившись в поясном поклоне боярину, бесчувственными пальцами прикрыли дверцу.

Дьяк Гаврила вновь вынул куранты.

– Четвертый час стоим, боярин Григорий Гаврилович.

– Четыре дня стоять буду, а чести своей не умалю, – сопя от обиды, просвистел Пушкин.

Тышкевич призвал своих гайдуков, что-то сказал им. Холопы побежали к карете, плавно открыв дверцу, трижды поклонились поясным поклоном.

Сердито сопя, великий посол обиженным медведем стал вылезать из возка. Накренился возок набок, задевая подножкой снег, – дорожен и высок был боярин: распрямившись, верхом шапки вровень был с конным паном.

Тышкевич шагнул вперед, с трудом раздвигая в улыбке посиневшие губы. Пушкин стоял не двигаясь, смотрел сурово. Тышкевич вздохнул и подал боярину руку. Пушкин в ответ руки не протянул. Чуть повернув голову к карете, спросил:

– Господа послы, а подлинно ли передо мною королевский посол, не подменный ли человек?

Пан Тышкевич, от мороза пунцовый, услышав такое поношение, стал белее снега.

– За такие слова я бы тебе рожу набил, если б не был ты царским послом, – закричал он пронзительно.

– И у нас дураков бьют, которые не умеют чтить великих послов, – беззлобно усмехаясь, ответил Пушкин. Чего ему было злиться? И проморозил панов, и на своем настоял.

Потоптавшись, решил еще покуражиться немного.

– Чего это он со мною не говорит? – спросил Пушкин, ткнув перстом во второго польского посла, пана Тыкоцинского, что стоял рядом.

– Не розумем по-российску, – ответил Тыкоцинский.

– А зачем же король прислал ко мне такого дурака?

– Не я дурак, а меня послали к дуракам. Мой гайдук знает по-русски, вот он и будет вести с вами переговоры.

Великий посол, обложив панов нечистыми словами, залез обратно в карету и, лишь когда стало темнеть, согласился перейти в другую, присланную за ним королем.

Узнав о случившемся, король решил, что послы прибыли с объявлением войны, и, еще не назначая приема, отправил в Москву гонца с заверениями в мире и дружбе. А чтобы не ожесточать сердца послов сильнее прежнего, назначил на их содержание по пятьсот золотых в день.

Коронный подскарбий только закричал, когда вышло, что за два месяца придется выложить из королевской казны тридцать тысяч золотых – треть ежегодного окупа, обещанного крымскому царю после битвы под Зборовом.

Через месяц примчался гонец и привез письмо царя Яну Казимиру: о войне в нем не было и намека, но за умаление титула и бесчестные враки, прописанные в книгах, царь просил казнить виноватых смертью.

Об умалении титула боярин Григорий Гаврилович говорил многие слова с великою укоризною, стыдя панов-раду и утверждая, что никогда ни в одном государстве ни одному человеку не было позволено сокращать титул государя и тем отбирать у него честь, достоинство и земли, которыми он владеет от своих прародителей.

– Более того, – говорил боярин Пушкин, – не упомянутые в титуле города и земли являются как бы выморочными, никому не принадлежащими, и любой соседний государь может завладеть ими. Злее прежних было новое оскорбление: появились в Московском государстве принесенные королевскими офенями многие мерзопакостные книги. В них было пропечатано великое бесчестие и укоризны отцу великого государя – Михаилу Федоровичу, деду его – патриарху Филарету и самому пресветлому государю Алексею Михайловичу, а также многим боярам и всяких чинов людям. А печатали те поносные книги, которые и от бога грех, и от людей стыд, и мимо всякой правды сочинены, шильники и бездельники в Кракове, и в Гданьске, и во многих иных местах.

О Смоленске, который был взят плутовством, обманом и хитростью, написано: «Королевского величества победою освобожден, московского царя выю король под ноги свои подклонил».

А возле лика покойного короля Владислава против левой руки написано: «Московию покорной учинил».

А про Михаила Федоровича сказано, что «возведен на престол людьми непостоянными». И его же называют «мучителем», а патриарх Филарет Никитич написан – «трубач».

Также и всему Московскому царству содержится укоризна: написано – «бедная Москва», а нас называют худыми людьми и побирахами и пишут многие другие хулящие слова, что и не только писать – говорить стыдно.

И наконец, о книге про войну с казаками сказано, что венгрин и москвитин из соседей и приятелей от Речи Посполитой в сторону скакнули.

– Как же, паны-рада, вы на столь злое дело дерзнули? – спрашивал Григорий Гаврилович грозно. – Как такие поносные и неистовые слова про великого государя нашего и все Московское царство не только помыслить смели, но и в книгах пропечатать? Как дерзнули великого государя бесчестить – москвитином называть и ссоры людей вмещать? Как, паны-рада, посмели вы такие злые досады и грубости износить?

Паны-рада отвечали:

– Мы никаких книг печатать не приказывали, и до них королю и нам никакого дела нет. А вы, великие послы, приехали в Польшу и накупили книг, и что в них глупые люди и пьяницы-ксендзы напечатали, то вы ставите нам в вину и в укор. А все потому, что вы ни по-польски, ни по-латыни не учитеесь, а верите всяким пронырам, которые невежеством вашим пользуются.

Набрав полную грудь воздуха и напустив на себя бесконечную надменность, великий и полномочный посол боярин Григорий Гаврилович важно отвечал:

– Учиться у вас мы не хотим и никогда не станем. По милости божией знаем наш русский язык и догматы божественного писания и государские чины и посольские обычаи твердо разумею. А вы сами себя выхваляете и называете учеными людьми, а вот уже пятнадцать лет не можете научиться, как титул наших государей писать, и нам кажется, что вы, хоть и ученые, нас, неученых, стали глупее.

Паны-рада с криками негодования покинули зал.

В этот же день одни ворота на посольском дворе забили, возле вторых выставили жолнеров, никого к послам пускать не велели и выходить в город также запретили.

Послы сели в осаду, но слов своих ничуть не переменили. И даже потребовали, чтоб паны-рада еще раз их выслушали. Паны-рада и великий литовский канцлер князь Альбрехт Радзивилл согласились и кротко и благолепно просили послов оставить это дело, клянясь, что впредь никогда такого не будет.

– Ни за что! – ответил Григорий Пушкин. – Если не казните виновных, отдавайте за великую досаду и обиду, причиненную его царскому величеству, Смоленск со всеми тягущими к нему городами и шестьдесят тысяч золотых червонцев!

Альбрехт Радзивилл, махнув рукою, сказал с сердцем:

– Вы говорите, чтоб за бредни, напечатанные в книгах, король отдал Смоленск и иные города, а после вы захотите и Варшаву взять. Больше мы с вами об этих книгах говорить не будем.

Братья Пушкины и дьяк Леонтьев ушли на посольское подворье и ни на какие уловки панов-рады, желавших продолжать переговоры, не поддавались.

Дни шли за днями, великие и полномочные послы стояли на своем – в бесполезных пересудах и ожидании перемен прошло пять месяцев.

Радзивилл согласился сжечь несколько книг на рынке, но казнить друкерей и писцов никак не соглашался.

И неизвестно, чем бы кончилось это дело, если бы в середине июня не прискакал в Варшаву гонец с письмом от царя. А в том письме велел государь накрепко приступить к новому делу: потребовать выдачи «вора Тимошки Анкудинова и велеть привести его в Варшаву и отдать вам. А ежели паны-рада станут вам говорить встречь, то отвечать вам, послам, что по грамоте высокославная памяти короля Владислава и по записям панов-рады, ежели который-либо человек дерзнет, будучи в Польше и в Литве, имянованьем царевича московского писатися, того человека казнити смертию безо всякия оправдания».

Прочитав письмо, Григорий Гаврилович понял: придется поступиться первыми двумя пунктами, но исполнения этого наказа следует добиться, хотя б и умереть.

Паны-рада и по новому пункту вступили с послами в бесконечные пререкания. Поляки ссылались на то, что договор о выдаче самозванцев, заключенный полномочными на то польским послом Гаврилой Стемповским и русским послом князем Никитой Оболенским, был подписан уже после того, как Тимошка Анкудинов бежал за рубеж, и потому силы на него не имеет. Кроме того, поляки считали, что в договоре речь идет только о подданных Речи Посполитой, а не о беглецах из России.

Более того, паны-рада говорили, что никакого вора у Хмельницкого вообще не бывало и ныне нет, ибо иначе киевский воевода пан Кисель обязательно сообщил бы им об этом. И потому выговаривали великим послам, что сыскивать про то нечего, так как и отдавать-то некого.

Когда же Григорий Гаврилович просил послать в Киев и в Чигирин гонца, то паны-рада отговаривались тем, что скорее трех месяцев съездить туда-обратно немочно, а они-де, великие послы, живут в Варшаве шестой месяц, а по старым договорам послам больше двух месяцев не жить.

– Эх, паны-рада, паны-рада, – укоризненно говорил им боярин Пушкин, – не хотите вы того вора отдать для некоего злого умышленья к подысканью Московского государства.

Поляки стояли на своем, отрицая хотя бы малейшую злую корысть. И потому братья Пушкины выговаривали панам-раде про вора Тимошку пространные речи и помогались своего всякими мерами накрепко.

Наконец, когда посольству пошел седьмой месяц, паны-рада согласились послать к гетману королевского дворянина с универсалом о выдаче вора великим послам.

21 июля 1650 года Пушкины и Леонтьев отправились в Москву. Вместе с королевским дворянином поехали к гетману из Варшавы и русские полномочные на то люди – дворянин Петр Данилович Протасьев да подьячий Григорий Богданов. Везли они письма к гетману Войска Запорожского Богдану Хмельницкому, киевскому воеводе Адаму Киселю и митрополиту Сильвестру. Протасьев, Богданов и королевский дворянин, пока было по пути, ехали с великими послами одним обозом, а потом Пушкины и Леонтьев поехали на восток, а посланные за воров Тимошкой – на юг.

Ехали дворяне в разных возках, и хоть вело их в Чигирин и Киев одно дело – смотрели друг на друга искоса. На постоялом дворе помещали русских с хлопами и нищими, а королевскому дворянину отводили лучшие покои.

На втором ночлеге и Богданова и Протасьева обокрали дочиста, а когда стали они спрашивать, к кому им теперь бежать, где покраденное искать, то хозяин двора, смеясь нагло, заводил очи к стрехе и на потеху хлопам разводил руки в стороны.

Кинулись обокраденные к королевскому дворянину – помоги-де – и осеклись: как просить, когда и имени его не знаешь? Протасьев, подбежав, спросил все же:

– Как имя тебе, пан королевский дворянин?

– Юрий Немирич, – ответил пан, скривив рот и по-волчьи оскалив зубы. И с тем из постоянной избы вышел вон, сел в свою карету и уехал.

Протасьев и Богданов выбежали вслед и вконец ужаснулись: коновязь была пуста и ни лошадей, ни коляски их на прежнем месте тоже не было.

Промотавшись до вечера среди незнакомых обывателей, государевы служилые люди решили лечь спать, чая: утро вечера мудренее, авось да и придет что поутру в ум.

Было еще светло, но пошел дождь, не по-летнему тягучий и мелкий, и Протасьев с Богдановым вернулись в постоянную избу. Однако на прежнее место их не пустили.

– Сперва деньги за постой да за ночлег заплатите, а уж потом будете спать, – сказал корчмарь, и дворянин с подьячим поняли: говорит корчмарь не шутейно.

А денег не было – оставались у приставов нательные кресты, огниво с трутом да сумка с бумагами, перьями и чернильницей. И пошли Протасьев с Богдановым во двор. Стояла во дворе банька черная, наполовину крытая гнилой соломой. Забрались пристава под уцелевший – видать, что при бескормице, – скат и, затеплив лучину, стали писать о всем случившемся государю.



Протасьев вздыхал, держа лучину, а Богданов – письменный человек – изловчился положить лист на лавку и, стоя на коленях, писал: «А нас, милостивец, холопишек твоих, Петьку да Гришку, королевы Казимировы люди держат нечестно. Корму не дают вовсе, на постой не пускают и обокрали все дочиста. А ныне держат нас в бане худой, без крыши под дождем. А что будет завтра – не ведаем. Будем скитаться без пристанища меж двор. А королевский дворянин Юрий Немирич тому воровству и татьбе потакал, но не явно и нас, служебников твоих, посередь пути бросив, ускакал неведомо куды».

– А с кем государь скаску свою посылать будем? – вдруг спросил Протасьев, и Богданов, почему-то почуяв надежду, ответил бодро:

– Авось не пропадем. Не на кол нас ляхи посадили, всего-навсе худобу да рухлядишку побрали. А за государем служба не пропадет: вернемся в Москву – все снова ладно пойдет.

## **Глава двадцатая ГИЛЬ И ВОРОВСТВО**

О ту пору, пока с великой мешкотой и всяческим задержанием добирались Богданов с Протасьевым до Чигирина, полномочные приехали в Москву и тотчас же были призваны к государю.

И Пушкины, и Леонтьев разделились во все лучшее – Григорий Гаврилович, несмотря на августовский зной, прихватил с собою шубу, в которой правил посольство перед Яном Казимиром. В карете держал ее на коленях, но, входя на красное крыльцо, все же набросил на плечи. Из-за этого оказалось, что государь выглядел при великих послах как бы малым служебным человеком, ибо был государь в простом платье – ни золота, ни дорогих камней на одежде его послы не увидали. Только несколько ниточек жемчуга лежало на царском кафтане да серебряная вязь оплетала мягкие домашние сапоги.

Царь – молодой, круглолицый, не по годам полный, с коричневыми, чуть выкаченными глазами – послов принял с лаской. Увидев, пошел им навстречу. Григорию Гавриловичу милостиво протянул руку и дал длань благодетельную облобызать. Брату его, Степану, и дьяку сунул под усы не столь ласково.

Григорий Гаврилович прослезился, бухнулся на колени, хотел отбить земной поклон, коснувшись лбом пестрого кизилбашского ковра. Однако государь не допустил, поднял с колен, обнял за плечи, посадил рядом с собою. Двух других послов усадил насупротив, на лавку, что стояла с иной стороны стола. Некоторое время царь молчал. Молчали и послы. Государь сидел, поставив округлый локоть на край стола, подперев пухлую щеку мягкой белой ладонью. Тоска была в очах государя, и от той тоски щемило у послов сердца. Дьяк Леонтьев, опустив глаза долу, думал: «Полгода у ляхов просидели, а наказа государева не сполнили – друкари, что непотребные книги множили, остались живы, писцы, умалявшие царский титул, не наказаны, вор Тимошка гуляет на воле».

Степан Пушкин неотрывно глядел на государя, следя за губами, очами, бровями Алексея Михайловича, чтоб сразу же понять первый знак царского гнева или милости. Григорий Гаврилович, ободренный дружеским приемом, лиха не ждал: царя видел не впервой, угадывал в глазах у него некое дальнейшее видение, тяжкое и неотступное.

Блюдя чин, послы ждали, пока государь начнет разговор. Алексей Михайлович вздохнул глубоко, сказал кротко:

– Карает господь и царство мое и меня грешного паче всех других.

Послы согласно и дружно вздохнули, преданно глядя на государя. Степан Пушкин, простая душа, желая кручину государскую умалить, бухнул, не гораздо подумав:

– Батюшка царь, пресветлое величество! Государство твое богом спасемо. Крепко поставлено, лепо изукрашено. Вон в лондонском городе мужики короля своего Карлуса досмерти убили. Малороссийские холопы своего же короля едва татарам в полон не продали.

Государь, скривив рот набок, сказал тихо:

– Легче ли оттого, Степан? – И сам же ответил: – Тяжелее оттого. По вси места чернь из-под власти выходит. Не только в безбожном Английском королевстве, в схизматической Польше и Литве – в православном Российском царстве рабы подняли топоры на добрых людей. Вот вы, послы, полгода правили посольство в Варшаве, а худого подьячишку у короля и панов-рады достать не смогли.

Боярин Григорий Гаврилович встал с лавки, приложил руки к груди:

– Пресветлый государь...

Алексей Михайлович махнул рукой: «Сядь».

Григорий Гаврилович замолк, сел.

– Я не в укор вам, послы, говорю, что того вора достать не смогли. Я тому не перестаю дивиться, что природные государи – христианские ли, бусурманские ли – держат возле себя подыменщиков многих и защищают их со всем замышлением накрепко. И крымский хан, и турецкий султан, и польский король держат тех подыменщиков со злым умыслом для подысканья под нами нашего государства.

Боярин Пушкин пробасил, не вставая:

– Так то ж самое, пресветлый государь, и мы твоей державной вельможности отписывали.

– Помню, знаю и за то службу твою чту, Григорий Гаврилович. Только не все еще я сказал, что хотел.

Боярин Пушкин заерзал на лавке – понял: упрекнул его государь в невежестве, укорил в том, что встрял боярин, не дождавшись, пока царь все до конца скажет.

– Я о чем думал, вас, послы, увидев? Думал я о недавних годах, когда великая замятня пошла по Руси, аки огненный сполох. Гиль, татьба, воровство и шатание пробежали по многим нашим городам. Не успел блаженной памяти родитель наш Михаил Федорович преставиться, как и пошла, будто по диаволову наущению, гулевщина то в Ельце, то в Тотьме, то в Воронеже. А там и до Москвы гиль добралась. Ай не помните, что на Москве в позапрошлом годе сталося?

15 августа 1647 года в Земский приказ сел по повелению государя новый дьяк. Ростом он был невелик, лицом нехорош, глазки маленькие, носик востренький, бороденка клочками, рот щеляст. Смотрел дьяк куда-то вбок, говорил тихо, ходил неслышно. В руках держал длинные четки из прозрачного камня-электрон.

Звали дьяка Леонтий Степанович Плещеев. Месяца не прошло – взвыли приказные люди от новых порядков, что установил тихогласный и ласковый Леонтий Степанович. Взвыли, но не вслух, ибо знали: во всем верят дьяку Плещееву и государь, и дядька царя – ближний боярин Борис Иванович Морозов. А еще через некоторое время застонала от него и вся Москва.

Говорили, что новый дьяк – колдун, чернокнижник и еретик, ранее уже дочиста

ограбил отданную ему в управление Вологду. Говорили, что был он пытан, бит кнутом и сослан в Сибирь, но силой колдовских чар освобожден и волею своих покровителей – демонов Гога и Магога – влез в сердце к царю, как червь влезает в чистое и духмяное яблоко.

Царь и Морозов отобрали у стрельцов денежные оклады, урезали жалованье приказным людям, ввели небывалые налоги на соль. Простые же люди обвиняли во всем этом более всех ведуна и злыдня христопродавца Леньку Плещеева.

Стрельцы заволновались, а приказные люди стали брать такую хабару и справлять дела за такие приношения, что с лихвой покрыли недостачу жалованья.

А на соляной налог – всяк, кто соль покупал: а мало ли таких было? – худородные людишки ответили великим бунтом.

Сначала посадские собирались у церковных папертей. Шумели, писали челобитные, отряжали в Кремль ходоков – довести государю о скудости, о всеконечном разорении, о мздоимстве и воровстве Леньки Плещеева. Царевы слуги челобитные брали, но к лицу государя ходоков не допускали. Говорили: «Ждите».

Меж тем люди Плещеева выведывали заводчиков смуты, хватали и тащили в Земский приказ. Оттуда – многим на устрашение – выбрасывали их, побитых, покалеченных, рваных, пытаных и ломаных. Иных же вытаскивали замертво и кидали в ров у Кремля, где стаями бродили голодные псы.

2 июня 1648 года царь с молодой царицей Марьей Ильиничной, с боярами и стрельцами возвращался из Сретенского монастыря в Кремль. Вдруг появилась толпа мужиков и баб и перегородила дорогу царскому поезду.

Конные стрельцы окружили карету живой стеной, но пронырливые мужики лезли лошадям под брюхо и совали в окна челобитные. Государь, испуганно улыбаясь, челобитные брал и складывал возле себя. Толпа была велика, многим хотелось поглядеть на царя, многим было интересно, подпустил ли ходоков к своей персоне Алексей Михайлович? Задние стали напирать. Стрельцы сдвинулись теснее, карета качнулась. Царь по-бабьи, высоким голосом, закричал:

– Гони!

Ездовые рванули вожжи. Несколько человек упало. Сытые крупные кони легко понесли карету. Расталкивая толпу древками бердышей, вслед за каретой побежали пешие стрельцы. Конные, вертясь возле кареты, стали хлестать напиравших нагайками. Толпа взревела. В стрельцов полетели камни. Конный государев выезд вихрем влетел в кремлевские ворота, но стрельцы не успели ворота закрыть, и толпа ворвалась в Кремль.

Государь поглядел на послов и понял: они все помнят, что было далее. Помнят, как смерды на глазах у всех растерзали Леонтия Степановича Плещеева, выданного толпе царем, чтобы спасти себя и своих ближних. Помнят, как убивали лучших людей – бояр, дьяков, купцов. Как жгли и грабили дома князей Одоевских и Львовых. Как трое суток горела Москва и в пепел превратились все посады, Чертолье, Арбат, Петровка, Тверская, Никитская, Дмитровка.

И, вздохнув тяжело, со слезами на глазах тихо проговорил царь:

– Смертный грех на мне, и не измолить мне его. Отдал я кровопийцам на муки Леонтия Степановича Плещеева, собинного моего друга и великого доброхота. А ведь это он про Тимошку Анкудинова первым довел, и за то батюшка мой простил ему прежние его прегрешения, а я возвысил Леонтия Степановича еще более и дал ему Земский приказ. Это он, всех нас спасая, смердов в бараний рог крутил, подводил их под ярмо, как скот, а когда дошло до ножей да топоров, мы же его смердам и отдали.

Гаврила Леонтьев, служивший вместе с Плещеевым в Земском приказе и лучше прочих знавший его, подумал: «Не отдал бы ты Леонтия, его все равно бы прикончили. Да и тебя вместе с ним – не поглядели бы, что помазанник».

Боярин Пушкин – любитель священных книг – пробасил смущенно:

– Чего кручиниться, государь. Сказано: «Положи живот за други твоя».

«Твой бы живот положить», – подумал Гаврила Леонтьев, недолголюбивавший спесивого боярина.

– А теперь, – сказал царь со слезами в голосе, – за Леонтия Степановича карает меня господь. Ведь Леонтий мне сам сознался, добровольно, что вора того, Тимошку, остроломейскому учению обучал и что вышел Тимошке знак – быть возле трона или же на троне. И пророчество то сбывается – из огня и из воды живым выходит вор. Молдавского господаря Василия люди схватили – ушел. Из Константинополя из-под топора – ушел. Ныне лучшим моим послам в руки не дан. Что сие значит? Леонтий Степанович мученическую смерть от хамов принял не потому ли же, что за Тимошкой бесовская сила стоит? А ныне что? Не успели вы, послы, в Варшаву отъехать, учинились мятежи в Новом Городе Великом и во Пскове. Велено было псковичам дать из наших житниц хлеба сестре нашей свейской королеве Христине. А тот хлеб должен был закупить человек ее Логвин Нумменс, а псковские гилевщики казну у Логвина отняли, бесчестили его, пытали, посадили в съезжую избу и тем учинили ссору меж наших государств. Воеводу Собакина тоже посадили за пристава. На сходе черных людей выкрикнули атаманом Гаврилку Демидова и послали в Москву людишек всякого звания свое воровство перед нами оправдать. Чернь и бунтари Нова Города Великого, на своих соседей глядя, то же самое вскорости учинили у себя.

Пришлось слать князя Хованского со многими людьми под Новый Город и под Псков. Новый Город в апреле сдался, а псковские воры затворились в городе и никаких уговоров не слушали.

Хованский со всех сторон обложил Псков, но мятежники, писал мне князь Иван, приготовив пушек, и пороха, и свинца, довольно нагло скалили зубы и кричали со стен всякое непотребство. Однако же возле первого заводчика псковской гили – Гаврилки Демидова – были и верные нам люди, они-то доводили князю Ивану о тайных делах, что вершил Гаврилка в земской избе. Среди прочего известили князя Ивана и о воре Тимошке.

Государь встал, отошел к стене, сам открыл кованый сундук, достал кипу бумаг и, положив на стол, со вздохом сказал:

– Вот, господа послы, только о псковском изменном деле сколь писем перечитать пришлось.

Покопавшись в бумагах, два письма государь отодвинул в сторону и одно передал через стол дьяку Леонтьеву. Леонтьев начал.

– «Великому государю...»

Царь прервал его:

– Титул пропусти, не у ляхов посольство правишь, главное чти – о воре Тимошке.

Леонтьев, пропуская строчки, читал, волнуясь:

– «12 июня крестьянин Трофимко Володимиров с товарищами баял, что встретили они возле города Велья трех литвинов с вялою рыбой. И литвины те Трофимке сказали: „Вашего-де государя в Московском государстве нет, а ныне-де он в Польше у литовского короля, а выехал-де он, государь, в Польшу сам-шест тому недель с тринадцать; и сами-де они царя видели, и король-де ево жалует, и смотрят-де на него, что на красное солнце. И стояли бы де оные псковичи против Хованского крепко, и от государя-де будут пожалованы, а государь-де будет с казаками донскими и запорожскими подо Псков на выручку вскоре“.



Царь перекинул через стол второе письмо. Леонтьев, пропуская титул и другие строчки, читал:

– «А 18 июня другой крестьянин в той же избе сказывал, что царь приехал в Литву, а 23 июня баяли некие мужики, что царь, оказывается, уже в Аршаве. И тот Гаврилко на вора, что выдает себя за природного московского царевича, возлагает надежды многие и бунтарей в безумии их укрепляет, что-де с тем вором могут они над войском вашего царского величества одоление поиметь».

Леонтьев замолк, вопросительно глядя на царя.

Боярин Пушкин спросил, с видимым трудом смиряя мощь протодьяконского голоса:

– Великий государь! Не сочти невежеством, что я, холопишко твой, тебя стану спрашивать, а ты мне отвечать.

Царь докучливо махнул рукой: что-де за чины, говори спряма. Григорий Гаврилович, приподняв одну косматую бровь чуть выше другой, спросил:

– А как ныне во Пскове?

Царь развел руками:

– Месяц, как уехали во Псков выборные от всех чинов московские люди призывать гилевщиков к покорности. Однако же все еще до Пскова не доехали. Сидят в Новом Городе Великом – бояться, не учинили бы над ними воров какого дурна.

– А что за люди, государь, посылаемы?

– Именитые люди, Григорий Гаврилович. Епископ коломенский Рафаил, архимандрит Андроникова монастыря Селивестр, вологодский воевода Иван Олферьев, кадомский воевода Иван Еропкин и иные добрые люди.

Послы одобрительно закивали головами: верно-де, люди действительно добрые, к замирению бунтарей пригодные: краснобаи, непростодушные, неробкие нравом.

– А Ивана Олферьева, воеводу вологодского, послал я, чтоб довел Иван псковским гилевщикам о воре Тимошке истинно: ееть-де Тимошка худородный вологодский

писаришко, а не доброй человек и тем паче не из Шуйских князей. И то дело, уповаю я, Олферьев сделает гораздо: опросил Иван вологжан многих и о воришке Тимке знает всю подноготную доподлинно.

Боярин Пушкин спросил еще:

– А где ныне воришка?

Царь снова развел руками:

– Бегают неведомо где. И в Рыльск, и в Путивль, и в Белгород, и в другие порубежные с Литвой города писано – сыскивать Тимошку накрепко.

– Торговым бы людям, государь, что к черкасам ездят, то же самое след бы велеть, – робко вставил дьяк Леонтьев.

– И им сказано, – устало ответил царь. – Да прячет вора гетман, кривит душой, не хочет его нам головою выдать.

– А отчего не хочет? – простодушно спросил Степан Пушкин.

– Яблочко от яблоньки, – ответил царь. – Сам-то он кто таков? Тоже бунтовщик, на природного государя, хоть он и схизматик, руку поднял. Сколь панов побил, какую смуту завел? А как то казацкое воровство в наших землях аукнулось? Там хамы за рогатины похватались, и у нас разбой, да убивства, да непокорство из края в край пошли. Вы мыслите, что калужские или воронежские смерды ничего про те казацкие дела не знают? Все знают и немало удачам Хмеля радуются. И ныне, сказывают, не раз по ярмаркам да по иным торжищам ходили некие безумные шатуны и нагло начальным людям кричали: «Вьется-де хмель быстро. Скоро и сюда дотянется. И ударит-де хмель многим в голову». Вот и думайте, господа послы: а ну как появится Тимошка во Пскове, а с ним малороссийские казаки – те же бунташные холопы? Да не дай бог, поможет подьячишке свейская королева Христина? И жди тогда на Москву нового Гришку Отрепьева.

Послы виновато молчали – велено было им достать вора Тимошку всякими правдами и неправдами, а они, более полугода у ляхов просидев, приехали ни с чем. И хоть не корил их государь – молод был, кроток и сердцем добр, – нехорошо было на душе у послов.

– Доставать надо вора, – зло и громко проговорил великий посол боярин Григорий Гаврилович. – А не отдадут – убить.

– А ты как мыслишь, Степан? – спросил Алексей Михайлович у младшего Пушкина.

– Так же мыслю, государь, – твердо ответил младший Пушкин.

Леонтьев, не дожидаясь, когда его спросят – могли и не спросить, – сказал быстро:

– И я так же мыслю, твое царское величество.

– Ну, так тому и быть, – ответил Алексей Михайлович. – Пошлем к гетману, и к королевскому киевскому воеводе, и к киевскому митрополиту Сильвестру еще одного человека доброго, к посольскому делу свычного. А вам, послы, за верную службу – царское спасибо.

Государь встал. Встали и послы. Низко кланяясь, стали пятиться к дверям.

Алексей Михайлович, сощутив глаза, глядел на узорчатый оконный переплет. Решил – поедет на Украину послом Унковский Васька. И без вора Тимошки – живого ли, мертвого ли – назад не вернется. А решив так, велел Унковского немедленно привести к себе в покои. Не успел государь приказать, как растворилась дверь и в палату чуть ли не вбежал дьяк Волошенинов.

– С радостью тебя, великий государь! – выкрикнул дьяк с порога. – Нашли вора: живет Тимошка в Лубнах, в Мгарском монастыре.

## **Глава двадцать первая ГЕТМАН И КНЯЗЬ**

Посол Унковский ехал на Украину во второй раз. Он тоже считался одним из лучших дьяков Посольского приказа, однако ничем не напоминал Григория Гавриловича Пушкина. Был Унковский мягок, ласков, вкрадчив. Не терпел грубого слова и, когда впервые

встретился с Хмельницким, не раз, краснея, опускал глаза от соленых шуток казацкого предводителя.

Окружавшие же гетмана полковники только головами крутили и хохотали так, что звенели на столе кубки, мигали лампы да колыхались под образами вышитые рушники.

Коротая в дороге время, читал Унковский данный ему государем наказ: «А буде гетман, или атаман, или пристав, или хто в дороге учнет ево, Василья, спрашивать о летах и о возрасте великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси, Василью говорити: „Великий государь наш царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец, его царское величество, ныне в совершенном возрасте и в летах. А дородством, и разумом, и красотою лица, и милосердным нравом, и всеми благими годностями всемогущий бог украсил его, хвалам достойного, паче всех людей. И никто же, видя его царское пресветлое лице, опечален не отходит. Также и наукам премудрым философским многим и храброму ученью навычен, и к воинскому ратному рыцарскому строю хотение держит большое; и по тому его государскому бодроопасному разуму, и храбрству, и милосердному нраву достоин он содержати и иные многие власти и государства“. Пропустив неважное, читал Унковский далее: „И, будучи у гетмана, говорити тебе, Василью, о воре, о русском человеке, который был у него, гетмана, а ныне живет в Лубнах, во Мгарском монастыре. А назад едучи от гетмана, велено заехать в Лубны и с ним видетца. И доставать тебе, Василью, того вора со всем замышлением“.

«Да, – подумал Унковский, – поди достань, когда Пушкины и те с пустыми руками возвернулись. Видать, не лыком шит подьячишка, когда столь народу вокруг себя вертит да никому в лапы не дается».

Адам Григорьевич Кисель – сколько себя помнил – твердо соблюдал жизненное правило: из всякого лиха, если хорошо подумать, можно извлечь выгоду. Потому и появление князя Шуйского решил Кисель обратить себе на пользу. Однако спешить не стал и, поместив Тимофея и Костю на своем дворе, сказал им отдыхать да отсыпаться, а сам начал думать, что следует предпринять дальше.

В конце концов Кисель решил представить князя Шуйского Хмельницкому. Если русские узнают, думал Кисель, что гетман держит при своем дворе вора и подыменщика, подыскивающего московский престол, то царь станет считать Хмельницкого своим врагом, вынашивающим коварные замыслы. Если об этом же узнает Ян Казимир, то он подумает, что взоры воинственного казацкого предводителя обращены не на Варшаву, а на Москву. Если же гетман выдаст князя Шуйского царю, то и здесь великой беды не будет: Адам Григорьевич еще раз докажет свою честность и верность, показав, что ничего от Хмельницкого не скрыл, объявившегося в городе опасного человека отдал в руки гетмана на всю его волю.

Однако Кисель был уверен, что Хмельницкий Шуйского не выдаст, – гетману и самому такой человек был нужен, ибо обширные замыслы Хмельницкого требовали для начатого им дела людей смелых, грамотных, повидавших свет и к тому же умеющих ценить сильную дружескую руку, на которую в трудную минуту они без страха могли бы опереться.

Третий день гулял в своем чигиринском палаце гетман Богдан. В большом зале были поставлены столы, за которыми сидело чуть ли не сто человек. И каждого из гостей гетман потчевал с золотой посуды, что было не по карману ни польскому королю, ни семиградскому князю.

Перед дверью Адам Григорьевич перекрестился и, прошептав: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его», – шагнул через порог.

Хмельницкий, хотя и вел себя со многими иноземцами как самодержавный государь, в домашнем обиходе был по-прежнему прост: не заводил слишком уж многочисленной дворни, не вводил стеснительных церемоний.

Казаки-джуры только тогда докладывали Хмельницкому о приходивших к нему

просителях или гостях, когда гетман бывал занят и приказывал никого к себе не пускать. А если такого приказа не было, то начальник дежурной полусотни сам решал, кого следует пустить в дом, а кого – нет.

Адама Григорьевича Киселя в палате Хмельницкого знали все, не раз бывал он в застольях, не раз – в беседах, потому и пустили его, не замедлив. А вместе с Киселем пустили в дом и нарядно одетого пана с надменно выпяченной губой и гордым взглядом.

Переступив порог зала, Кисель и Тимофей окунулись в гул голосов, громких и дерзких, в клубы едкого табачного дыма от десятков коротких запорожских люлек.



Звон кубков, зычный смех, соленые шутки старых рубак – товарищей гетмана – успокоили Адама Григорьевича, ибо он знал, что в дружеском застолье гетман редко бывает вспыльчив и гневен.

Хмельницкий сидел за отдельным столом, стоящим на невысоком помосте, закрытом ярким ковром. Рядом с ним сидели послы Трансильвании и Крыма, генеральный писарь Иван Выговской, старший сын гетмана Тимофей, генеральный бунчужный и шесть полковников. Среди изукрашенных золотом и серебром иноземных послов и соратников гетмана чернел нахохлившейся вороной игумен Мгарского монастыря Самуил.

Кисель, одной рукой придерживая волочащуюся по полу саблю, пошел плечом вперед к столу гетмана. За ним шел Анкудинов, цепко вглядываясь в лица гостей Хмельницкого. Почти никто не обращал на них внимания, только, когда подошли они к столу гетмана, многие заметили пана Киселя, и то потому, что часто взглядывали в сторону хозяина дома.

Кисель, выказывая истинное свое благочестие, прежде подошел под благословение игумена Самуила и лишь после того поклонился гетману.

Гетман был хотя и хмелен, но – по всему видно – не пьян. Хитро сощурившись, окинул он Киселя с головы до ног насмешливым взглядом и сказал с показной мужицкой простотой:

– Никак, соскучал, пан воевода? Приехал лицо мое видеть, о здоровье моем спросить?

– И за этим приехал, пан гетман, и за кое-чем иным, – ответил Кисель, глядя прямо в глаза Хмельницкому.

Хмельницкий, будто не слыша сказанного, продолжал:

– И не один, вижу я, пожаловал – доброго человека с собою привел.

Кисель расплылся в улыбке, приложив руку к сердцу, проговорил с восторгом, громко, чтоб слышали многие вокруг сидящие:

– Истинно молвил, Богдан Михайлович, доброго человека привел в твой дом – князя Ивана Васильевича Шуйского, великого тебе доброхота.

При этих словах Хмельницкий вконец протрезвел. Кисель понял: все знает гетман о князе Шуйском – раньше него довели Богдану Михайловичу о подлинном имени князя. Были у Хмельницкого сторонники и среди панов-католиков из королевской свиты, да и сам Оссолинский, подумал Кисель, мог сообщить гетману и о русских послах, и о худом человеке, подъячишке Тимошке, что воровским обычаем влягался в царское имя и выдачи

которого требовали царские послы. Понял и ждал: что сделает гетман? Что скажет?

Гетман чуть склонил голову, указал на край стола:

– Садись, Адам Григорьевич, и гостя своего рядом с собою посади.

«Ох хитер, сатана, – подумал Кисель. – Даже то, как сказал – не „моего“ гостя, а „своего“, – и сесть только мне предложил, а Тимошку рядом со мною не сам посадил, а через меня же. Истинно – сатана».

Кисель сел рядом с игуменом. Тимофей – рядом с Киселем. Анкудинов понял: игумен и Кисель давно знают друг друга – беседа их текла плавно, неспешно. Говорили старики не о божественном – больше вспоминали друзей, знакомых, мирян и духовных из Киева и из Лубен.

Игумен Самуил, взглянув на Тимофея из-под кустистых, черных – не по годам – бровей, сказал добросердечно:

– За нашим с тобой, Адам Григорьевич, разговором князь Иван в сей же час заснет. Нет у князя ни в Киеве, ни в Лубнах никого, кто был бы и ему и нам известен?

Анкудинов скосил глаза, подумал: «Сказать или нет?» Решил: «Скажу».

– Был у меня, отче, приятель из Лубен, знакомый мне человек. Звали его Иваном, а прозвище ему было Вергуненок.

Самуил опустил глаза. Кисель с любопытством поглядел на Тимофея, подумал: «Зачем одному подыменщику о втором рассказывать?»

Тимофей, глянув на стариков, понял: знают про Вергуненка оба – и воевода и игумен. Ждут, что он им про Ивана скажет.

– Был мне Иван великий друг, – проговорил Тимофей, внимательно следя за выражением лиц игумена и воеводы. – Метнули нас в тюрьму, в Семибашенный константинопольский замок. И там Иван признался мне, что он родом из Лубен и прозвище ему Вергуненок. А визирю и иным начальным людям говаривал Вергуненок, что он царевич Иван Димитриевич, царевича Димитрия сын.

– И как же ты, прирожденный князь и русского царя внук, подыменщика и вора мог считать другом? – спросил строго игумен Самуил, не зная, что и князь Иван Васильевич с Вергуненком одного поля ягода: такой же самозванец.

Кисель молчал, ожидая, как ответит Анкудинов, что скажет?

К начавшемуся меж ними разговору внимательно стал прислушиваться генеральный писарь Иван Выговской – государственный канцлер и хранитель печати, как называли его послы с Запада, так же, как и Кисель, хорошо знавший, кто таков князь Шуйский на самом деле.

Анкудинов ответил громко, для всех, кто мог вопрос Самуила услышать и столь же сомневаться, как и велемудрый старец:

– Бог дал помазанникам своим державы и государства не для того, чтобы они сладко пили и ели, окружив себя покорной и ласкательной челядью, хотя бы и княжеского происхождения. И не для того, чтобы кабалить вольных людей на потребу богатым да брюхатым. Бог дал царям и королям державы и государства, чтобы они честно и грозно блюли его заповеди: защищали убогих и сирых, карали жестоких и алчных, справедливо раздавая кары и милости.

А русский царь, и бояре, и дьяки, и помещики народ свой столь же любят, как любил кормивших его православных мужиков князь Ерема Вишневецкий и иные пань-католики!

Тимошка попал в точку: имя Вишневецкого до сих пор было самым ненавистным на всей Украине.

На громкий голос Анкудинова, на слова его, гневные, страстные, оглянулись сидевшие рядом есаулы, атаманы и полковники. Увидев это, он продолжал:

– Только пань-зрадцы, душегубы и насильники, нашли на себя управу: гетман Богдан Михайлович погубил им шеи и вызволил народ свой из-под панского ярма, а Алешка Романов гнетет народ вместе с русскими панями, и не нашлось на него пока что своего гетмана! А ежели бы появился на Руси Иван Вергуненок, хотя и самозванцем, да защитил

бы русский народ от бесчинств царских холоуев, осушил бы слезы вдов, пригрел сирот, дал хлеб алчущим – не святое ли дело свершил бы тот Вергуненок? И я бы сам под его начало пошел, ибо не породой берет человек, а силой и разумом!

Гетман слышал слова Анкудинова, но делал вид, что не слышит: тихо говорил о чем-то с семиградским послом, отвернув голову в сторону от Киселя и Тимофея.

С ведома гетмана и генерального писаря Тимофей и Костя вскоре из Киева уехали и поселились в Лубнах, в Мгарском монастыре. Братия монастыря не знала, что за люди появились в обители. О новых постояльцах говорили разное. Однако все видели: игумен Самуил кормил их со своего стола и чуть ли не каждый день к таинственным богомольцам приезжали гонцы. Чаше других бывали здесь гонцы от гетмана, генерального писаря и киевского воеводы; временами приходили к богомольцам и неизвестные люди разного звания. А однажды в полдень пришли в монастырь люди, мало похожие на богомольцев. Одежда на них была справная, сапоги крепкие, взоры дерзкие. Было их трое – все невысокие, голубоглазые, белокурые. Говорили не по-здешнему – бывалые иноки сразу же определили: псковичи. Минувя игумена, прошли в келью к таинникам и не выходили до вечера.

Видели, как один из постояльцев неоднократно из кельи выбегал и по его приказу кухонные мужики тащили гостям и еды, и питья весьма довольно. А вечером вышли все пятеро из кельи и, обнявшись, ушли из монастыря вон, пошатываясь и пересмеиваясь.

Наследующее утро иноки довелись: оставили псковичи в лесу, от монастыря в полуверсте, отрока с полудюжиной коней. И того отрока расспросил монастырский келарь отец Алимпий. А отрок по молодости возраста своего и убоясь греховной лжи все рассказал Алимпию доподлинно. Живет-де в Лубнах, в обители, московский царевич Иван Васильевич. И ждут-де того царевича псковские люди, поставившие щит супротив нынешнего обманного царя Алешки. И буде царевич Иван Васильевич согласится, поедут добрые псковские люди с ним, господином, во Псков. И там поцелуют граждане псковские и иных городов люди законному государю крест и пойдут добывать для Ивана Васильевича его прародительский московский престол.

Алимпий обо всем рассказал Самуилу, и, прежде чем псковичи успели с князем Иваном Васильевичем договориться, в Мгарском монастыре объявилась дюжина казаков – ражих, мордатых, обвешанных саблями да пистолями.

Казачий начальник, в алом кунтуше, в шапке рытого бархата, с шелковой кистью, спадающей на плечо, пригнувшись, вошел в келью со звоном и шумом. Остановился на пороге, подперев могучим плечом дверную притолоку. Не снимая шапки, пробасил зычно:

– Поздорову ли, панове?

Захмелевшие псковичи и Тимоша с Костей благодушно воззрились на великана.

– А ты кто таков будешь, молодец? – спросил Анкудинов.

– Есаул Тарас Кононенко, пан князь, – ответил великан с ленивым спокойствием.

– Проходи, Тарас.

– Недосуг мне, пан князь. Да и за порогом казаки мои ждут меня.

– Тогда говори, зачем пожаловал?

– Не гневись, пан князь, на то, о чем скажу тебе. То не мои слова, а самого гетмана – Кононенко распрямился, положив руку на эфес сабли, сказал громко: – Велено мне гостей твоих, князь Иван Васильевич, сей же час взять и до порубежных мест допроводить. Ни бесчестья, ни дурна, ни лиха от казаков моих им не будет, но и гостевать им на земле Войска Запорожского не велено.

Анкудинов, сжав кулаки, молча слушал. Пытался понять: что задумал Хмельницкий? Откуда свалилась на него эта напасть?

Раздув от бешенства ноздри, спросил хрипло:

– Что же, пан гетман мне и письма не послал?

– Не послал, пан князь. Велел все на словах передать.

Тимофей молчал. Сощурился, глаза, думал.

– Вот что, Кононенко. Супротив воли гетмана я не пойду. Однако ж и гостей моих попрошу тебя не трогать. Подожди пять дней, а я за то время с Богданом Михайловичем обошлюсь и доведаюсь, почему он гостей моих с Украины велит вон высылать?

Кононенко несогласно покрутил головою.

– Ждать мне, пан князь, не велено. А сказано – не мешкая вывозить псковских людей к русскому рубежу.

Молчавшие до того псковичи загомонили.

– Мы вольные люди, есаул, и неволить нас ни вам, черкасам, ни царскому воеводе Ивашке Хованскому не дозволим! – воскликнул один.

– Какая же меж вами и царскими холоуями разница, ежели вы супротив нас, вольных людей, заодно с боярами идете? – выкрикнул второй.

– Я того не ведаю. То дело государственное, – проговорил Кононенко.

– Быстро на вас пан гетман ярмо надел! – презрительно промолвил третий пскович.

– Ты гетмана не замай! – заорал вдруг есаул. – Гетман туда глядит, куда ни одному из вас за всю жизнь не доглядеть! Выходите за порог немедленно! И не вздумайте какого баловства чинить или же хитрости!

Есаул крутанулся на каблуках и вылетел в дверь со звоном и топотом.

Тимофей сказал примирительно:

– Господа послы! Надобно воле гетмана покориться. Придется вам уехать восвояси. А я завтра же утром отправлюсь к гетману и все доподлинно узнаю. А узнав, пошлю к вам весть, можно ли мне быть во Пскове.

Псковичи встали. Враз склонили кудлатые белокурые головы. Молча, один за другим, вышли из кельи вон.

Тимоша за порог не пошел – не хотел смотреть, как гостей его, окружив конной стражей, поведут казаки за монастырские ворота. Сказал только Косте:

– Поди вместе с ними до того места, где кони их стоят, и попрощайся с ними сердечно.

Иван Евстафьевич Выговской встретил Тимошу как родного сына: не знал, в какой угол посадить, не знал, чем потчевать, какие ласковые слова сказать.

Притворив дверь плотно, сел рядом, сказал тихо, душевно:

– Дурит хозяин. Хочет меж двух стульев сидеть. С королем воевать без московской помощи не решается. Думает, царь ему поможет. А объявись ты во Пскове, царь ни денег, ни пороха, ни пищалей гетману не даст.

– Вот оно что! – выдохнул Тимоша.

– А ты как думал! – воскликнул Выговской. – Я же, напротив, всяко гетмана уговаривал: «Пусти-де Иван Васильича во Псков. Царь, его испугавшись, с Яном Казимиром помирится, и нам с королем воевать не придется». А гетман взъярился, кричит: «Тебе лишь бы с королем не воевать! И того ради ты готов меня со всем светом перессорить! Не бывать тому!» И тут же велел Кононенко уехать в Лубны и псковичей тех до московского рубежа допроводить. А тебя, – тут Выговской наклонился совсем близко к уху Тимоши, – велел стеречь пуще глаза. Так что теперь будешь ты от лихих людей безопасен, но и воли прежней у тебя не будет.

– И долго ли буду я под стражей у гетмана?

Выговской печально повел очами, пожал плечами. Сказал задушевно:

– Имей на меня надежду, князь Иван Васильевич. Буду стараться, сколь могу, чтобы было все по твоей воле. Да господь свидетель, не все пока что могу.

Между тем Петр Данилович Протасьев и Григорий Карпович Богданов с великой мешкотой, бесчестьем и задержанием через три недели добрались до Киева. Здесь они узнали, что ни гетмана, ни воеводы в городе нет, куда уехал польский пристав Юрий

Немирич, никто не знал, коронные чиновники говорить с ними о чем-либо отказывались, на все отвечали неведением и ни гонцов, ни денег, ни подвод не давали.

В конце концов киевский митрополит Сильвестр на свой страх и риск, делая вид, что не знает о приказе Киселя не помогать гонцам, дал Протасьеву две подводы и пятьдесят рублей. Пристава поехали в Чигирин, но, когда, наконец, оказались они в резиденции гетмана, их и там ожидало горькое разочарование – Хмельницкий во главе большого войска отправился к границам Валахии.

Пристава кинулись вслед и, претерпевая великие опасности от многочисленных конных шаек, рыскавших между Днепром и Бугом, наехали, наконец, на гетмана в городе Ямполье на Днестре.

Хмельницкий принял приставов сухо. Он сказал им, что давно уже ничего об Анкудинове не слышал и где он теперь – не знает.

– Дело ныне военное, – сказал гетман, – и мне с вами, панове, разговляться некогда. Да и вам при войске быть неместно. Поезжайте-ка вы обратно.

Протасьев бухнулся гетману в ноги, заголосил по-бабьи:

– Пан гетман! Не губи ты наши души, не отдавай нас на растерзание! Как предстану перед государем без вора? Что скажу его пресветлому величеству? Не смогу я молвить, что ты, пан гетман, просьбы его не уважил, православному русскому царю худородного подьячишку не выдал и любовь государскую на воришку сменял.

Хмельницкий задумался.

– Ладно, Петр Данилович. Велю написать универсал, чтоб человека того, что называет себя князем Шуйским, выдали вам ради любви моей и приятельства к Алексею Михайловичу, пресветлому российскому государю, а ехать вам сейчас, пожалуй, и правда не след. А ну как попадете в полон к татарам, тогда уж не князя Шуйского, а вас самих придется Алексею Михайловичу добывать.

Протасьев робко спросил:

– Что же делать повелишь, пан гетман?

– Оставайтесь пока при войске, а как я назад в Чигирин пойду, то и вы вместе со мною безо всякой опаски возвратитесь.

– Мешкотно это и тебе и нам, пан гетман, – тихо возразил Протасьев.

Хмельницкий посуровел:

– Недосуг мне с вами, паны-пристава, язык чесать, не в застолье мы с вами – на войне. Как сказал, так и будет.

Пристава, поклонившись, огорченные пошли вон.

Протасьев у двери спросил:

– А у кого нам тот универсал выправлять?

– О том я скажу писарю в моей канцелярии, – буркнул гетман недовольно.

Оказавшись за дверью, пристава только руками развели – вроде и добились своего, да только универсал еще не написан и когда запорожское войско назад пойдет – ведают лишь господь бог да пан гетман.

Протасьев и Богданов возвратились в Киев только осенью.

Верные люди, что всегда держали руку московского царя, довели им, что двое путивльских купцов – Марк Антонов и Борис Салтанов – давно уже обнаружили воров. На ярмарке в Миргороде узнали купцы о ворах, тайно проживающих во Мгарском монастыре, и, узнав, тотчас же отписали об этом путивльскому воеводе князю Прозоровскому.

А тот наборзе послал в Москву гонца и через две недели получил от государя указ отправить в Лубны дьяка Тимофея Мосалитинова.

Хотя Василий Яковлевич Унковский ехал изрядно поспешая, гонец все же обогнал его, и первым в Лубны приехал не он, а дьяк Мосалитинов.

Путивльский воевода Семен Васильевич Прозоровский имел весьма дурной нрав, и

служилым людям ходить под его началом было ох как трудно.

Дьяк Мосалитинов, хотя и был у Прозоровского правой рукой, характер князя едва переносил и мечтал поелику возможно скоро от службы в Путивле избавиться. Поэтому, когда пришло от царя повеление привезти в Москву из Мгарского монастыря вора Тимошку Анкудинова, Мосалитинов решил: вот она, его судьба, его путеводная звезда. Выполнит он царский наказ – и быть ему в Москве, в каком-либо приказе или избе, а может стать, и возле самого государя.

И потому, приехав в Лубны, он упросил игумена Самуила разрешить ему повидаться с человеком, именующим себя князем Шуйским и живущим в его – игумена Самуила – монастыре.

Анкудинов, узнав о приезде путивльского дьяка, решил, что лучше всего будет сразу же встретиться с ним и затем как можно дольше водить Мосалитинова за нос, не говоря ему ничего определенного. А вместе с тем в разговорах с ним исподволь выведывать, какие же козни готовит ему царь?

Допустив дьяка к себе в келью, Тимоша стал спрашивать:

– По государеву ли указу ты приехал? Не с замыслом ли каким? Нет ли у тебя подводных людей? Не будет ли мне от тебя какого убийства?

Мосалитинов, крестясь на образа, целуя святое Евангелие и божась страшными клятвами, говорил:

– Господине, Тимофей Демьянович, спасением души и жизнями детишек моих клянусь, что никакого дурна тебе от меня не учинится.

Тимофей, сидя на лавке и поигрывая концами кушака, спрашивал дьяка и вдругорядь и в третий раз. И дьяк все время говорил одно и то же, всякий раз находя новые клятвы и дивясь собственному красноречию.

Анкудинов сказал, наконец:

– Завтра приходи ко мне обедать, дьяк Тимофей. Дело твое не простое, сразу его не решишь.

Мосалитинов униженно кланялся, благодарил за честь, сам же думал: «Ну, доедем мы с тобой до Путивля, там ты у меня по-другому запоешь».

Прошел обед, а за ним – второй, в избе у дьяка. Тимоша явился на обед к Мосалитинову сам-сем – шесть человек с саблями и пистолями были при нем, и сам есаул Тарас Кононенко среди них. Однако и на этот раз ехать в Путивль Анкудинов отказался: потребовал привезти ему из Москвы охранную царскую грамоту на имя князя Ивана Васильевича Шуйского.

Мосалитинов чуть не заплакал, услышав новую воровскую хитрость. Однако делать было нечего, и дьяк, пообещав такую грамоту привезти, отъехал на следующий день в Путивль.

Меж тем 13 сентября 1650 года у самого литовского рубежа посла Унковского догнал еще один гонец и повелел, не заезжая в Чигирин, направляться в Лубны.

Унковский свернул на Ромны и через Лохвицу добрался до монастыря. Но вора в монастыре не оказалось: уехал неизвестно куда. И посол, расспросив братию и игумена о худородном подьячишке Тимошке и товарище его – конюховом сыне Костке, поехал в Чигирин.

1 октября посла встретил генеральный писарь Запорожского Войска Иван Выговской, правивший всеми делами в отсутствие гетмана, который все еще был с войском у волошских границ. Выговской разместил посольство и, сославшись на то, что переговоры может вести только гетман, попросил Унковского дожидаться возвращения Хмельницкого.

Унковский тайно спросил доверенных людей, державших сторону российского государя, и те люди сказали ему, что есть здесь некий мещанин, по фамилии Левко. И тот мещанин, сказали Унковскому царские доброхоты, жил с вором на одном дворе и добре все

о нем знает.

За обещанные Унковским изрядные деньги Левко приехал в Чигирин и поведал послу, что истинно – жил он с князем Шуйским на одном дворе, не раз видел его с Адамом Григорьевичем Киселем и слышал, что князь – близкий Выговскому человек.

Унковский посулил Левко немалую дачу, чтобы он, Левко, Тимошку каким-либо питьем опоил или чем-либо окормил до смерти. И мещанин Левко, потребовав часть денег вперед, пообещал Василию Яковлевичу вора Тимошку уморить.

После того как Хмельницкий ушел в поход, Тимофей и Костя жили то у Самуила в Лубнах, то у Киселя в Киеве.

Узнав, что в Чигирин приехал царский посол, Анкудинов и Конюхов поехали туда же, нимало не опасаясь, ибо правил всеми делами в Чигирине их друг Иван Выговской. И на этот раз Тимофей хотел доподлинно выведать, что надобно здесь московскому послу.

Генеральный писарь принял Тимофея, как и прежде, душевно и приветливо:

– Ты, князь Иван, на меня будь надежен и Василия Унковского нисколько не страшись. Здесь я хозяин. Если кому и надобно чего страшиться, то не тебе.

Анкудинов слушал Выговского внимательно: давно понял, что нет среди близких гетману людей большего врага русскому царю, чем Иван Евстафьевич.

В конце разговора Выговской сказал, где стоит посольство, и Анкудинов, оставив коня во дворе Выговского, пошел к посольскому дому. Возле дома встретил он двух слуг Унковского и, назвавшись торговым московским человеком, легко затеял с ними беседу о Москве, о дороге в Чигирин, о местных делах. Нашлись у собеседников и общие знакомые: знал Тимофей свояка Унковского, думного дьяка Михаила Данилова, нашлись и общие знакомые из числа торговых людей средней руки.

По совету Выговского Анкудинов направил к московскому послу Костю, назначив Унковскому на завтра в полдень свидание в церкви.

Тимофей и Костя весь остаток дня советовались, как им вести себя с послом и что говорить. И хотя решили стоять на прежнем, покоя в душе ни у того ни у другого не было.

Тимофей заснул под утро. Снилось ему Вологда, мать, владыка Варлаам, табуны в ночном.

Проснувшись близко к полудню, Тимофей вспомнил ответы рукописного сонника, или же «Снов толкователя», что видеть лошадь – ко лжи, а многих лошадей – ко многим вракам. Видеть же попа – к несчастью. И закручинился.

Когда Анкудинов пришел в церковь, Унковский был уже там. «Видать, тебе увидеться со мной не терпится больше, чем мне с тобой», – подумал Тимофей, вглядываясь в бледное, благообразное лицо царского посла.

Унковский тоже неотрывно глядел в лицо Анкудинову – сурово и спокойно. Оба они сразу же узнали друг друга: хотя и не часто, но встречались в московских приказах по разным делам.

Тимоша, войдя в церковь, снял шапку, и получилось, что он вместе с угодниками божьими заодно приветствует и Василия Яковлевича. Унковский в ответ еле наклонил голову. Не называя Анкудинова ни по фамилии, ни по имени, Унковский сказал:

– Надобно тебе ехать в Москву.

– Кому это надобно? – спросил Тимоша дерзко.

– Великому государю Алексею Михайловичу, – ответил Унковский со сдерживаемым раздражением.

– Пошто я ему зандобился? Ай жить без меня не может?

– Ты, Тимофей, не дури. Если государь велит – сполняй. Много ты дурного ему учинил, но он все то тебе прощает. А не поедешь, – голос Унковского стал строгим и пугающим, – достанем тебя силой и привезем, где бы ты ни обретался.

– Да зачем я ему, государю? Ежели он меня простил, для чего же меня в Москву

требовать? Для награды? – В голосе Анкудинова звенела все та же насмешливая струна, с самого начала раздражавшая Унковского.

– Не холопье дело – рассуждать! – взорвался посол. – Ты прежде исполни, что тебе велено, а потом уж увидишь, зачем да почему.

– А я сызмальства в дураках не ходил и холопом себя никогда не считал! По мне, тот холоп, кто себя таковым сам понимает, будь он хотя бы боярин, князь или государев посол!

– Вот как ты заговорил, христопродавец! – покраснев, будто от удушья, закричал Унковский. – За сколько сребреников продал народ свой, иуда?

– Это ты будешь о народе радеть, благодетель? – по-прежнему тихо, но уже без насмешки, а с еле сдерживаемой яростью спросил Анкудинов. – Ты будешь мне говорить о народе? Да вы его десять тысяч раз ограбили, обездолили и продали – ты, твой царь и вся ваша воровская ватажка! Вы потому и боитесь меня, что я давно вас раскусил: понял, какие вы народу отцы и защитники. Оттого-то и нет вам покоя, оттого-то и ловите вы меня, да только не поймаете. А я до вас когда-нибудь доберусь. Помяни мое слово, господин посол. И тогда не ждите у меня пощады, не будет ее вам – народ не даст.

Анкудинов повернулся и выбежал из церкви.

Сердце его гулко билось, он тяжело дышал от обиды и ярости, и в мозгу у него все время крутилась одна и та же фраза: «Никогда и ни за что не стану я больше переговаривать с царскими холоуями. Никогда и ни за что».

После свидания в церкви вконец раздосадованный Унковский еще раз призвал к себе Левко, называя его, впрочем, на московский лад Лёвкой, и из собственных рук дал готовому к убийству мещанину ладную пистоль – сверх посула, хотя и пистоль стоила немалых денег. И с той пистолью Левко ежедневно крутился около Тимошкиного двора и прятался у дороги, но жил вор очень бережно, и казаков возле него было прикормлено много, и Левко, отчаявшись убить Тимошку из пистолы, решил подыменщика отравить. Да только не знал, как к тому делу подступиться. И, страшась потерять обещанную ему великую мзду, пошел напрямки.

Жил в Чигирине коновал и цирюльник Федор Пятихатка, Левко знал, что цирюльник пускает кровь, варит целительные зелья, знает заговоры от дурного глаза и – поговаривают – может изготавливать яды для опоя и окорма. Одного не знал Левко: что Федор Пятихатка стародавний доброхот Выговского и обо всем, что узнает либо услышит, немедленно сообщает генеральному писарю.

Левко пришел к Федору и попросил у него какого-либо отравного зелья, уверяя цирюльника, что его свояк, живущий на хуторе под Киевом, решил таким образом избавиться от волка, уже задравшего у него четырех овец.

– А не две ли у того волка ноги? – спросил Пятихатка. – А то дам тебе зелья, а ты его супротив человека спользуешь.

Левко побожился, что никаких лихих замыслов он не имеет, носит крест и только того и хочет, чтоб помочь свояку.

– Я дам тебе сильного яду, – сказал Федор, – от него не только волк – медведь подохнет, но стоять это будет недешево.

Левко, услышав цену, ахнул:

– Дак ведь на такие деньги свояк две дюжины овец купит! Нешто нету у тебя зелья подешевле?

– Есть-то оно есть, да от него и петух может оклематься, а уж если хочешь кого наверняка уморить, то тогда и деньги плати, какие требую: не простое это зелье – заморское, из города Венеции, где проживают по таким делам на весь мир знаменитые мастера.

Делать было нечего, и Левко, стеной в душе, отдал Пятихатке золотой червонец – пятую часть обещанной Унковским награды, а взамен получил щепотку белого порошка, который, по словам цирюльника, не имел ни цвета, ни запаха, без остатка растворяясь в

любом питье и в любой пище.

Дал Пятихатка Левко безвредный порошок и в тот же день сообщил обо всем Выговскому. А генеральный писарь велел следить за киевским мещанином и вскоре узнал, что ходит Левко к московским послам на двор и часто бывает возле двора князя Ивана Васильевича. Тогда Выговской позвал к себе Анкудинова, и они договорились, что следует предпринять дальше.

Левко, ошавев от радости, среди бела дня побежал на подворье к Унковскому.

– Василий Яковлевич, государь! – закричал он с порога, увидев посла. – Услышал господь наши молитвы, прямо в руки отдает нам супостата! Сегодня звал меня к себе за стол ближний Тимошкин друг – Костка, баит, есть у него ко мне дело, а о том деле лучше нам поговорить в застолье. Я спросил: «Что за дело?» Костка прямо не ответил. «Есть, говорит, одно дело, но не здесь, а в Киеве, только о том даже и не он со мной говорить будет, а некий иной, великий человек, а имя-де его пока он мне говорить не станет».

Унковский задумался.

– А не подводный ли Костка человек? – спросил у Левко осторожный посол.

– Что ты, государь, что ты! Костка не в пример хозяину своему весьма простодушен, хитрости за ним никогда никакой не упомню.

– Как-то уж больно хорошо дело слаживается, просто не верится, до чего хорошо. Ну, ин ладно, попробуй, – согласился Унковский, и Левко убежал наряжаться к вечерней трапезе, твердо надеясь, что уж как-нибудь выберет момент и подсыплет яд супостату.

Левко решил прибежать пораньше и, когда никого еще за столом не будет, совершить задуманное. Однако, когда он пришел, Костя и Тимофей сидели за накрытым столом вдвоем и, увидев его на пороге, тотчас же прервали разговор.

Костя встал, радушно распростер объятия.

– Вот, Иван Васильевич, тот добрый человек, о коем мы с тобой только что речь вели, – произнес он, обращаясь к Анкудинову.

Сели за стол, выпили по чаре вина.

– Ты уж нас извиняй, что сидим запросто, без слуг. Дело у нас такое, что никто лишний знать о нем не должен, – сказал Костя.

– Не боярин я, поди, – согласился Левко.

– Ну и ладно, – сказал Тимофей и предложил выпить за здоровье гостя еще по одной.

Левко заметно захмелел, но помнил твердо, зачем он здесь и что надлежит ему сделать. А гостеприимный хозяин и его веселый друг шутили да отшучивались, говорили да отговаривались, но о деле пока что ни слова не произносили.

Наконец Костя сказал Левко:

– Ты нас за простоту нашу прости. Однако ж, когда ты пришел, мы о деле нашем не до конца договорили. И ты на нас обиды не имей, ежели мы в соседнюю горницу выйдем и там за недолгое время обо всем порешим.

– Что вы, господа хорошие, да нешто я боярин! – замахал руками Левко, радуясь великой удаче – остаться одному и все дело в момент завершить.

Тимофей, тяжело опираясь о стол («Здорово, видать, захмелел», – подумал Левко), с трудом встал и, положив Косте руку на плечо, вышел из комнаты.

Левко трясущимися от нетерпения и страха руками достал маленькую – с ноготок – серебряную коробочку, открыл крышечку и высыпал белый порошок в кубок вору.

Плюхнувшись снова на лавку, Левко с тревогой стал ждать возвращения воров к столу, нетерпеливо поглядывая на дверь, на стены, увешанные ятаганами да пищалями.

Наконец оба супостата появились и сели всяк на свое место. Анкудинов налил вина: сначала Левко, потом Косте, после всех – себе.

– Ну, Левко, – сказал Тимофей, – задумали мы дело тайное, дело великое.

Левко весь превратился в слух, однако более всего не рассказа ждал – ждал, когда выпьет самозванец зелье.

Тимофей продолжал:

– Однако ж, по русскому обычаю, чтоб дело то успешно завершилось и не было у нас друг от друга ничего тайного, надобно нам перемениться кубками.

Анкудинов Костин кубок взял себе – у Левко сердце едва не выскочило из горла, только успел подумать: «Ах, дурак, надо было обоим ворах зелья подсыпать!» – Косте подал кубок Левко (Левко покрылся холодной испариной), а свой передвинул на край стола главному затейщику.

«Что же это, господа, – подумал Левко, – выходит, я сам себя насмерть отравить должен?» И явственно услышал голос Пятихатки: «Я дам тебе сильного яду. От него не только волк – медведь подохнет».

Ударом кулака Левко сбросил кубок на пол и выскочил за дверь быстрее, чем если б за ним гнались волки.

Когда он был уже у самых ворот, за спиной у него грянул выстрел, и он, не помня себя, побежал вперед, круша плетни и путаясь в сухих будяках пустых осенних огородов.

Когда после этого Унковский еще раз попытался уговорить Анкудинова встретиться с ним, он получил от Тимофея такое письмо:

«Всякий человек, как говорится в Евангелии, есть ложь. Однако же убийца, по Евангелию же, есть сатана, ибо не стоит во истине и истины нет в нем. Так и ты – человек, а не божий, так как подучал к убийству, прельщая очи убийцы мздой воровскою. Зачем же ты при свете ищешь тьму? И зачем теперь пишешь лукавые письма и в письмах этих ищешь сучок, а не чувствуешь бревна в глазах своих? Лечишь здорового, а сам слеп, учишь правым путем ходить, а сам идешь кривой дорогой, как слепец без поводья... А теперь, обидчик, обидь еще; лжец и убийца, убивай еще; клеветник, клевети еще; будет час – и не минет месть тебя».

Обо всем случившемся Выговской немедленно донес гетману, накануне вернувшемуся в Чигирин из похода на волохов.

Гетман готовился к празднику: он собирался женить своего старшего сына на дочери волошского господаря и со дня на день ждал послов, которые ехали по этому делу.

13 октября сватовство началось, и Тимофей вместе с Выговским и еще двумя десятками самых близких гетману людей был приглашен Хмельницким к столу. Московского посла гетман к столу не позвал и видаться с ним не захотел, отговорившись тем, что занят-де подготовкой к свадьбе сына. Однако Ивану Выговскому сказал истину: пусть знает, что своевольства гетман ни от кого не потерпит, пусть это будет хотя бы и сам царь, а не просто царский посол.

Сватовство успешно завершилось, и волошские послы уехали обратно, когда в Чигирин приехал из Мунтянской земли старец Арсений. Он ехал в Москву и вез с собою, среди прочих бумаг, грамоту Иерусалимского патриарха Паисия к гетману. Была та грамота писана на александрийской бумаге, с вислою печатью красного воска, с собственноручною подписью святейшего. И в той грамоте говорилось и о Тимошкином воровском странстве.

Арсений хотел вручить патриаршую грамоту в собственные руки гетмана, но Иван Выговской сказал, что мимо него ни один посол к Хмельницкому не ходит и прежде он, генеральный писарь, должен сию грамоту прочесть.

Арсений стоял на своем, но затем ему сказали, что гетман уехал на хутор Субботов и скоро обратно не будет.

Тогда, покорно вздохнув, он отдал грамоту Выговскому и стал ждать.

Гетман приехал неожиданно скоро.



9 ноября он пришел к старцу. Арсений заметил, что Хмельницкий раздражен. Не слушая старца, небрежно отодвинув патриаршую грамоту в сторону, гетман сказал:

– Царь не хочет воевать за Украину. Он говорит, что не может порушить клятву, данную полякам. Но ведь папа разрешает католикам нарушать договоры и клятвы, заключенные ими с магометанами и православными, а царь, если бы хотел, мог бы получить разрешение от четырех вселенских патриархов не соблюдать клятв, данных католикам. Однако царь этого не делает, а патриархи, – Хмельницкий с брезгливой миной на лице повел рукой в сторону грамоты, – радеют не о том, о чем бы следовало.

И с тем пошел из покоев старца.

«Ох и горд ты, пан гетман! – подумал старец Арсений. – А давно ли слезы умиления видел я в твоих глазах, когда встречал тебя у Святой Софии кир Паисий».

У порога Хмельницкий приостановился и добавил:

– А что патриарх писал с тобою о Шуйском, чтоб отослать его к царю, то у нас такого не повелось, хотя б он и самого короля забил. Из Сечи выдачи нет.

Однако еще через два дня Иван Выговской позвал старца к себе и сказал ему:

– Отче, вот грамота к пресветлому государю Алексею Михайловичу. Подписана сия грамота паном гетманом, и в ней государю ведомо учиняется, что пан гетман ради любви к государю и ради союза и мира меж нашими странами повелел того человека, что называет себя Шуйским, из своей земли выслать.

Старец поклонился, вздохнул смиренно и, за такую малую малость даже спасибо не сказав, вышел вон.

А в обед призвал Арсений к своему столу подписка, синеглазого хлопчика, что писал путевые, отпускные, опасные да проезжие грамоты, и спросил:

– А куда это поехал ныне приятель мой, Шуйский князь? Столь поспешал, что и проститься со мною забыл.

И хлопчик в простоте душевной ответил:

– Писал я ему, святой отче, и человеку его проезжие листы через Волошскую землю до венгер, к трансильванскому князю Юрию Ракоци.

## **Глава двадцать вторая АЛЕКСАНДР КОСТКА**

Анкудинов и Конюхов ехали к семиградскому князю Юрию Ракоци с тайным повелением гетмана – склонить венгров к военному союзу против Польши. Выполнив это поручение, они должны были с такой же целью проехать в Швецию и заключить антипольский союз с королевой Христиной – кузиной Яна Казимира.

Юрий Ракоци – молодой человек, полный воинственных устремлений и боевого пыла, – восторженно отнесся к предложению гетмана. Он принял послов с таким радушием и гостеприимством, какого ни Тимофей, ни Костя еще не встречали.

Князь Ракоци проникся особым доверием к посланцам Хмельницкого и обсуждал с Тимофеем не только дипломатические вопросы, но и предполагаемый ход будущих военных действий.

Ракоци считал, что в предстоящей войне следует нанести удар одновременно с двух сторон: Хмельницкому – на Варшаву, а его войскам – на Краков. Внутри Польши, говорил Ракоци, у него, так же как и у Хмельницкого, найдется немало доброхотов, и они-то и помогут решить исход войны в пользу союзников, взорвав Речь Посполиту изнутри.

– Я познакомлю вас, князь Яган, с человеком, который сделает это, – сказал однажды Ракоци Тимофею. – Вам будет тем более интересно знакомство с ним, что его судьба напоминает вашу.

Анкудинов не придавал словам Ракоци особого значения, но однажды князь представил ему невысокого рыжеватого мужчину лет двадцати – двадцати двух.

– Александр Лев Костка, – сказал князь Ракоци и, указав раскрытой ладонью на рыжеватого, добавил: – Сын покойного короля Речи Посполитой Владислава.

Костка чуть церемонно и печально наклонил голову.

Тимофей внимательно поглядел на него. Александр был бледен, с синими кругами под коричневыми, чуть навывкате глазами. Одет он был в черный костюм: куртку с пышными рукавами и плотно облегавшие рейтузы, подчеркивающие кривизну ног.

– Князь Яган Синенсис, – произнес Ракоци и тем же жестом, каким представлял Костку, представил Тимофея.

Анкудинов наклонил голову и, шагнув навстречу Костке, протянул руку. Рукопожатие Костки показалось ему слабым, рука – холодной.

Ракоци молча откланялся и оставил Тимофея и Александра одних.

Вначале и Анкудинов, и Костка испытали смущение и замешательство, не зная даже, с чего следует начать разговор. Затем Костка спросил:

– Давно вы при дворе князя Юрия?

Тимофей ответил, что два месяца назад он приехал в Семиградье, но вскоре поедет дальше – в Швецию.

– Князь был прав, познакомив нас, – сказал Костка. – Два года назад я был в Стокгольме, и, возможно, опыт, полученный мною при дворе королевы Христины, будет для вас полезен.

Тимофей удивился, как быстро нашли они нужную тему, и с благодарностью взглянул в глаза собеседника. Они поразили его глубокой, неизбывной тоской, которую можно было принять за скуку, но можно было и прочесть в них затаенное долголетнее страдание.

– Вы были в Стокгольме по делу или же вас привели туда странствия? – спросил Тимофей.

– Меня посылал к Христине Вазе мой отец – Владислав Ваза. Я был послом Речи Посполитой при ее дворе. Отец был одержим идеей союза всех европейских держав против турок и отводил шведам важное место в создаваемой им коалиции. Когда я находился в

Стокгольме, отец умер, и я, не желая возвращаться в Польшу, избрал для себя двор благородного и честного Ракоци.

Анкудинов вспомнил, что, кажется, у Владислава был еще один сын – совсем младенец, но о двадцатилетнем сыне – наследнике престола – он ничего не слышал. Немного помолчав, Тимофей спросил Александра:

– Значит, ваш дядя, Ян Казимир, занял престол Речи Посполитой помимо вас?

– Я незаконный сын Владислава Вазы, – просто и привычно ответил Александр. – Моя мать – мелкопоместная шляхтенка Текля Бзовская. При крещении я был наречен Шимоном Бзовским, но затем отец отдал меня в богатую и знатную семью магнатов Костка. Я унаследовал их имя и стал пажом польской королевы. Я не признан наследником моего отца, хотя отец нынешнего короля, Яна Казимира, король Сигизмунд – мой родной дед. Но Ян Казимир делает вид, что не знает о моем существовании, и это-то более всего задевает меня. – Костка взглянул прямо в глаза Тимоше. – Князь Ракоци говорил мне, – сказал он, – что ваш дед тоже был королем московским и что нынешний русский король незаконно, помимо вас, держит за собою престол вашего деда.

– Да, это так, – ответил Тимофей, – и я намерен восстановить справедливость.

– Как?! Как можно добиться справедливости?! – воскликнул Александр, нервно вскидывая тонкие, не по росту длинные руки.

– Есть только одна сила, которая может отбирать короны и троны и давать их достойным. Эта сила – народ. Раньше я так не думал, но мое пребывание у гетмана Хмельницкого окончательно убедило меня в этом. Народ Украины сломал шляхетские сабли и растоптал их прапоры. И любой народ у себя дома может сделать то же самое. – Тимофей вздохнул мечтательно. – Если я когда-нибудь получу московский трон, я буду мужицким царем, и тогда никакая сила не сломит Россию.

– Наверное, вы правы, – отозвался Костка. – Мне будет над чем подумать. А пока, если вам это интересно, я мог бы кое-что рассказать вам о моей тетке королеве Христине, ко двору которой вы собираетесь.

Александр встал и медленно пошел к выходу. Тимофей последовал за ним. В дальнем крыле замка они остановились перед невысокой дверцей. Александр поколебался немного и, отчего-то покраснев, предложил новому знакомцу войти в отведенные ему покои.

Комнатка была тесна и очень просто убрана. Кроме стола, сундука, кровати и двух стульев, Анкудинов увидел лишь темное серебряное распятие, старую лютню и единственную книгу в кожаном переплете.

– Позвольте? – спросил Тимофей и перевернул обложку. – «Анджей Моджевский. Об исправлении государства», – прочел он на выцветшем бледно-желтом листе.

Александр снова покраснел и сказал смущенно:

– Пытаюсь, читая, отыскать истину.

– «Познайте истину, – сказал Тимофей, – и истина сделает вас свободными».

– Эти слова всяк толкует по-своему. И всяк считает себя правым. Священное писание оставлено для всех, да только каждый отыскивает в нем то, что полезно ему самому да его ближним. Так что оставим это, князь. – Костка слабо улыбнулся и достал из сундука небольшую тетрадь. – Может быть, вы найдете здесь нечто более для себя полезное, чем туманные откровения евангелистов, – тихо проговорил он, протягивая тетрадь. – Я написал здесь кое-что о королеве Христине и ее дворе.

«Мы живем в подлое время, – читал Анкудинов, удобно устроившись в кресле в отведенной ему комнате. – Взоры всех устремлены не на лучших, а на знатнейших. Люди смотрят не прямо перед собою, а снизу вверх. И очень немногие – избранные – сверху вниз, презрительно и рассеянно, скользя взором по копошащейся у их ног безликой массе простолюдинов и мелких дворян – постоянных искателей пособий и милостей.

Так и я, несчастный от рождения, в жилах которого каждая вторая капля крови принадлежала благороднейшей семье Ваза, приехал в Стокгольм скорее искателем

милости, нежели дарующим ее другим. Поэтому все мое внимание с самого начала привлекла та, от которой зависело мое положение, отношение ко мне двора, все мое будущее.

Следуя мудрейшим, полагающим, что сущность человека можно понять только тогда, когда будут поняты характеры его отца и матери, я стал расспрашивать о покойных короле и королеве Швеции. И то, что мне рассказали, удивительным образом подтвердило верность старых притч о яблоке, падающем недалеко от яблони, и о том, что в каждом ребенке живет его отец и его мать.

Очень разными были мать и отец королевы Христины, но тем не менее оба они жили в душе своей дочери более согласно, чем тогда, когда были супругами и еще ходили под этим солнцем. Ее отец – шведский король Густав-Адольф, великий завоеватель и гениальный полководец, – был человеком несокрушимой силы воли и беспредельной отваги. Всю свою жизнь он отдал борьбе за торжество протестантизма и в этой борьбе погиб. Отец Христины был глубоко верующим человеком, соблюдавшим строгие нравственные правила и ведущим суровую жизнь аскета и солдата.

Мать Христины, Мария-Элеонора, дочь бранденбургского курфюрста Иоганна-Сигизмунда, красавица, бесконечно милая и грациозная, нежная, привязчивая, слабая, была воплощением женственности. И как большинство красивых и слабых женщин, обладала недалеким умом и отсутствием твердых убеждений. Она увлекалась интригами и потому часто прибегала к хитростям и обману.

У этих-то столь разных по характеру людей и родилась Христина, их единственная дочь. И разве могла она при всем этом не сочетать в себе столь великое множество противоречивых свойств и качеств, что современники ее и, наверное, потомки еще долго будут удивляться этой совершенно необыкновенной женщине?»

Тимофей легко читал написанные по-латыни заметки Костки, в душе гордясь тем, что этот язык не представляет для него никаких трудностей. И хотя ничего необыкновенного в том не было, все происходящее казалось ему маленьким чудом.

«Христина обладает великим умом, – писал далее Костка. – Она блестяще образованна, но многие ее поступки отличаются крайним безрассудством. Имея прекрасные знания, Христина часто поступает противно им; обладая знаниями высоконравственных теорий, она проявляет в действиях совершеннейшую безнравственность.

Близкие к покойному королю придворные говорили мне, что Густав-Адольф всей душой любил свою единственную дочь и с пеленок готовил ее для королевского трона. Солдат и дипломат, он ждал сына, но судьба дала ему дочь, и он решил исправить эту ошибку всеми доступными средствами. С упорством и постоянством, отличавшими Густава-Адольфа всю жизнь, он неуклонно воспитывал в своей дочери мужские качества. С трех лет Христину учили фехтованию, конной езде, плаванию, стрельбе. Отец привил дочери любовь к длительным путешествиям в седле, к ночевкам под открытым небом. И нужно заметить, что дочь оправдывала его надежды. Христина была совсем ребенком, когда король умер, и далее ее воспитанием занялись взбалмошная, непостоянная в привязанностях мать и столь же слабая характером тетка. Здесь-то и следует искать начало той сумятицы, которая возникла в душе юной Христины.

А в 1632 году, семи лет от роду, Христина была возведена на престол, но, конечно же, не она и не ее не способная ни к какому делу мать правили страной. Во главе государства встал канцлер Аксель Оксеншерна, граф Сёдермёре, сохранявший должность регента на протяжении двенадцати лет.

Старый соратник Густава-Адольфа, канцлер королевства на протяжении последних восемнадцати лет твердо держал бразды правления в своих руках. Он внимательно следил за тем, как воспитывают его юную повелительницу, и, мне кажется, в глубине души был даже рад, что до поры до времени у него развязаны руки в делах государственного управления, дипломатии и финансов.

Но, я думаю, он видел, что юная королева необычна во многом и что она может стать

великой правительницей. Поэтому, когда Христине исполнилось десять лет, канцлер, как мне говорили, ежедневно стал навещать ее и постарался оказать на королеву-ребенка все влияние, каким обладал пятидесятитрехлетний государственный муж, уже четверть века занимавший высшие посты в государстве. Навещая Христину во дворце ее тетки, Оксеншерна видел, что после смерти Густава-Адольфа воинские забавы, путешествия и охоты все чаще стали заменяться пирушками с шутами, диковинными уродцами, дурачками и придворными льстецами, ни в чем не уступавшими дурачкам и шутам. Однако в десять лет юной королеве надоели и шуты и солдаты. Она засела за книги, и, как мне говорили, немалую роль в этом сыграл старый канцлер.

Теперь по двенадцать часов в сутки Христина проводила за книгами. К двенадцати годам она свободно владела латинским языком, к шестнадцати читала и писала на немецком, датском, голландском, испанском, итальянском и древнегреческом.

В этом же возрасте ее увлекла европейская политика, и еще совсем девочкой Христина принимала европейских послов, поражая их широтой познаний и тонким проникновением в запутанные и сложные вопросы политики.

Тогда же, говорил мне ее секретарь, она прочла жизнеописание английской королевы Елизаветы Тюдор и твердо решила во многом ей следовать. Как показало дальнейшее, решение ее не было мимолетным капризом взбалмошной пятнадцатилетней девочки. Следуя своему идеалу, Христина заявила, что никогда не выйдет замуж. И вот уже много лет не отступает от этого. Семнадцати лет Христина произнесла в Королевском совете свою первую речь, и те, кто слышал эту речь, рассказывали мне, что она была блистательным образцом ораторского и политического мастерства.

Мне говорили, что королеву, кроме политики, увлекали математика, музыка, искусства, астрология, нумизматика и поэзия. Пять профессоров, обучавших ее всему этому, как мне кажется, без всякой лести, полностью сохраняя достоинство неподкупных ученых мужей, писали своим коллегам в другие страны и говорили при дворе, что более способной ученицы ни один из них никогда не имел.

Ее двор стал прибежищем ученых, изгнанных из разных стран непросвещенными или нетерпимыми правителями. Еще отец Христины приютил в Стокгольме знаменитого Гуго Гроциуса из Дельфта, поборника свободы мореплавания и защитника слабых. Гроциус нашел в Швеции приют и покой, какого он не мог получить ни в Голландии, ни во Франции, где его преследовал всесильный герцог Арман Жан дю Плесси, более известный под именем кардинала Ришелье.

Оксеншерна не побоялся отправить Гроциуса в Париж шведским посланником, а мужественный ученый не испугался принять это назначение. Юная королева вопреки протестам всесильного кардинала оставила Гроциуса на этом посту, пожаловав ему в 1645 году щедрую награду.

Ценя в окружавших ее более всего ум, Христина не делала различия между знатными и простолюдинами. Не удивительно, что она поручила подписать Вестфальский мир сыну графа Сёдермёре – Эриху Оксеншерне и сыну не то ремесленника, не то крестьянина Алдеру Салвиусу – самому доверенному из ее советников.

Жалуя Салвиуса шведским сенатором, королева заявила: «Когда нужны хорошие и мудрые советы, то не спрашивают о дворянстве в шестнадцати коленах, но спрашивают о том, что следует предпринять. Салвий, без сомнения, был бы в деле совета искуснейшим человеком, если бы он был дворянином. Если дети знатного происхождения имеют достойные качества, то они обретут свое счастье, но я не дам этой чести только им одним».

Вместе с тем, как я убедился на собственном опыте, лесть, восхищение и преклонение сделали Христину самоуверенной, надменной, властной и капризной. Она отвергла предложения доброй дюжины знатнейших женихов из разных стран Европы, в том числе испанского короля Филиппа Четвертого, и объявила, что свою свободу она ценит дороже всех сокровищ мира.

Успехи шведской армии в конце последней войны, длившейся тридцать лет,

неустанные дипломатические усилия королевы и ее министров подняли шведское государство на вершину могущества и славы. И здесь-то заговорила в Христине кровь ее матери: она стала изменчива, ее увлекли интриги и сплетни. Но кажется, мне не доведется долго наблюдать все это: завтра я еду в Трансильванию...

Воистину – мир тесен. И воистину нет ничего тайного, что не стало бы явным. Кто мог бы подумать, что и в Трансильвании – за тысячу верст от Стокгольма – найдутся люди, которых заденет за живое образ жизни и дела моей августейшей родственницы?

И тем не менее при дворе Юрия Трансильванского мне сообщили, что дела в Стокгольме пошли по иному руслу.

У Христины появились фавориты – сначала врач, француз Бурдэло, затем испанский посол, за ним итальянец Пиментелли, о которых я слышал, еще находясь в Стокгольме, затем, по словам моего собеседника, возле королевы появилась целая вереница иностранцев, требовавших титулов, земель и денег, денег, денег, денег. Может быть, не все, о чем мне рассказывали, было правдой, но чем объяснить, что Христина отказалась от услуг старых, верных полководцев, дипломатов и администраторов? Их место заняли проходимцы, шарлатаны и авантюристы из разных стран Европы. Политику заменил театр, на смену наукам пришли бесконечные пиры и карнавалы. И если в детстве Христина не знала усталости, занимаясь науками, а в юности дни и ночи проводила в разъездах, совещаниях, спорах и работе, подобно этому теперь она не знает удержу в разгуле и разнузданном веселье.

Однако сейчас, сказал мне мой собеседник, и это, кажется, тоже ей надоело. Она бросила все и, уединившись, углубилась в церковные книги и сочинения ересиархов, колдунов и магов, обнаружив новую страсть – отыскание истины».

Через несколько дней после этого Александр Лев Костка распрощался с Анкудиновым и уехал в Польшу.

Тимофею показалось, что его новый приятель еще больше пожелтел и осунулся. В его глазах Анкудинов видел тоску, и боль, и какую-то горькую покорность судьбе.

И Тимофей подумал, что людей с такими глазами фортуна не любит. Она благосклонна к злым и веселым, уверенным в каждом шаге своем и каждом слове.

Такие шальные глаза, и тяжелую поступь, и зычный смех, и бесконечную удаль видел он у атаманов Хмельницкого и конфидентов сильных мира сего, знавших, что за их спиной стоят власть, могущество и золото – и потому удача и слава, пролетая над миром, обязательно касаются их своим крылом.

А по весне, как только сошел снег, князь Иван Васильевич Шуйский и дворянин его Константин Емельянович Конюхов поехали из Семиградья. Их путь лежал на север, но прямой дороги через Польшу им не было. Через Украину и Белую Русь ехали они к Ревелю, чтобы затем сесть на корабль и прибежать в столицу швейской короны – Стекольный город – Стокгольм.

## **Глава двадцать третья СТЕКОЛЬНЫЙ ГОРОД**

Никогда у Тимофея не было столь легко на сердце, как в этот раз, когда покидал он гостеприимного и дружелюбного князя Ракоци.

Хотя, казалось бы, чему было радоваться, отправляясь в неведомые края, к незнакомым людям, по не простому делу? Тем более что оставлял он не убогую келью и не постоянный двор, а княжескую резиденцию, где были к нему и добры, и предупредительны.

А потому было радостно Тимофею Анкудинову, что ехал он с подлинными опасными грамотами князя Ракоци и был его подлинным полномочным послом. И имя его в тех грамотах – Иван Шуйский – было писано на латинский лад – Яганом Сенельсином.

А еще было радостно на душе у него из-за того, что верил он: наконец-то пробьет его

час, наконец-то взойдет его звезда и он, опоясавшись мечом, выйдет к московскому рубежу на помощь восставшему Пскову.

Быстро доехали он и Костя до Нарвы. И здесь от добрых людей узнали невеселые вести. Новгород пал прошлой весной, а псковичи хотя еще и шумели, но уже были не те, что прежде, и иные люди были во главе их. А армия князя Хованского, пьяная от скорой победы над новгородцами, неразрывным железным кольцом недвижно легла у стен Пскова, со злорадством следя за тем, как день ото дня слабеет и тает мятежная псковская сила.

А узнали они о том от ивангородских купцов Петра Белоусова да Ивана Лукина. Оба купца были злы на царя за то, что шли из Москвы в Псков и Новгород великие тяготы – ремесленным и торговым людям многие поборы и разорения. Тимоша и Белоусову, и Лукину говорил, что если придется ему занять московский престол, то даст он простор и крестьянам, и ремесленникам, и торговцам.

Белоусов и Лукин согласно кивали головами, говорили: «Дай бог, Иван Васильевич. Дай бог. Приходи. А мы завсегда будем тебе опорой».

Хорошо было и то, что оба они вели торговлю со Стокгольмом и для предстоящего посольства были весьма удобны.

Кроме того, познакомили они Тимофея и Костю с надежными людьми, своими компаньонами Бендисом Шотеном, Лоуренсом Номерсом, Георгом Вилькином, кои также нередко бывали в Стокгольме и там могли быть весьма полезны Тимофею.

И потому после долгих словопрений решил князь Иван Васильевич ехать из Нарвы в Колывань, или Ревель, как называли его шведы и немцы, один, а здесь, в Нарве, оставить Костю, чтобы точно знать, что делается в порубежных с Россией местах, и немедля оказаться в русских землях, если возникнет в том необходимость.

– Идти наудалую, на авось да небось я, Костя, не могу, – говорил Тимофей. – Не жизнь моя дорога мне. Единственно, чего хочу, – удачи. И не для себя – для тех людей, что ждут меня и в меня верят.

– Надобно было тебе, Иван Васильевич, – сказал Костя, – год тому назад к московскому рубежу прибаваться и на выручку псковичам и новгородцам идти. Встретили бы они тебя хлебом-солью, крестами и хоругвями. А ныне, я чаю, упустил ты свое время.

– А ты мнишь, я того не ведаю? – запальчиво и раздраженно спросил Тимофей. – Я всю прошлую весну глаз не сомкнул – все думал: как мне во Псков сбежать? Да только те казаки, что со мной ездили, не столько от ворогов меня боронили, сколько глядели, чтоб я куда от них не утек. А ныне, хотя Псков еще и держится, чаю я, сам господь бог, если он есть, и то псковичам не подмога. И идти мне туда незачем. Вот если случится какая новая замятня на Руси, то должен буду я во Псков поспешать немедля, потому что вспыхнет там гиль пуще прежней, и тогда только успевай в новый костер дровишки посуше подбрасывать.

На том они и расстались.

В Ревеле у верного человека Бендиса Шотена Анкудинов оставил Косте подробную инструкцию, как и через кого искать его в Стокгольме, и поспешил в торговую гавань, откуда уходили в Швецию купеческие корабли.

Через месяц после этого, в середине мая 1651 года, на ганзейском бриге «Святой Николай» Тимофей прибыл в Стокгольм.

Шел дождь – мелкий, холодный, серый. Дома и башни Стокгольма казались далекими, окутанными плотным грязным туманом.

Тимоша съехал на берег, оставив на борту «Святого Николая» все, кроме денег и верительных грамот. Оглядевшись, он увидел неподалеку от набережной красивую новую церковь и направился к ней, надеясь найти священника, знающего латынь. Ему повезло. В церкви, носившей непривычное уху название – Тюскачюрка, Тимоша обнаружил службу, и тот с пятого на десятое, ловко жонглируя пятью десятками латинских слов, с грехом пополам объяснил, как пройти к королевскому дворцу.

У ворот замка долговязые латники долго не могли понять, чего хочет от них нарядно одетый иностранец. Наконец один из них догадался позвать караульного офицера. Однако и офицер, наморщив брови, с очевидной неприязнью слушал латынь, судя по всему, не понимая ни слова.

Жестом приказав Тимоше оставаться на месте, офицер ушел во двор замка и вскоре появился с невысоким щеголеватым господином лет тридцати.



Господин, настороженно улыбаясь, взял в руки грамоту, удостоверяющую, что владелец ее высокородный князь Яган Сенельсин является полномочным послом его княжеской светлости Георгия Ракоци Трансильванского к ее королевскому величеству Христине Вазе.

Изящно поклонившись, щеголь произнес с ласковым удивлением:

– Отчего же ваша милость не прислала во дворец кого-нибудь из своих дворян за каретой для подобающей встречи?

Тимоша понял, что здорово ошибся, явившись к воротам замка сам-один, подобно страннику или же просителю.

– Люди мои все до одного остались в Нарве. И мне просто некого было послать во дворец.

Щеголь молча переломил бровь и, ничего не сказав, плавным мановением руки пригласил посла пройти в ворота.

Встретивший Тимофея щеголь был секретарем Иоганна Панталеона Розенлиндта, государственного секретаря Швеции по иностранным делам, и встречи иноземных послов были для него привычным и даже изрядно опостылевшим делом. Однако ни разу еще ему не приходилось встречать посла таким образом – без свиты, без кареты, промокшего под дождем, прибредшего пешком к воротам замка.

И секретарь, ведя посла в кабинет Розенлиндта, осторожно поглядывал на него,

пытаясь понять, что за человек идет рядом, надменно вскинув голову и гордо выпятив нижнюю губу.

Иоганн Панталеон Розенлиндт усадил посла за низкий овальный столик и угостил горячим крепким кофе. Розенлиндт почти сразу же успокоился: князь говорил с достоинством, латынь его была чиста, грамоты в полном порядке.

Решив выждать и при первом разговоре не касаться существа дела, Розенлиндт приказал отвести трансильванскому послу один из покоев в замке, перевезти с корабля оставленные там вещи, а тем временем узнать, что за птица прилетела в Стокгольм и что этой птице здесь нужно?

Следующим утром Тимофей понял, почему церковный служка так плохо говорил с ним на латыни и почему караульный офицер вообще не мог сказать ему на этом языке ни одного слова.

Швеция была протестантской страной, и всякого, кто говорил на латыни, подозревали в связи с папой – врагом протестантов. Зато многие здесь знали немецкий язык, и Тимофей бродил по Стокгольму, перебрасываясь немецкими фразами, в ожидании, когда Розенлиндт представит его канцлеру шведского королевства Акселю Оксеншерне, графу Сёдермёре.

Однажды, гуляя по берегу купеческой гавани, Тимофей увидел трех человек, громко разговаривающих по-русски. Люди эти носили с телеги на корабль кованые котлы, пластины для доспехов, медные доски – «плоты», тонкие листы зеленой меди – латуни – и небольшие увесистые мешочки, набитые медными же «шкилевыми» деньгами.

Анкудинов знал, что и «плоты», и мелкие «шкилевые» деньги в России идут на переплавку и перепродажа их дело весьма для купцов доходное.

Приостановившись, Анкудинов издали наблюдал, как трое, разгрузив телегу, отпустили возчика и медленно побрели по набережной. Чуть поотстав, пошел за ними и Тимофей. Вскоре русские подошли к запертым воротам. Стукнули условным стуком. В отворившемся оконце показалась кудлатая, бородастая голова.

– Свои, свои, – загалдели русские.

– Вижу, не слепой, – огрызнулся кудлатый.

Трое пронырнули в приоткрытые ворота. Тимофей вздохнул и побрел восвояси.

Дождь, не утихавший неделю, тоска, безлюдье, немота окружавших шведов неумолимо влекли его к высокой стене русского подворья.

Однажды он увидел, как из ворот вышли те трое, что встретились еще в гавани. Тимофей быстро пошел навстречу и резко остановился в двух шагах от них.

– Здорово, православные! – проговорил он бодро и звонко.

Русские приостановились, недоуменно глядя на свейского немца – темно-русого, худощавого, с надменно выпяченной губой, в круглой шляпе, в коротких, до колен, штанах, в чулках и башмаках с пряжками.

– Будь здоров, добрый человек! – ответил ему широкоплечий бородач с длинными, до плеч, волосами.

– Пастырь духовный будешь? – спросил Тимоша длинноволосого.

– Сподобил господь, – смиренно ответил тот. – Поставлен на русское подворье новгородским владыкой.

– А звать тебя как? – спросил Тимофей.

Поп смешался. Было видно, что он никак не может понять, кто этот иноземец, столь чисто говорящий по-русски.

– Меня-то? – переспросил поп. – Меня-то зовут Емельяном. А как прикажешь называть твою милость?

Тимоша отставил ногу вперед, левую руку упер в бок.

– Меня, отче Емельян, звать князем Иваном Васильевичем.

Двое спутников Емельяна и сам поп быстро сорвали шапки, закланялись, с

любопытством глядя на русского князя в немецком платье.

Тимоша, избегая расспросов, спросил сам:

– А вы кто такие будете?

Мужик постарше быстро ответил:

– Я, княже, новгородский торговый человек Мишка Стоянов. А это, – показал он на стоявшего рядом с ним высокого молодого парня, – товарищ мой Антон-ладожанин, по прозвищу Гиблой.

Тимоша всем троим – на немецкий манер – по очереди подал руку. Все трое с великим вежеством и бережением руку ему пожали, будто не руку он им протянул, а малую фарфоровую чашечку из страны Китай.

Поп Емельян спросил осторожно:

– А твоя княжеская милость в Стекольне давно ли?

– В Стокгольме я вторую неделю, – ответил Тимоша коротко и на немецкий манер чуть коснулся пальцами поля шляпы, прощаясь.

Однако и попа Емельяна, и его спутников одолело великое любопытство. Как это – русский князь вторую неделю в Стекольне и ни разу не был на подворье? Ни в баню не приходил, ни в часовню, а вместо этого гуляет по городу в немецком платье и вроде никакого дела не правит.

– Зашел бы, твоя княжеская милость, к нам на подворье в баньке попариться да свечечку в часовенке возжечь, – проговорил Емельян ласково.

– Спасибо, отче, на добром слове. И то зайду.

– Приходи сегодня к вечеру. Поснедаем чем бог послал.

Тимоша, прощаясь, опять подал новым знакомцам руку. На этот раз они все, как сговорившись, крепко ее пожали и кланялись уже не столь низко.

В начале июня 1651 года в Стокгольм прибыл русский посол стольник Герасим Сергеевич Головнин. Встречать его прибыл Яган Розенлиндт, ближний королевин человек, по-московски не то дьяк, не то думный дворянин, в сопровождении кавалеров в кирасах и латах. Головнин Ягана видел год назад в Москве, когда приезжал он переговаривать о бесчестье Логвина Нумменса, опасаясь, чтобы из-за того воровского псковского дела не было бы какого лиха между Русским государством и свейской короной. Яган то дело уладил быстро и многим в Москве пришлось по нраву: был умен, прост, по-русски говорил так, будто в России родился.

Увидев Ягана, Головнин душою потеплел, быстро сошел с корабля на берег. Яган так же проворно сошел с коня, пошел к стольнику с протянутыми встречь руками.

Справившись о здоровье государыни и государя и о собственном здравии друг друга, Розенлиндт и Головнин пошли к карете и сели рядом на лавку, будто бы были они не разных государей подданные, а стародавние приятели.

«Вот ведь люторской веры человек, а много приятнее иного православного», – покойно и ласково думал Головнин. И чуял: будет его посольство удачным и скорым.

Передав Розенлиндту грамоты, Головнин откланялся и поехал на русское подворье, кое прозывалось также Францбековым гостиным двором, по имени первого русского резидента в Стокгольме Дмитрия Фаренсбаха, поставившего и церковь, и лабазы, и баню, и иные строения.

Когда карета подъехала к подворью, ворота его были распахнуты настежь, а перед ними стоял поп Емельян в ризе, тканной серебром, с серебряным же крестом в руке. За ним, празднично одетые, стояли торговые люди из Тихвина, Новгорода, Ладоги, Ярославля.

Головнин приказал в ворота не въезжать. Степенно вылез из кареты и, подойдя под благословение, важно пошел на подворье, махнув королевским фореиторам: езжайте-де прочь, вы мне более не надобны.

После краткого молебна и долгого мытья в бане поп Емельян был зван к послу – есть

с ним за одним столом.

Головнин сидел под образами в чистой рубаше тонкого полотна, распаренный, красный. Сидел он распояскай, ноги сунул в валяные сапоги с отрезанными голенищами – получалось не больно лепо, зато ноге тепло, легко и мягко.

– Ну, отче Емельян, говори, како живется вам всем в Стекольном городе?

Емельян подробно обо всем послу рассказывал: о торговле, о ценах, о здешних – не наших – обычаях. В конце сказал:

– А еще, господине, был у нас на подворье некий русский человек. А называл себя князем Иваном Васильевичем. Однако ж, крепко со мною выпив, на молитве велел почему-то поминать себя Тимофеем.

– Каков тот человек из себя? – быстро спросил Головнин.

– Волосом черно-рус, лицо продолговатое, нижняя губа поотвисла немного.

– А что тот человек говорил? – в смутном предчувствии необыкновенной удачи, весь напрягшись, проговорил стольник.

Поп замялся.

– Разное говорил, – наконец выдавил он, решив сказать правду. – «Для чего, говорил, новгородцы и псковичи великому государю били челом? Вот велит их государь перевешать так же, как царь Иван Васильевич велел новгородцев казнить и перевешать».

– А ты что же?! – грозно спросил Емельяна Головнин.

– Я, господине, человек небольшой. Я князю Иван Васильевичу почал было встречь говорить, но князь на меня гневаться стал и кричал. «Глупые, говорит, вы люди! Вас, говорит, в пепел жгут, кнутами рвут, а вы, говорит, как скот под ярмом – мычите покорно и дальше воз тянете».

– Истинно, отче, сказывал тебе вор, что глуп ты. Какой же князь станет такое о государе и верноподданных его говорить? Князь тот – самозванный. Истинное имя его – то самое, каким велел он тебе на молитве себя поминать.

– Тимофей? – ошарашенно выдохнул поп.

– Догадлив, батя, – ехидно проговорил Головнин. – Только не Тимофей, а Тимка. Воришко, худородный подьячишка, беглый тать и подыменщик.

– Он же себя Шуйским называл. Семиградского князя послом называл, – пролепетал вконец обескураженный поп.

– Он такой же семиградский посол, как ты апостол Петр, – отрезал Головнин. И, согнав с лица всяческое благодушие, сказал грозно: – И воришку того надобно нам изловить и в Москву отправить. И ты, Емельян, доведи о том всем русским людям, какие к тебе на молитву приходят.

Через три дня, разузнав о Тимошке многие подробности, раздосадованный Головнин велел прислать за собой карету и сам-один, без толмача и дьяков, поехал к любезному Ивану Пантелеймоновичу.

«Вон как стелет, любезный, – думал он о Розенлиндте. – Вора и государева супостата приютил в королевинном дворце, а российского посла отвез на постоянный двор к купчишкам. Да и я не лыком шит – доведаюсь, что это за семиградский посол объявился в Стекольне».

Иоганн Панталеон Розенлиндт, румяный, надушенный, улыбчивый, встретил Головнина как родного. Радовался, будто не видел его, друга сердечного, много лет. Головнин в ответ хмурился, сопел обиженно. Безо всякой хитрости сказал прямо:

– Иван Пантелеймонович! Ведомо мне учинилось, что в Стекольном городе живет вор, худой человек, беглый московский подьячишка Тимошка. Приехал тот вор от фиршта Ракоци из венгер и, вдругорядь переменяв имя, называется теперь Яган Сенельсин. И ты бы, господине, велел того вора нам выдать для любви и приятельства королевы Христины и нашего пресветлого государя Алексея Михайловича.

Розенлиндт, улыбаясь, сказал вкрадчиво:

– Любовь и приятельство моей государыни королевы к царю московскому Алексею

Михайловичу хорошо тебе известны, стольник Герасим Сергеевич. Только следует тебе знать, что у боярина Ягана Сенельсина есть при себе опасный лист семиградского князя Ракоци, и мы выдать семиградского посла ни в какое государство, кроме Венгерской земли, откуда он к нам пришел, не можем.

Прямодушный Головнин вспыхнул:

– То, Иван Пантелеймонович, ты говоришь неспряма, а с хитростью. Где видано, чтобы убийца и татя от дружелюбного вам государя ты и твои люди укрывали?

Розенлиндт нахмурился.

– В посольской памяти, что читал я перед тем, как привести тебя к целованию руки у государыни моей королевы Христины, не помню я, чтоб о каком-либо худом человеке что-либо говорилось. И тебе, посол, мимо данной тебе в Москве памяти говорить не пристало. Но из любви к твоему государю спрошу я о семиградском после у канцлера графа Оксеншерны, и, что он мне ответит, о том я до тебя, посол, доведу. А до тех пор ты это дело оставь и более им никому не докучай.

Когда Головнин ушел, Розенлиндт долго оставался один, обдумывая, что ему следует предпринять с семиградским послом. Вздохнув, Розенлиндт понял, что ни он, ни Оксеншерна этот вопрос решить не смогут. Решить его сможет лишь сама королева.

– Ваше королевское величество, – говорил Христине Розенлиндт, – прибывший в Стокгольм Яган Сенельсин, кажется, не тот человек, за которого он выдал себя князю Ракоци и гетману Украины Хмельницкому.

– А почему тебя, Иоганн, заинтересовала родословная трансильванского посла?

– Ко мне явился русский посол Головнин и потребовал выдачи Ягана Сенельсина, утверждая, что он беглый преступник, кого-то убивший и ограбивший царскую казну.

– Что же говорит Яган Сенельсин?

– Он утверждает, что его дедом был покойный русский царь Василий из рода князей Шуйских.

– Я бы, прежде чем верить кому-либо из послов – русскому или трансильванскому, спросила об этом знающих людей.

– Я так и сделал, ваше величество. Прежде чем попросить у вас эту аудиенцию, я подробно расспросил о покойном русском царе Василии Шуйском графа Делагарди.

– Он, кажется, командовал войсками моего деда, когда в Московии появились самозванцы и царь Василий был пленен поляками? – спросила Христина.

– Совершенно верно, ваше величество.

– Можно ли полностью полагаться на память старого графа Якоба? Ведь с того времени прошло сорок лет. И кроме того, наши войска не дошли тогда до Москвы. Граф Якоб, если мне не изменяет память, остановился в Новгороде. Мог ли он наверное знать, что происходило в Москве?

– Граф утверждает, – уже не так уверенно, как в начале разговора, произнес Розенлиндт, – что у царя Василия не было детей.

– Может быть, присланный к нам Яган Сенельсин внук царя Василия от внебрачного сына? – настаивала на своем Христина. – Вы знаете, Иоганн, что такого рода истории иногда случаются и в королевских домах.

«Она имеет в виду того несчастного Александра Костку, незаконного сына покойного Владислава Вазы», – подумал Розенлиндт. И решил, что сейчас самое подходящее время сообщить королеве то, что скрывали от нее уже несколько дней и он сам, и канцлер Оксеншерна.

– Ваше величество, возможно, имели в виду сына Владислава Вазы, приезжавшего в Стокгольм три года назад послом от его отца? – спросил Розенлиндт осторожно.

– Да, Иоганн, вы проницательны, – ответила Христина. – Я думала о нем, когда высказала предположение, что присланный князем Ракоци русский столь же несчастен, как и приезжавший к нам Александр.

Розенлиндт молчал, опустив глаза. Вид его свидетельствовал о глубокой скорби и нежелании говорить с королевой далее о чем бы то ни было.

Нервная, чуткая Христина тотчас же уловила это и ободряющим голосом произнесла ласково:

– Вы о чем-то хотите сказать, Иоганн, но не желаете доставлять неудовольствие вашей королеве?

Розенлиндт, вздохнув, сказал тихо:

– Государыня, Александр Лев Костка, сын покойного Владислава Вазы, несколько недель назад варварски убит по приказу краковского епископа.

– Как?! – воскликнула Христина. – За что?! Почему?!

– В полученном мною сообщении говорится, что он поднял мятеж против дворян, назвавшись королевским полковником Наперским. Он разослал в приграничные с Трансильванией области Польши подложные королевские универсалы и подлинные универсалы Гетмана Хмельницкого, призывая холопов к оружию. Вначале удача сопутствовала Александру – он захватил замок на берегу Дунайца, на самой границе с Венгрией, и десять дней ждал помощи от князя Ракоци. Но Ракоци промедлил, а краковский епископ, воспользовавшись этим, собрал войска и взял замок.

– Что они сделали с ним? – сдерживая охвативший ее гнев, спросила Христина.

– Варвары посадили Александра Льва на кол, – тихо проговорил Розенлиндт.

– И ты хочешь, Иоганн, чтобы я, узнав о смерти человека, в чьих жилах текла кровь династии Ваза, в тот же день отдала в руки палачей еще одного несчастного, еще одного гонимого, лишенного прав своего сословия?

– Я менее всего хочу этого, ваше величество, – пылко проговорил Розенлиндт. – Я встречался с Яганом Сенельсином, и он произвел на меня гораздо более хорошее впечатление, нежели царский посол Головнин.

– Я хочу видеть Ягана Сенельсина, – вдруг резко и властно произнесла Христина, и Розенлиндт заметил на глазах ее слезы.

– Когда вам будет угодно принять посла князя Ракоци? – с готовностью откликнулся Розенлиндт.

– Завтра, – ответила Христина. – Но прежде попроси посла Сенельсина написать для меня его краткую родословную.

Возвратившись к себе в кабинет, Розенлиндт понял, что все происшедшее на его глазах было превосходно разыгранным спектаклем. Христина показала государственному секретарю, что ее чувства человека и женщины в решительные моменты никогда не расходятся с долгом королевы. Она ясно дала понять, что союз Швеции с Юрием Ракоци и гетманом Хмельницким – наиболее решительными врагами Польши – нужен сейчас больше, нежели сближение с Россией. Розенлиндт понял, что посол Ракоци и Хмельницкого должен получить от него и канцлера Оксеншерны максимум внимания, а его безопасность должна быть абсолютной.

Вызвав секретаря, Розенлиндт сказал:

– В самых любезных выражениях попросите его светлость князя Ягана Сенельсина, полномочного посла Трансильвании, составить для ее величества краткую родословную. Попросите также его светлость приготовиться к аудиенции с ее величеством.

Поймав вопросительный взгляд секретаря, Розенлиндт добавил:

– Аудиенция назначена на завтра.

В этот же вечер Розенлиндт вручил Христине родословную Иоанниса Синенсиса, написанную им самим на хорошем латинском языке. Родословная гласила: «Иван Шуйский – Иоаннис Синенсис, в святом крещении названный Тимофеем; отец – князь Василий Васильевич Шуйский, во святом крещении названный Домицианом, наместник или губернатор Великопермский; отец отца моего – мой родной дед – был знаменитый Великий

князь Владимирский, который после Димитрия, по прекращении линии Российских государей, был избран на престол по праву натуральному, был низвергнут с престола собственными своими подданными, то есть крамольными бунтовщиками московскими, и отвезен в тюрьму к королю польскому, где и окончил жизнь свою».

– Князь Яган сам писал это? – спросила Христина.

– Да, ваше величество, – ответил Розенлиндт.

– Кроме латинского, знает ли князь еще какие-нибудь языки?

– Я говорил с ним по-русски, – ответил Розенлиндт, – но в разговоре со мной он употреблял и изречения отцов церкви на древнегреческом языке.

Произнося последнюю фразу, Розенлиндт знал, что она придется по душе королеве. Христина любила язык Гомера, но, к сожалению, при ее дворе очень немногие могли поддержать с нею беседу на древнегреческом.

– Вот как! – воскликнула Христина. – Как же это беглый московский простолюдин обучился языкам Еврипида и Вергилия! Здесь что-то не то, Розенлиндт. Придется вам всерьез заняться послом князя Ракоци.

– Когда вашему величеству будет угодно принять князя Синенсиса? – спросил Розенлиндт.

– Я сказала, что приму его завтра, – ответила Христина. – Пусть приходит в два часа пополудни. И ты, Иоганн, будь вместе с ним и с графом Оксеншерной.

Розенлиндт молча поклонился.

Оставив во дворе загородного королевского дворца запряженную четвериком посольскую карету, Тимофей с тревожно бьющимся сердцем поднялся на широкое крыльцо.

У нижних ступенек мраморной лестницы его ждал Розенлиндт, а на втором этаже, там, где начинались парадные комнаты королевы, Анкудинов увидел седого, чуть сутулого старика с золотой цепью на шее – канцлера Акселя Оксеншерну.

Едва Анкудинов вступил на первую ступеньку лестницы, как вперед быстро побежал скороход – легкий, как бы бестелесный, юноша во всем алом.

Тимофей рядом с Розенлиндтом неспешно и важно поднимался навстречу старому канцлеру. Поравнявшись с ним, Анкудинов снял шляпу, низко поклонился и дважды повел шляпой перед собою, как делали послы из европейских стран, встречаясь с Хмельницким. Старик важно склонил седую голову и, встав слева от трансильванского посла – Розенлиндт шел справа, – медленно двинулся вперед через анфиладу больших, роскошно отделанных и изысканно обставленных комнат. Они остановились перед высокой резной дверью, около которой в сверкающих кирасах и касках замерли два алебардщика, стоявший в ожидании их герольд и еще один пестро разодетый лупоглазый мужчина огромного роста и необъятных размеров в груди и в поясе. Великан распахнул дверь и, ударив в пол высоким серебряным жезлом, трубным голосом воскликнул: «Ее королевское величество Христина!»

Канцлер и секретарь по иностранным делам, едва перешагнув порог, остановились, а Тимофей прошел вперед и будто сквозь туман увидел молодую, красивую женщину, со спокойным любопытством глядевшую на него. У женщины была нежная белая кожа, ясные глаза и капризно оттопыренная нижняя губа.

Тимофей трижды помел перьями перед молодой красавицей и, сделав вперед еще один шаг, опустился на левое колено.

Протянув королеве верительную грамоту князя Ракоци, он посмотрел ей в глаза и увидел, что Христина, ласково улыбаясь, поднимается с кресла и, шагнув вперед, берет протянутый ей свиток.

– Встаньте, князь, – проговорила Христина по-латински и протянула Тимофею руку для поцелуя.

Коснувшись губами пальцев королевы, Тимофей, продолжая стоять на одном колене, на латинском же языке ответил, что он счастлив видеть королеву, слава которой не знает

границ.

– Мне довелось испытать многое, – добавил он, – но выполнять столь приятное поручение, как сегодня, приходится впервые в жизни.

Христина улыбнулась еще более ласково. Королеве часто приходилось слышать льстивые слова, но такого неподдельного восторга, какой послышался ей в словах трансильванского посла, она давно уже не встречала.

– Встаньте, князь, – певуче повторила Христина и, подав Тимофею руку, как бы помогла ему встать. Затем, обратившись к Оксеншерне и Розенлиндту, сказала: – Проходите, господа, и устраивайтесь поудобнее.

Жестом гостеприимной хозяйки она указала на круглый стол с поставленными вокруг мягкими стульями. Тимоша отодвинул один из стульев, и Христина, благодарно ему улыбнувшись, первой села за стол. Вслед за тем сели Оксеншерна, Розенлиндт и последним – Анкудинов.



Деликатность трансильванского посла была замечена всеми. Обворожительно улыбаясь, Христина сказала:

– Не скрою, князь, что в Стокгольме есть люди, распространяющие о вас крайне нелепые слухи. Они утверждают, что вы родились в семье простолюдинов и носите княжеский титул не по достоинству. Признаюсь, что до встречи с вами я не была уверена в их неправоте. Теперь же едва ли найдется человек, которому удалось бы убедить меня в вашем благородном происхождении.

– Благодарю вас, ваше величество, – тихо ответил Тимофей, скромно потупив взор. – Я действительно долго жил среди простых людей и надеюсь, что преуспел бы больше, если бы в юности рядом со мною были мои родители – князь и княгиня Шуйские. Однако я рано остался сиротой, мое происхождение долго оставалось для меня тайной, и лишь в десятилетнем возрасте я узнал от воспитывавшего меня архиепископа, что мой дед был русским царем, а отец – наместником Перми Великой. Когда мне стало известно истинное

мое происхождение, отец нынешнего русского царя уже четырнадцать лет занимал престол моего деда, умершего в польской тюрьме. Я не смел называть себя моим настоящим именем и носить принадлежащий мне по праву рождения княжеский титул, ибо трусливый и подозрительный царь обязательно казнил бы меня или заточил в подземелье, сознавая, что мои права на московский престол значительно более основательны, чем его. Я тайлся, страхась смерти, а затем бежал за пределы Московии, спасая жизнь и свободу. И уже здесь, вдали от недругов, желавших моей гибели, я решил добиться справедливости и возвратить престол, незаконно отнятый у моей семьи.

– Князь обращался за помощью к разным государям, – вступил в разговор Розенлиндт. – Он искал поддержки в Польше – у короля Владислава, затем в Турции, но эти попытки оказались тщетными.

– Гетман Украины и князь Трансильвании более всего прониклись сочувствием к планам князя Шуйского, ваше величество, – сказал канцлер Оксеншерна. – Они прислали князя с просьбой о заключении между тремя нашими странами военного союза, направленного против Речи Посполитой. Кроме того, канцлер Украины Иван Выговской просит разрешить князю Шуйскому поселиться в Шведской Прибалтике – в Ревеле или Нарве – и при случае выступить к Новгороду или Пскову, если в одном из этих городов снова произойдет восстание горожан, как это случилось прошлым летом.

– Вы хотите, князь, воспользоваться недовольством горожан, для того чтобы с их помощью овладеть затем московским престолом? – строго спросила королева.

Тимофей заметил происшедшую в ней перемену и в тон ей – сухо и коротко – ответил:

– Да, ваше величество.

– Династические распри – сложное дело, – сказала Христина. – В них, как и во всех прочих распрях и баталиях, побеждает не тот, кто прав, а тот, кто силен. Если вы, князь, соберете вокруг себя государей, которые все вместе окажутся сильнее московского царя Алексея, вы выиграете. Если нет – проиграете. Вы или обретете корону, или потеряете голову.

– Жребий брошен, ваше величество, – ответил Анкудинов.

Королева встала.

– Ну что ж, будем надеяться, что сегодня мы беседовали с гиперборейским Цезарем.

Христина вышла из-за стола и, позволив Тимофею предложить ей руку, пошла к двери.

Отвесив прощальный поклон, Тимофей попятился и вышел за дверь.

– Так выходят татарские послы из дворца султана, – усмехнулась Христина и, обращаясь к двум стоявшим перед нею дипломатам, сказала: – Ну, каков москвит, господа? Что будем делать с этим новоявленным Димитрием?

– Я думаю, – сказал Розенлиндт, тяжко роняя слова, – князь Шуйский должен получить нашу поддержку. Короне Швеции выгодно иметь на своей стороне грозный и постоянный противовес царю московитов.

– Я согласен с Розенлиндтом, – проговорил Оксеншерна, – тем более, что пока князь Шуйский не просит ничего, кроме разрешения поселиться в Ревеле или Нарве.

– Хорошо, – согласилась Христина. – Отправьте его в Ревель, граф, под наблюдение вашего племянника Эрика Оксеншерны. Пока Эрик – губернатор Эстляндии, нашему русскому другу нечего будет бояться царских соглядатаев.

Узнав о состоявшейся во дворце аудиенции, Головнин снова потребовал у Розенлиндта и Оксеншерны выдачи Анкудинова, но получил лишь заверения, что ни секретарю, ни канцлеру не известно, о ком идет речь, так как посланец семиградского князя Ракоци, передав привезенные письма, сразу же уехал, скорее всего, обратно в Трансильванию, и вообще трудно сказать, о том ли человеке идет речь, которого имеет в виду русский посол.

Когда Герасим Головнин вторично потребовал выдачи Анкудинова, тот был еще в Стокгольме. Сразу же после аудиенции у Христины Анкудинов написал Косте

повелительный лист и, отыскав в Стокгольме русский корабль, передал лист купцу Поддубскому, следовавшему в Нарву.

«Любезный друг мой, Константин Евдокимович! – писал Тимофей. – Как только получишь от меня сей лист, то немедля поезжай в Ревель и там отыщи рухлядь, которая из Стокгольма привезена. Оставь сию рухлядь в надежном месте, а потом отыщи в Ревеле же Бендиса фон Шотена и сделай, что мною написано в листе, оставленном у вышеозначенного Шотена.

В Ревеле же живет Лоуренс Номерс, и тот Номерс отправит тебя в Стокгольм. Сделай сие немедля и поспешай ко мне, ибо я жду тебя для важного дела. Князь Иван Шуйский».

Тимофей надеялся, что он спокойно дождется Костю, но жизнь рассудила иначе – Розенлиндт после вторичной встречи с Головинным велел Анкудинову немедленно покинуть Стокгольм и с первым же кораблем отплыть в Ревель.

...Тимофей ушел от любезного Ивана Пантелеймоновича с тяжелым сердцем и великим недоумением.

Хоть и улыбался королевский секретарь не менее прежнего и голосом ласкал, будто в церковном хоре пел, была у него в глазах холодная пустота. И нельзя ее было скрыть, хоть опусти очи долу, хоть прикрой ладонью.

– Надобно тебе, князь Иван Васильевич, к московскому рубежу поближе быть, – тихо и просительно говорил Розенлиндт. – В Стокгольме жить тебе опасно – царские соглядатаи по проторенной дорожке вновь придут к твоему двору и если не выкрадут, то убьют тебя. А мне, истинному твоему другу, весьма того не хочется.

Тимофей хотел было Розенлиндта спросить: «А в Ревеле легче будет мне от царских убийц оберегаться?» – да, подумав, спрашивать не стал: ясно, что ненадобен он теперь Розенлиндту в Стокгольме, а потребен в Ревеле. А почему – о том самому нужно будет догадываться.

Молча поклонился Тимофей и снял с пояса усыпанные бирюзой ножны с кривым турецким ножом. Протянув их любезному другу, сказал со значением:

– Иван Пантелеймонович! Возьми в память обо мне янычарский кинжал. Зачем он мне, если вся сила короны свейской не может меня от недругов моих оборонить?

Розенлиндт рассмеялся, легко махнул рукою: шутишь, мол, Иван Васильевич, шутишь. Однако кинжал взял и, прихватив Тимошу за локоть, ласково и вежливо довел до двери, сказав на прощанье:

– Ты, князь, о силе короны свейской всякие сумнения оставь. Однако ж и сам не плошай: нынешний царь российский тоже – как это говорится у вас? – не мочалкой сшит.

Тимоша, не удержавшись, засмеялся, засмеялся и Розенлиндт, не подозревая, над чем хохочет князь Иван, ибо считал свои познания в русском языке безупречными.

## **Глава двадцать четвертая НАЧАЛО КОНЦА**

Костя получил повелительный лист Тимофея 9 августа 1651 года. Он все сделал, как ему было велено, и с помощью верных людей – Номерса и Шотена – отплыл на шхуне ревельского морехода Георга Вилькина, часто навещавшего Швецию.

Однако дальше дела пошли хуже: непогода, разыгравшаяся в открытом море, четыре недели трепала утлое суденышко, пока, наконец, полуразбитая шхуна с порванными снастями и проломленным бортом притащилась в Стокгольм.

Костя сразу же начал поиски друга. Вилькин показал ему дорогу к русскому торговому двору, где останавливались всеведущие купцы, среди которых Костя надеялся найти словоохотливых соотечественников, особо добрых к своим землякам, оказавшимся, как и они, на чужбине.

И верно: на торговом дворе сразу же попали Косте ивангородские купцы Иван Лукин, Петр Белоусов и шведский торговый человек Петр Торреус – друзья и доброты

Анкудинова, с которыми судьба свела Тимофея еще в Нарве. Но на этом удачи Кости в Стокгольме кончились: и Иван, и оба Петра в один глас сообщили ему, что князь Иван Васильевич уехал в Нарву и велел Константину Евдокимовичу плыть туда же.

Костя чуть не заплакал от досады: столько мучений принял он на море, спеша к своему другу, и вот на тебе – приходится ни с чем отправляться восвояси.

Долго не уходил с гостиного двора Костя. Расспрашивал, кто да когда поедет в Ревель, сколько берут за перевоз швейские люди, что следует в Стокгольме купить, чтоб с выгодой в Нарве продать. И о многом другом переговаривал он с русскими людьми, оттягивая момент расставания с соотечественниками.

И когда совсем уж было собрался пойти со двора, появился возле него человечек – сутулый, маленький, остроносый. Карлик на глазах наливался радостью. И наконец, ударив себя по лбу, воскликнул, сильно окая на волжский манер:

– Константин Евдокимович! Свет ты мой! Да ведь ты не иначе, как князя Ивана Васильевича ближний человек и собинный друг! А я ему, Ивану свет Васильевичу, первый во всей Стекольне приятель и доброхот!

– А тебя, добрый человек, как звать? – спросил Костя, пытаясь заглушить чувство неприязни, возникшее у него при первом взгляде на доброхота.

– Федором Силиным звать меня, – живо откликнулся карлик.

– А сам-то откуда будешь? – спросил Костя.

– Ярославские мы, – с готовностью ответил словоохотливый Силин. – Издавна торговлишкой промышляем. Последние годы через Ивангород и Нарву в Стекольну ходим. Я об Иване Васильевиче еще в Нарве слышал. Говорили мне о великом его разуме и добродетели многие люди, а особливо начальный в Нарве человек – воевода Яган ван Горн.

Все сходилось в речах Силина, а особенно добрые слова коменданта Нарвы ван Горна, у которого Костя побывал в доме вместе с Тимофеем и сам был свидетелем того, как ласково и сердечно принял их Горн.

Когда Костя пошел со двора в гавань, Силин увязался за ним и расстался только после того, как Конюхов согласился вечером прийти к нему в гости на дружескую трапезу.

– Кого еще позовешь? – спросил Костя, и Силин назвал ему Лукина и Белоусова.

«Эко славно все получается! – подумал Костя. – Посижу с верными людьми – и с приятностью и с пользою для дела».

Силин встретил Костю у ворот гостиного двора и с великою поспешностью стал звать его, улыбаясь и кланяясь. Пропустив Костю в низкую дверь постоянной избы, Силин в темных, тесно заставленных сенях обежал его и распахнул еще одну дверь – в горницу. Горница была велика, но не просторна. По русскому обычаю, чуть ли не половину ее занимала печь, посередине стоял большой стол с широкими скамьями с обеих сторон. Тусклый свет скупо проникал в окна, и от этого в горнице было нерадостно и неуютно.

Переступив порог, Костя различил в полумраке нескольких человек, сидевших вдоль стола.

Свечи еще не зажигали, лишь светила в углу под образами лампадка, но от нее только тени становились темнее и гуще, а света не прибавлялось.

Присмотревшись, Костя не увидел ни Белоусова, ни Лукина. За столом сидели незнакомые ему люди. Под образами, на самом почетном месте, сидел, будто проглотив аршин, рыжеватый, нарядно и богато одетый мужчина. Черными навывкате глазами он неотрывно глядел на Костю. Рядом с ним сидел поп – в черной рясе, с наперсным серебряным крестом. Вид у попа был не то виноватый, не то растерянный. Еще четверо сидели на лавке спинами к вошедшему. Силин остановился у печи и растаял в тени.

– Ну, проходи, проходи, Константин Евдокимович, – криво усмехаясь, проговорил черноглазый.

Костя шагнул вперед, а четверо, сидевшие на лавке, встали и заслонили собою дверь.

– Садись, Константин Евдокимович, в ногах правды нет, – так же насмешливо продолжал черноглазый.

Костя оглянулся, перехватил недобрые взгляды четырех и понял: попался. Костя ухмыльнулся и проговорил лукаво:

– Когда был я еще мальцом и учили меня грамоте, учитель мой говорил мне не однажды: «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им и пиршество их – западнею».

– Чего это ты? – спросил озадаченный иносказанием Головнин.

– Не я это, а царь Давид, – усмехнулся Костя. Не выдавая волнения, Костя сел поближе к черноглазому и ответил: – Верно сказано: каков пир, такие и гости. А я гляжу – ни еды, ни питья на стол не собрано, а гости – все за столом.

– А мы, Константин Евдокимович, вперед с тобой поговорим, а уж потом и пировать станем, – согнав улыбку с лица, произнес черноглазый.

– Можно и поговорить, только для начала нехудо бы знать – с кем?

– Государев посол, стольник Герасим Сергеевич Головнин мое имя, – важно ответил черноглазый.

«Вот, значит, кто», – подумал Костя. Однако испуга не почувствовал: что могли сделать ему царские холопы в чужой земле, где люди жили по иным законам? А те законы скорее помогали ему, Косте, чем мешали.

– Нам, Костка, – оставив вдруг насмешливое величанье Константином Евдокимовичем, зло и грубо проговорил Головнин, – о воровстве твоём известно довольно. И ежели ты соучастника своего Тимошку изловить нам поможешь, то будет тебе от государя прощение, а от меня – награда.

– Не понимаю я, о ком ты говоришь, стольник Герасим, – ответил Костя спокойно.

– О подъячишке худом, воришке Тимке, что выдает себя за великородного человека – князя Шуйского, вот о ком говорю я, – ответил Головнин.

– Не собрал бы ты вокруг себя полдюжины холопей, набил бы я тебе рожу, – сказал Костя хрипло и, повернувшись, хотел было пойти к двери, как все, кто в избе был, тотчас же набросились на него и стали вязать.

Хоть и силен был Костя, но с такою оравой сладить и он не мог. Кричал только:

– Малоумные! Нешто вы на Москве? Кто же вам волю дал честного человека вязать и бить?

Головнин пнул связанного в бок сапогом и велел посадить его в часовню: там и решетки на окнах были прочнее, и замок поувесистей. А чтоб не привлёк криком кого из посторонних, велел сунуть в рот ему кляп.

Костю, как мешок, перетасили из избы в часовню, кинули на голый пол. Он долго ворочался и извивался, пытаясь развязать хотя бы руки, но только к утру сумел вытолкнуть изо рта тугую мокрую холстину и, подкатившись к окну, громко закричал, призывая на помощь.

Однако прибежали не те, кого он ждал, а поп Емельян с холопами. Сев на него верхом, они снова затолкали Косте выплунутый на пол кляп и привязали для верности к столбу, подпиравшему потолок.

В суматохе дверь осталась раскрытой настежь, и несколько человек, из тех, что жили на постоялом дворе, привлеченные криками, заглянули внутрь.

Их лица, испуганные, удивленные, с растрепанными со сна волосами, промелькнули перед Костей. Однако среди них он увидел и хорошо знакомое лицо своего наравского знакомого и приятеля Петра Белоусова.

Через час стражники стокгольмского губернатора вызволили Костю из неволи и привезли к канцлеру Акселю Оксеншерне.

Канцлер, выслушав Костю, велел ему идти куда угодно, однако сказал, что со дня на день его вызовут на суд и Косте нужно будет снова повторить все здесь сказанное.

Костя ушел, а канцлер велел привезти к нему московского посла. Однако Головнин сказался больным и к канцлеру не поехал. Тогда Оксеншерна велел передать Головнину, что королева не сможет принять царского посла, пока он не побывает у канцлера.

Головнин для приличия проболел еще день и после этого явился к Оксеншерне.

Старый дипломат, сухо поклонившись, сказал:

– Я прошу вас, господин посол, объяснить мне, что произошло три дня назад в капелле русского гостиного двора.

– Я не поп, – ответил Головнин насмешливо, – и что в церкви бывает – не всегда знаю.

Оксеншерна вспыхнул:

– Тогда я скажу, что там случилось. Вы схватили вольного человека и, повязав веревками, кинули его в капеллу.

– Вора мы повязали, боярин Аксель, нашего государя супостата, – произнес Головнин таким тоном, каким говорят с непонятливыми детьми.

Оксеншерна, раздражаясь, проговорил:

– В королевстве Шведском и в иных христианских государствах послы, представляющие персону своего государя, не могут вести себя как лесные разбойники. В каждой стране есть свои законы, и их следует соблюдать. Что было бы, если бы шведский посол в Москве обманом заманил к себе на подворье какого-либо человека и там стал бить его и мучить?

Головнин искренне не понимал, чем недоволен канцлер, и, возражая, говорил:

– Боярин Аксель! Пойманный нами человек – худой подписок, дурной человечешко, вор, тать и нашего государя супостат. От него и в свейской земле можно ждать многого убийства и воровства. И мы его взяли, чтобы и свейским людям тот вор какого дурна не учинил. И тебе бы, боярин Аксель, за то наше дело нам следовало спасибо сказать, а ты вора выпустил, а мне, государеву послу, говоришь непонятные слова и чинишь великую досаду.

Оксеншерна, махнув рукой, с раздражением ответил, что скоро в Стокгольм приедет королева и сама решит это дело.

Христина, узнав обо всем происшедшем, приказала учредить комиссию под председательством канцлера.

– Эти варвары считают, что могут делать в нашей стране все, что им заблагорассудится, – сказала королева. – Граф, я прошу вас преподнести хороший урок московским дикарям.

Оксеншерна постарался угодить королеве, тем более что и сам хотел того же. Он учинил многодневное нудное разбирательство, во время которого были заслушаны все участники нападения на Конюхова: русский купец Силин, заманивший его в избу к стольнику, сам стольник Головнин, его многочисленные слуги, Костя Конюхов и свидетель с его стороны – Белоусов.

Судьи разговаривали с каждым из них, не делая никакого различия между холопами посла и самим послом. Они доказывали им, что заманивший Костю Федор Силин менее виноват, чем поп Емельян, набросивший на шею Кости веревку, а стольник Головнин, хотя собственными руками и не душил обманутого им дворянина Конюхова, виновен больше всех, ибо всей этой затейке был голова и, кроме того, в это же самое время был послом, что означает, что все содеянное производилось им, Головинным, как бы по наущению самого царя.

– Ее величество королева Швеции Христина, – заявил после суда канцлер, – считает разбойничье нападение, учиненное русскими в ее городе, великой для себя обидой и оскорблением. Она повелевает стольнику Головнину оставить ее страну, а Константину Конюхову дает охранный лист и разрешает ехать куда и когда угодно.

Выслушав решение канцлера, Головнин только руками развел да плюнул с досады. «В Москве судят несправедно, – подумал он. – Чего греха таить – ради денег иной судья и

невиновного засудит, а виноватого оправдает. Но чтобы явного вора и худородного человечешку взяли под защиту, а государева посла прогнали прочь – такого срама на Москве никогда не бывало». Однако вслух Герасим Сергеевич ничего не сказал: вывернут люторе слова его изнанкой наружу и еще хуже представят дело. И так ясно, что пойдет теперь в Москву от королевы гонец и будет в королевниной грамоте представлен он, стольник и верный государев слуга, лесным разбойником, а воры Тимошка да Костка – невинными пташками.

Алексей Михайлович после замирения Новгорода и Пскова твердо решил всякую гиль и воровство пресекать в самом начале и не давать малой искре превращаться в пожар, какой потом погасить бывает весьма трудно.

Царь любил книги по гистории и философии, но еще более любил он нравоучения святых отцов, азбуковники, Четьи-Минеи, а более всего, стыдясь в этом кому-нибудь признаться, любил читать речения и поговорки, коими исписаны были печные изразцы в его палатах.

Часто, приложив руки к горячим гладким печным изразцам, глядел Алексей Михайлович на картинки, писанные синей, зеленой, коричневой глазурью.

«Прелесная вещь», – было написано под царскою короной, и Алексей Михайлович думал: «А и впрямь прелесная: сколь многих прельщает».

Печально вздохнув, думал далее: «Надо бы велеть дописать: „Сколь прелесна, столь и тяжка“».

Разглядывая другие картинки, видел государь могучее древо – высокоствольное, с раскидистою кроной, с густыми корнями. Только ствол его рассекала пополам страшная молния – внезапная и неотвратимая. А надпись, полная меланхолии, подтверждала: «Тако аз есть бессмертно». И рядом видел царь еще одну картину: горящие сучья и поленья с многозначительной под ними сентенциею: «От многого потирания происходит огонь».

Разные были картинки, и подписи под ними были разные, однако все они навевали государю одну мысль: хотя и подобен его род могучему древу, но не вечен. И может быть так же поражен, как и древо. А причиною всему будет его шапка Мономаха – воистину прелесная вещь. И отымет шапку сию появившийся, подобно молнии, вор и подыменщик Тимошка. Вспыхнет тогда костер огненный, и будут в том костре дровами все те, кого много терли приказные люди, а с костром вместе вспыхнет и древо.

«Ох, много сухих дров на Руси, – с тоской и глубоко запрятавшимся в душу страхом думал Алексей Михайлович. – Пойдет полахать – в Волге воды не хватит». И вспомнил страшные картины московского бунта, когда на глазах у него терзали ближних ему людей, а он только плакал, но ничем друзьям своим помочь не мог. Только и добился, что родича своего и собинного друга боярина Морозова Бориса Ивановича смиренной мольбою еле-еле от гибели спас.

А дальше в памяти всплывал растерзанный хамами, кровожадными василисками Леонтий Плещеев, и вспоминалось царю, как упреждал его Леонтий о злокозненном и хитром подьячишке Тимошке, коему и по звездам выпадал царский венец.

И выходило, что худой человечешко становился для него – сильнейшего в мире самодержца – хуже и опаснее турецкого султана или перекопского царя.

А тут еще неотвратимо надвигалась новая война с Литвой и Польшей, и оставлять на воле вора Тимошку никак было нельзя. О том же неоднократно говорил ему и Борис Иванович Морозов – муж великого ума, – и беспредельно преданный Григорий Гаврилович Пушкин.

Промаявшись без сна всю ночь, государь, встав с тяжелою, будто с похмелья, головой, призвал к себе дьяка Волошенинова и велел послать к королеве Христине гонца с требованием выдать головою вора Тимошку и товарища его Костку.

– А чтоб королева согласилась, – сказал государь, – пропиши Христине, что ежели она выдаст нам воров, то отдам короне свейской всю Карелию с Ингерманландиею.

Волошенинов посмел с удивлением поднять на государя взор. Алексей Михайлович улыбнулся:

– Ты пиши, а там что господь даст.

17 сентября 1651 года гонец Яков Козлов умчался в Стокгольм. Он был еще в пути, когда вслед ему царь отправил нового гонца – Янаклыча Челищева. И Козлов, и Челищев ехали в Стокгольм с охраной и толмачами, почти как послы, получив от самого государя строгий наказ: добыть вора Тимошку во что бы то ни стало. Гонцам было приказано: денег не жалеть, а паче того не жалеть посул. Обещать все, чего шведы ни пожелают, но вора в Москву привезти живым или мертвым. Однако ж лучше живым.

И гонцы, не жалея лошадей и себя щадя столь же мало, сколь и запаленных саврасов, мчались, разбрызгивая грязь, на север, на север – к ливонскому рубежу.

Доехав до Колывани, гонцы один за другим появились в замке губернатора Эстляндии графа Эрика Оксеншерны. Действовали они при этом вроде бы и спряма, но на самом деле с великою византийскою хитростью.

И та хитрость шла не от них самих и не от их малого служебного разумения, а от больших думных людей, что у государя были в немалой чести за искусный ум, изворотливость и смекалку.

Думные чины и надоумили Козлова и Челищева, как им быть с эстляндским губернатором и не дать увертливому шведу, скакнув в сторону, вора Тимошку собою прикрыть.

Велено было гонцам, въехав в Колывань, отправляться на базар, а затем на площадь к ратуше и там сопровождавшим их толмачам читать по-русски, по-шведски и по-немецки, что приехали они в Колывань с любовью и дружбой и поедут далее в Стекольну к королеве Кристине.

И ради любви меж пресветлым царем Алексеем Михайловичем и королевою Кристиной просят они, царские гонцы, изловить злого человека, шильника и вора Тимошку, замыслившего порушить дружбу меж двумя государствами и учинить свару и войну.

Козлов, выслушав совет думцев, засомневался:

– А ладно ли то будет, господа, когда иноземный гонец станет читать повелительные листы свейским и немецким людям? Не будет ли то в обиду начальным людям – губернатору и ратманам?

Думные чины отвечали:

– Ты, Яков, и толмачи, что с тобою поедут, будете говорить о мире и дружбе и против свары и войны. И королеву Кристину будете называть пресветлой, предоброй и премудрой государыней. И о благе Свейского королевства будете в тех речах пещись не менее, чем о благе Московского царства. Кто же вам поставит то в укор? Кто посмеет супротив мира и правды пойти?

А после того велено было и Козлову, и Челищеву в окружении сколь можно большего числа обывателей идти к губернаторскому дому и то же самое принародно высказать губернатору. И в конце спросить прямо: «Если вор Тимошка окажется в Колывани, отдаст ли губернатор вора царским людям или не отдаст?»

И губернатор ничего иного сказать не посмеет, кроме как пообещать, что вора и злоумышленника Тимошку, ежели он окажется в Колывани, отдаст царским слугам. Ибо как ему того не сказать? Будет тогда губернатор тому вору друг и потатчик, а обоим государям – супостат.

И, обсудив еще многое, чтоб задуманному делу хорошо свершиться, ближние государевы люди гонцов отпустили, а сами стали готовить еще одну тайную затейку, о которой и гонцы не знали, какая могла бы сгодиться, если б эстляндский губернатор каким-нибудь образом увернулся.

И когда Козлов уехал из Москвы, а Челищев еще ждал новых повелений, вслед за первым гонцом, не столь спешно, как он, поехали с товарами тайные государевы люди. И те

сокровенные люди ехали по делу, кое от всех прочих держали они в великой тайне: велено им было в ливонских и в шведских землях накрепко сыскать вологодского подписка Тимошку Анкудинова и, отыскав, добывать всеми хитростями. Было тех человек две дюжины, но ехали они не все вместе, а четыре раза по шесть.

Тимоше с погодой повезло: он плыл от Стокгольма до Ревеля всего две недели. Повезло ему и в Ревеле: прямо на набережной встретились Анкудинову, будто нарочно ждали его, два новгородских купца – Максим Воскобойников и племянник Воскобойникова, Петр Микляев, разительно похожие друг на друга: оба низкорослые, широкоплечие, с маленькими головами, прилепленными прямо к туловищу. Оба были какой-то неопределенной масти – будто на сноп переспелой соломы ветром надуло сухую землю.

Новгородцам оказалось по пути с князем Иваном Васильевичем: из Ревеля, а по-русски – Колывани ехали они в Нарву, а по-русски – Ругодив. У купцов оказался целый обоз – шесть телег с товарами – и при обозе, кроме них самих, еще двое приказчиков и двое мужиков-возчиков.

Воскобойников уехал вперед, а весь обоз неспешно двинулся следом. Так как у Тимоши оказалось немало рухляди, пришлось и ему нанимать две подводы и одного возчика – немца Ганса Ноппа, славившегося среди промышлявших извозом ревельцев тремя свойствами: молчаливостью, упрямством и необычайной силой.

Поздно вечером обоз остановился в придорожной корчме. Люди Воскобойникова распрягли лошадей, засыпали им овса и, отужинав, легли спать.

«Господи, – подумал Тимоша, засыпая, – только застать бы мне Костю в Ругодиве! Может, не успел он еще отплыть в Стокгольм?»

Среди ночи Тимоша почувствовал, как что-то тяжелое придавило его к лавке, и, мгновенно очнувшись, понял, что его вяжут веревками по ногам, крепко ухватив за руки. Он рванулся, но встать не смог – четверо сразу лежали и сидели на нем.

– Ганс! – закричал Тимоша. – На помощь!

Воскобойников не думал, что немец вяжется в драку, – не для того нанимал его «князь Иван Васильевич». Но упрямый Нопп был к тому же еще и очень честен: если уж он нанимался везти человека ли, товар ли, то и за безопасность перевозимого седока и имущества отвечал головой. Да и что бы сказал честный Ганс своим товарищам по гильдии извозчиков, если бы те узнали, что силач Нопп стоял, опустив руки, в то время как разбойники – а Нопп ничуть не сомневался, что это разбойники, – вязали его седока веревками?

Нопп рывкнул, схватил за конец дубовую скамью и повернулся вместе с нею сначала направо, а потом налево. Двое мужиков повалились на пол. Двух других Нопп, схватив за пояса, сорвал с князя Ивана и, ударив одного об другого, кинул оземь.

Оставив князя, Воскобойников и его люди кинулись к Ноппу, но тот, встав спиной в угол, так махал скамьей, что только ветер свистел по избе, качая язычки трех свечей, чудом горевших на печном загнетке.

Тимофей схватил кочергу и ударил ею по голове Воскобойникова. Купец рухнул, не охнув. Его племянник кинулся к дяде, но и сам упал, получив страшный удар кочергой под ребра. Нопп крикнул по-немецки:

– Князь Иоганн! Я сейчас ударю по свечам, а вы бегите к конюшне и выводите двух лучших лошадей!

Тимофей крикнул также по-немецки:

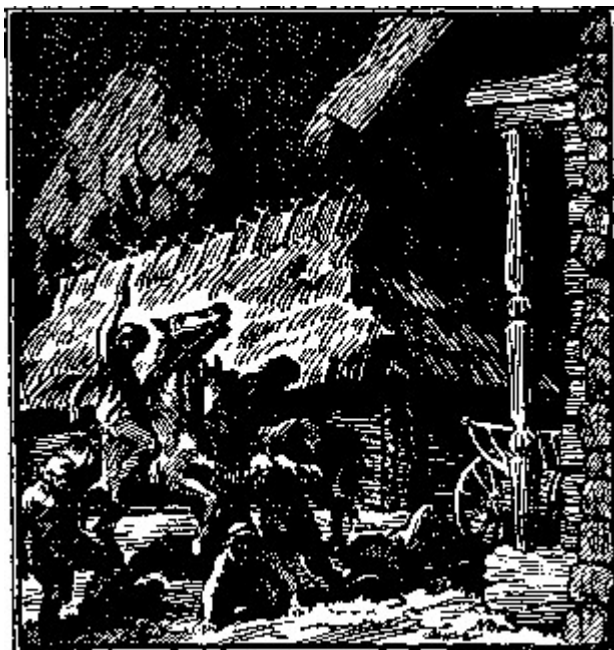
– Хорошо!

И в наступившей тьме пулей ринулся за порог.

Когда он, сидя верхом, подогнал к избе еще одну лошадь, с крыльца, как медведь с повисшими на шкуре собаками, скатился великан Нопп.

Из всей рухляди, что была на его возах, Тимофей успел схватить лишь пистолет о двух

стволах и сумку с письмами и деньгами, которую он спрятал в сарае, побоявшись взять с собою в избу.



Высоко подняв пистолет над головой и зажмурившись, Тимоша спустил курок. Мужики кто ползком, кто бегом сыпанули в стороны. Нопп, обхватив лошадь за шею, упал поперек спины и следом за князем выскочил из ворот.

Оглянувшись, Тимофей не заметил ни одного человека. «Слава богу, – мелькнуло у него в голове, – бояться, сволочи, попасть под пулю».

Нопп, все еще тяжело дыша, скакал рядом. Лицо его было совершенно спокойно, как будто он сопровождал князя на утренней прогулке.

Граф и генерал Густав Горн – военный губернатор и комендант Нарвы – был хотя и недавним, но верным приятелем Тимофея. Их взаимная приязнь возникла сразу же, при первой встрече, и сохранялась неизменно, несмотря на разницу в возрасте и положении. Густав Горн, высокий, жилистый старик с водянистыми голубыми глазами, торчащими вверх усами, с острыми худыми плечами, локтями и коленями, принадлежал к старому аристократическому семейству, давшему Швеции немало дипломатов и генералов. Однако свой нынешний пост старый вояка считал недостойным графского рода и чувствовал постоянную обиду и на королеву, и на губернатора Эстляндии Эрика Оксеншерну – мальчишку и выскочку, возвысившегося благодаря своему дядюшке – канцлеру.

В изгнанном русском Горн почувствовал нечто родственное себе: князь из старейшего и благороднейшего семейства, умный, энергичный – а именно таким казался себе Горн – претерпевает, как и он сам, удары судьбы.

Поэтому, когда Горн снова встретился с князем Шуйским, высланным из Стокгольма и едва не убитым неизвестными разбойниками, в душе старого генерала вспыхнуло доброжелательное чувство уважения и восхищения перед упорством и отвагой этого человека.

«Эти стокгольмские интриганы, – подумал Горн, – неспроста выслали князя в Эстляндию. И уж не они ли организовали и это нападение на него?»

И Горн решил оберегать князя Шуйского, сколь будет возможно. Его логика была проста: если Оксеншерне и Розенлиндту нужно, чтобы русский князь погиб, значит, нужно постараться его спасти. Поэтому Горн предложил Шуйскому покои в своем доме, но князь отказался. Он очень спешил в Ревель и просил лишь об одном – поскорее дать ему надежный конвой. Горн дал Шуйскому шесть драгунов и рекомендательное письмо к вахмистру Ягану Шмидту, в доме которого, как он полагал, князь будет под надежной защитой.

По дороге в Ревель Анкудинов вместе с конвоем завернул в корчму, где минувшей ночью на него было совершено нападение. Корчмарь, увидев шведских драгун, испугался. Он тотчас же подумал, что его обвинят в сговоре с нападавшими, и, когда русский князь спросил его: «Куда поехали эти разбойники?» – указал рукою на восток, в сторону Новгорода.

«Должно быть, так оно и есть, – подумал Тимофей. – Ведь Воскобойников и Микляев – новгородцы. А куда им бежать и где прятаться, если не у себя дома?» И, повеселев, вскочил в седло и, уже ничего не опасаясь, поскакал впереди конвоя в Ревель.

...Толстые стены из серого камня; на высоких валах, поросших жухлой травой, – замшелые серые башни, за ними – церковные шпили, вонзающиеся в низкое небо, – таким предстал перед путниками Ревель. А когда подъехали ближе, первое впечатление не исчезло: стены показались еще толще, башни еще грознее. «Не город, а тюрьма», – подумал Тимофей, и недоброе предчувствие шевельнулось у него в груди. Чувство это еще усилилось, когда путники въехали в город. Каменные дома с окнами, забранными решетками, с узкими дверцами, обитыми железными полосами, напоминали маленькие замки.

На площади у ратуши Анкудинову вдруг показалось, что среди толпы мелькнула знакомая кургузая фигура и выбившиеся из-под шапки волосы цвета переспелой соломы, обсыпанной землей.

«Мало ли их, низкорослых да рыжеватых?» – подумал Анкудинов, но беспокойство не проходило: а вдруг Воскобойников?

Дом Ягана Шмидта, старого служаки, проведенного рядом с генералом Горном четверть века, был такою же крепостцей, как и другие соседние дома. К дому примыкал маленький садик и огород, где Тимофей мог глотнуть немного воздуха да последить за полетом стрижей.

Яган сказал Анкудинову, что Ревель кишит царскими лазутчиками, – об этом сообщили ему и его старые приятели из ратуши, и знакомый офицер полицейской стражи, да и многие городские обыватели в один голос вот уже несколько недель толковали о том же самом и на рынке, и в пивных, и при встречах на улице.

На четвертый день пребывания в Ревеле – 8 октября 1651 года – Тимофей не выдержал и решил возвращаться в Стокгольм. Ему не давала покоя мысль о Косте. И днем и ночью перед его глазами стоял его названный брат, связанный веревками, забитый в железа, терзаемый заплочных дел мастерами.

Оставять ему было нечего – все имущество пограбили Воскобойников с Микляевым. Взяв кису с деньгами, сумку с бумагами, пистоль да нож, Тимофей простился с хозяином дома и вышел за ворота.

Улица была пуста. Только вдаль маячил какой-то человек. Но и он пошел прочь, как только Тимофей двинулся от ворот.

Пройдя два квартала, Анкудинов повернул за угол, на улицу, ведущую к гавани. И сразу же столкнулся с тремя подгулявшими молодцами. Он хотел обойти пьянчужек, но улица была узка, и к тому же молодцы, как бы забавляясь, не пропускали его. Тимофей легонько подвинул одного из них в сторону, и тотчас все трое кинулись на него и, повалив на землю, стали вязать. Из-за спин нападавших вынырнули знакомые рожи Воскобойникова и Микляева. Ему завернули руки за спину, сунули в рот кляп и потащили в карету, стоявшую в двух саженях от места нападения. Дверцы кареты захлопнулись. Воскобойников и Микляев сели на распростертого человека верхом, сдавив его ногами. В карету забралась еще добрая полудюжина молодцов, и, подсакивая на ухабах, экипаж помчался неведомо куда.

Губернатор Эстляндии граф Эрик Оксеншерн вторые сутки пропадал на псарне,

ожидая, когда оценится его любимая борзая. Из-за того что ожидание оказывалось напрасным, он нервничал и потому совершенно ничего не понял, когда пришедший слуга сказал, что в замок привезли какого-то человека, связанного по рукам и ногам и с кляпом во рту. Оксеншерна, досадливо поморщившись, нежно погладил борзую по голове и быстро пошел к дому, желая как можно скорее развязаться с неожиданной докукой и возвратиться на псарню.

У крыльца дома он увидел черную карету с дверцами без окон и возле нее группу оживленных мужчин. Губернатор подтянулся и замедлил шаг. Его заметили и замолчали. Оксеншерна увидел в центре толпы человека со связанными руками и кляпом во рту. Оксеншерна досадливо дернул плечом и тотчас же вспомнил, что совсем недавно такие же толпы одна за другой приходили в замок и по наущению царских гонцов требовали от него поимки русского человека, который, по их словам, выдавал себя за князя.

Оксеншерна взглянул на связанного и понял, что перед ним стоит тот самый человек. Больно приметен он был – глаза разного цвета мешали спутать его с кем-либо другим.

– Развяжите его, – сказал Оксеншерна, – и выньте кляп.

Окружавшие русского князя люди нехотя повиновались.

– Кто таков? – спросил губернатор после того, как его приказ был исполнен.

– Вор! Худой человек! Жену и детей убил! Улицу спалил! Казну пограбил! В царское имя влягался! – закричали в толпе.

Один из русских, знавший шведский язык, угодливо стал переводить все это. Оксеншерна поднял руку. Крикуны умолкли.

– Теперь пусть говорит он. – Губернатор повел рукой в сторону Анкудинова.

– Господин губернатор! Все сказанное этими глупыми и бесчестными людьми – ложь, – произнес Тимофей по-немецки. – Они клеветают, чтобы, заполучив, отвезти меня к моим недругам в Москву и там казнить. Вместе с тем у меня есть подлинные грамоты о моем происхождении. Эти грамоты видела и пресветлая государыня королева Христина, и канцлер короны благородный господин Аксель Оксеншерна, и думный дворянин Иван Розенлиндт.

Тимофей снял с плеча сумку с бумагами, которую Воскобойников и его люди в суматохе забыли снять, и протянул ее губернатору.

Оксеншерна взял сумку, раскрыл ее, одну за другой стал доставать и читать грамоты.

Вид свитков воцеленной бумаги с висящими на шелковых шнурах сургучными печатями произвел на толпу отрезвляющее впечатление. В наступившей тишине Оксеншерна сказал:

– Я оставляю этого человека у себя. Он будет здесь под надежным караулом. И если он виноват, он получит по заслугам. Но не раньше, чем я смогу убедиться в этом.

Анкудинова отвели в светлую чистую камеру. Первый же ужин лучше всяких слов объяснил Тимофею, что губернатор считает его скорее своим гостем, нежели узником: арестанту принесли бутылку хорошего вина, жареного каплуна и горячий мягкий хлеб, только что снятый с печного пода.

Тимофей попросил перо, чернил и бумаги – и тут же получил их. Прежде всего он решил написать обо всем случившемся Розенлиндту. Слуга, принесший перо, бумагу и чернила, отчего-то не уходил.

– Чего тебе? – спросил Тимофей, и слуга ответил:

– Не начинайте письма, прежде чем не переговорите с господами Вальвиком и Крузенштерном – секретарями господина губернатора.

– А когда меня отведут к ним?

– Они сами придут сюда, как только я уйду из вашей... – слуга замялся, – из вашей комнаты.

– Так иди же скорее! – воскликнул Тимофей, ожидая, что Вальвик и Крузенштерн придут, чтобы освободить его.

Секретари не замедлили явиться. Оба они были молоды, белокуры, голубоглазы,

высоки ростом и худощавы. Держались секретари так, будто пришли не в камеру к узнику, а к другу в гости. Они ни о чем не расспрашивали, но сами рассказывали много полезного: и о происках стольника Головнина, и о пленении им Кости, и об освобождении Кости по приказу королевы.

Когда они ушли, Тимофей понял, что симпатии шведов на его стороне и его освобождение из заключения – дело нескольких дней.

Положив перед собою чистый лист, Тимофей долго думал: о чем следует писать любезному другу Ивану Пантелеймоновичу, а чего писать не следует? И решил, что прежде всего нужно будет добиться признания за ним, семиградским послом, права на неприкосновенность. И затем распространить это право и на его слугу, Константина Конюхова. Обдумав все это, Анкудинов вывел: «Многодостойный и честный господин Иван Пантелеймонович Розонлит! Я сюда уехал добровольно, не без рекомендаций и не без свидетельств, и не как бегуны и блудяги, потому, государь, пактам московским с короною свейской не подлегаю». Обосновывая свое право на неприкосновенность, Тимофей писал, что «пресветлый енерал Хмельницкий» рекомендовал его «пресветлому фиршту Ракочему Трансильванскому», а тот, в свою очередь, дал ему рекомендательные письма в Швецию, и потому его следует вызвать в Стокгольм, «где я готов версификоваться и княжескую природную невинность ясно показать». В конце Тимофей приписал: «От Морозова мерского анъела, или палача, человек мой верной Константин Конюховской новым мучениям подвергся, и чтоб до моего приезда Королева Величество его в руки кровавые отдать не велела».

Написав письмо, Тимофей разделся и, загасив свечу, лег в чистую мягкую постель. Только сейчас, во тьме и тишине, он почувствовал усталость и боль. Ныло ушибленное в драке плечо, саднило кожу на руках, болела голова. Тимофей закрыл глаза и увидел искаженные злобой и злорадством лица Микляева и Воскобойникова, равнодушные маски Вальвика и Крузенштерна, досадливую гримасу Оксеншерны.

«Враги вокруг меня и косные душой безучастные люди, – подумал он. – Никому я не нужен, и спрятал меня Оксеншерна не по доброте душевной, а про запас для собственной выгоды, как прячет рачительный хозяин старую вещь – авось когда-то еще пригодится». И стало на душе у него так скверно, как не бывало и в Истамбуле. Там была у него надежда избавиться от узилища, продолжить начатое дело, пойти в степные юрты Закаспия, поднять на бой казаков, посадских, волжскую голытьбу, потряхнуть сонное Московское царство так, чтоб маковки на церквях закачались.

А когда уехал от гетмана Богдана, лелеял в сердце надежду: «Вот доеду до Пскова и подыму горожан на бой. Вспомню про былые их вольности – авось да схватятся за топоры, как только что хватались». Не вышло и это. Повывел царь крамолу раньше, чем добрался он до московского рубежа. Затоптал костер, разметал головешки, а угли в сырую землю зарыл.

И остался князь Иван Васильевич сам по себе. И если только понадобится какому иноземному государю, то вспомнят, призовут и обнадежат. А не понадобится – сгинет ни за ломаный грош.

И когда понял все это, осталось ему только одно: подороже продать две их жизни – свою да Костину. И, быстро вскочив с постели, Анкудинов зажег свечу и стал писать еще одно письмо – королеве Христине.

«Всемиловитейшая королева! Пишет Вам всеми гонимый, несчастный человек, которому Вы одна можете помочь.

Недруги настигли меня в Ревеле и выдали вашему слуге Эрику Оксеншерне, а он, неизвестно почему, посадил меня в тюрьму. И не знаю я, что ждет меня завтра, а более того скорблю о моем человеке Константине Конюховском – не попасть бы и ему в руки злодеев. Ибо немало знаю примеров, когда и в Волошской земле, и в Крыму, и в Стамбуле люди царской крови гибли от рук палачей.

И совсем недавно случилось такое с другом моим Александром Вазой, которого краковский епископ, изловив, посадил на кол. А был мне Александр друг и оберегатель и о

королевском своем происхождении рассказал сам, не утаив ничего.

И если Вы, королева, не поможете мне выйти из неволи, а прикажете отдать в руки моих недругов, то и моя кровь прольется, и будет то во грех Вам».

Не он один на следующий день отправил письма из Ревеля. О его поимке тотчас же сообщили в Новгород Великий Воскобойников и Микляев. Туда же написал обо всем случившемся и Эрик Оксеншерн, справедливо решив, что и без него найдутся в Ревеле люди, готовые поделиться радостной вестью с наместником новгородским князем Буйносовым-Ростовским. Оксеншерн же написал о поимке князя Шуйского и своему начальнику, генерал-губернатору Карелии, Ингерманландии и Кексгольма графу Эрику Штейнбоку.

Вскоре пришли в Ревель и ответные письма. Новгородский наместник Буйносов просил «вора Тимошку тотчас же выдать головою», а старый, опытный и осторожный Штейнбок, напротив, советовал ничего не предпринимать, ожидая ответа из Стокгольма. И так как не Буйносов был Оксеншерне начальник, а Штейнбок, губернатор Ревеля решил подождать.

Обратный путь из Стокгольма в Нарву оказался для Кости еще мучительней: десять недель от острова к острову шла навстречу неутихающим осенним штормам еле починенная шхуна Георга Вилькина.

В пути дважды кончались запасы воды и продовольствия. Шкипер Вилькин, оказавшийся на редкость жадным, обобрал Костю донага: снял с него новую заячью куртку, не побрезговал и старым ковром. А в конце пути и вовсе перестал его поить и кормить.

На семнадцатый день путешествия, в холодные и ненастные дни начала ноября, Вилькин, не доведя Костю до Нарвы, высадил его в устье Невы, и голодный, озябший Костя, завернувшись в старое рядно, пошел к ближайшей шведской крепости Ниеншанц, по-русски – Канцы.

У ворот Ниеншанца он оказался в середине ночи. Шел дождь пополам со снегом. Костя долго стучал в ворота, пока, наконец, его не впустили в крепость. Сторож разрешил ему переночевать в пустой старой конюшне. Костя лег на гнилое, пропахшее конской мочой сено и долго не мог заснуть.

Под утро он забылся в тяжелой полудреме, и на душе у него было тоскливо и беспокойно. Утром ему сказали, что князь Иван Шуйский арестован и сидит в Ревельском замке.

О поимке Анкудинова царскими лазутчиками и о том, что загадочный русский сидит под стражей в тюрьме Ревельского замка, Оксеншерн сообщил также и своему дяде, канцлеру. Штейнбок получил письмо через десять дней, в Стокгольм оно пришло тремя неделями позже.

В это время в шведской столице находился Янаклыч Челищев. От верных людей он получил известие о поимке Анкудинова одновременно с канцлером Оксеншерной, ибо один из матросов за немалую мзду взял от Воскобойникова письмо и тотчас же по прибытии в Стокгольм передал его царскому гонцу.

Не медля ни минуты, Челищев явился к Оксеншерне и потребовал выдачи поимочного листа на воров Тимошку и Костю.

Так как канцлер уже знал, что его племянник известил обо всем случившемся новгородского наместника Буйносова-Ростовского, то отказать в выдаче листа он не мог, и счастливый Челищев покинул дворец, полагая, что теперь-то оба супостата, наконец, окажутся у него в руках.

Однако же, выдав Челищеву поимочные листы, старый канцлер засомневался: а не поспешил ли он с этим делом? Не выйдет ли от чрезмерной спешки какого-нибудь лиха?

И решил – как этого ему не хотелось – переговорить о князе Шуйском с королевой.

Христина была беспокойна и, слушая канцлера, думала о чем-то своем. Оксеншерне

показалось, что она плохо спала: лицо королевы отекло, под глазами проступила нездоровая синева, щеки были бледны.

Канцлер говорил ей о князе Шуйском, а она неотступно думала о казненном поляками Александре Костке. Канцлер приводил резоны в пользу того, что русского князя надобно выдать царским слугам, ибо мир и союз с Россией сейчас для Швеции важнее всего, ввиду неизбежной войны с Польшей, а Христина видела перед собою старую городскую стену и возле нее лужи крови, и растерзанного палачами тщедушного, бледного мужчину – почти юношу, и клубок бродячих псов, слизывающих кровь, и смеющихся солдат, потешающихся, что еще живого человека грызут собаки, а он не может и руки поднять и даже крикнуть не может.

Канцлер давно уже кончил говорить, а Христина все молчала, уставившись взором в одну точку, будто видела перед собою нечто недоступное другим. Затем она медленно и плавно повела рукою возле лица, как бы подымая вуаль, заслонявшую от нее мир, и, рассеянно взглянув на канцлера, спросила тихо:

– А куда же бежать бедному князю Шуйскому? Куда?

И так как Оксеншерна молчал, недоумевая, Христина продолжала:

– Он уехал от Хмельницкого к Ракоци, надеясь, что мы выступим вместе с тем и другим против Польши. Мы пока что не готовы к такой войне. Хмельницкий же за то время, пока Шуйский был в дороге, настолько сблизился с русским царем, что наверное выдаст своего посла, ибо для Хмельницкого сейчас важнее всего союз с Россией. Польский король тоже будет не прочь узнать у князя Шуйского, с какой целью посещал он Стокгольм и Трансильванию. Причем не секретари будут спрашивать его об этом, а палачи. Так вот я и спрашиваю вас, граф, куда же бежать бедному князю Шуйскому? Куда?

– Благотворительность и политика не одно и то же, ваше величество, – осторожно начал канцлер, но Христина не дала ему продолжить.

– Я не хочу, слышите, не хочу, чтоб его тоже разорвали на части и чтоб собаки пожрали его внутренности! – вдруг закричала Христина, и Оксеншерна впервые заметил в глазах королевы очевидные признаки надвигавшегося на нее безумия. Он испугался и поспешил успокоить Христину.

– Вы же знаете, ваше величество, – проговорил он мягко и вкрадчиво, – я никогда не жаждал ничьей крови. Я напишу моему племяннику, чтобы он не выдавал царскому послу князя Шуйского.

– Да, граф Аксель, сделайте так, прошу вас, – произнесла Христина, тяжело дыша, будто только что взойшла на высокую и крутую гору.

Выйдя от королевы, Оксеншерна вдруг вспомнил, что о втором русском ни он, ни ее величество не произнесли ни слова. Королеве не было до него никакого дела, и Оксеншерна подумал, что судьба все-таки благосклонна к политическим планам Швеции, оставляя одного из перебежчиков в руках его племянника. «Мы отдадим царю Конюховского и тем докажем нашу искренность в отношениях с Москвой, – подумал старый канцлер. – А князю Шуйскому нужно будет помочь бежать. Если же русские изловят его в Ливонии или в Литве, то ни я, ни Эрик не будем в том виноваты».

Так судьба Тимоши пошла в одну сторону, а Кости – в другую. Однако ни тот ни другой ничего об этом не знали и думали только о том, чтобы найти друг друга поскорее и бежать куда-нибудь дальше, где не найдут их гончие псы Алексея Михайловича.

13 декабря 1651 года Челищев сошел на берег Колывани. Не заходя ни на постоянный двор, ни в посольскую избу, пошел он прямо к губернатору и получил заверения, что самозванец будет выдан ему через два дня.

Не помня себя от радости, Челищев приказал одному из толмачей, не дожидаясь утра, отправляться в путь – в Москву с благой вестью о поимке вора. Разбрызгивая чернила, Челищев писал:

«Пресветлый государь! Многими моими, холопишки твоего, стараниями вор и супостат Тимошка Анкудинов ныне с божией помощью в наших руках. И мы того вора, накрепко оковав железами, наборзе доставим в Москву, и там, государь, воздается ему по делам его. – Немного подумав, Челищев добавил: – А того вора Тимошку привезу тебе аз, Янаклычко сын Челищев, холопишко твой, через два дни после того, как получишь сей мой лист».

Двое суток после этого Янаклыч провел как во сне. Часы, да что там часы – минуты и те тянулись, как дни.

Наконец утром 15 декабря Челищев со стражниками явился в покой губернатора, но тот почему-то не появлялся и гонца к себе не звал.

После долгого ожидания, полного самых дурных предчувствий, к Челищеву вышли два сухопарых, похожих друг на друга немца и стали говорить ему нечто непонятное.

Немцы говорили громко, но Челищев ничего не слышал: пол плыл у него под ногами и в голове стоял шум. До слуха доносились лишь отдельные слова и обрывки фраз толмача: «бежал минувшей ночью», «мы сожалеем», «неизвестно как», «никто не знает, где теперь обретается».

Челищев разорвал ворот вышитой жемчугом рубахи, топал ногами и плевал на ковер столь зло и часто, будто хотел потушить одному ему видимый костер. Вальвик и Крузенштерн – белобрысы великаны с ледяными глазами – молча взирали на беснующегося московского посла. Затем Янаклыч стал хулить шведов нечистыми словами. Толмач десять минут молчал, не зная, как перевести три четверти слов, изрыгаемых послом.

В конце аудиенции толмач сказал, что гонец московского царя скорее умрет в Ревеле, чем уедет из Эстляндии хотя бы без второго вора – Кости.

Секретари холодно поклонились и обещали передать просьбу гонца господину губернатору.

## **Глава двадцать пятая ВОСХОЖДЕНИЕ**

Костя прожил в Ниеншанце почти до рождества. Многие люди говорили ему, что повсюду в Эстляндии ждут его и князя Ивана Васильевича враги и гонители и что ему лучше всего переждать нынешнее лихолетье в Ниеншанце – маленькой отдаленной крепостце, где редко оказывался кто-либо из русских. Костя согласился.

Однако перед самым рождеством его известили, что князь Иван Васильевич бежал из Ревельского замка, и Костя решил еще раз испытать судьбу и найти побратима. Перебрав в памяти всевозможные адреса и многочисленных доброхотов, Костя взял в долг двадцать талеров и, наняв повозку с сеном и сговорчивого, не падкого на деньги возницу, выехал в Нарву к генералу Густаву Горну.

В ночь под рождество, зарывшись в сено, Костя въехал в Нарву. Однако генерал не позволил ему остановиться в городе даже на день, а тут же приказал ехать дальше.

Новый возница посадил Костю в простую походную карету Горна – без графских гербов, без форейторов на запятках – и умчался в тихий городок Везенберг, который местные жители называли старым языческим именем Раквере.

Там Костю поселили в домике местного почтмейстера Маркуса Лангиуса, и он поступил на попечение доброй супруги Лангиуса – Екатерины Даль.

Но тихое счастье Кости оказалось недолгим. Через две недели его перевезли в Ревель и оставили в доме вахмистра Ягана Шмидта. Дом Шмидта больше походил на тюрьму, чем на жилище мирного бюргера: окна были забраны толстыми, частыми решетками, двери обиты железом. И кроме того, никуда из дому Костю не выпускали.

В конце марта за Костей явились вооруженные стражники и отвели его в тюрьму Ревельского замка.

Камера его была темна и тесна, а когда принесли ему первый в тюрьме ужин – кружку воды, кусок черствого хлеба и щепоть соли, – Костя понял, что дела его плохи.

Полтора года просидел Костя в Ревельском замке.

18 мая 1653 года Костю, связав по рукам и ногам, передали Челищеву. Вокруг крытого возка, в который положили Костю, встало столько конных стрельцов, что можно было подумать – перевозят не беглого подьячего, а царскую казну.

Вместе с Костей в возок втиснулись Янаклыч Челищев, Воскобойников и Микляев.

Выкатившись из Вышгорода, карета и конные стрельцы помчались к Москве почти без остановок и роздыха. Останавливались только затем, чтобы перепрячь лошадей.

28 мая Челищев со всеми своими людьми остановился неподалеку от Тверской заставы. Еще раньше, с последнего ночлега, ушли в Москву известить государя легкоконные бирючи.

Костю вытащили из возка оглушенного, побитого, одеревеневшего. Десять дней провел он в тесной карете, лежа на полу, спеленатый веревками. Только раз в сутки – в середине ночи – вытаскивали его на несколько минут, справить нужду, и вновь заталкивали во тьму и тесноту.

С Кости сняли веревки, и он, не чуя ни рук, ни ног, повел плечами, хрустнул пальцами и поглядел вокруг.

Только что прошел дождь, и сквозь легкие белые облачка лился на землю золотой свет. Все сверкало под теплым и ласковым солнцем – клейкие молодые листочки в близком березнячке, дождевая вода в лужах, тихая речка и мокрый мост через нее.

А между умытой дождем землей и веселым солнышком выгнулась семицветная красавица – рай-дуга, упавшая одним концом на черное мягкое поле, а другим – на дальние замосковные луга. Было тихо, безветренно. Нежились под солнцем и листья, и травы, и цветы, белые, синие, красные. И лишь кричали птицы да жужжали шмели.

А впереди, саженьх в десяти, опираясь на бердыши, стояли угрюмые, бородатые стрельцы. А обочь их – затаившие дыхание ребятишки да бабы.

И все они – и стрельцы, и детишки, и женщины – смотрели на него, Костю. Смотрели со страхом и жалостью. «Вот он, конец», – подумал Костя и почувствовал, как кто-то, коснувшись плеча, чуть толкнул его, и он, не чуя земли, как во сне пошел вперед.

Его поставили на колени и положили голову на загодя приготовленный чурбан. Черный, прокопченный мужик в кожаном фартуке надел на шею Косте железный ошейник и ловко заклепал, стараясь не причинять боли. Затем мужик привязал к кольцу две веревки, а еще две – к рукам – привязали стрельцы. Четверо конных взялись за концы веревок и неспешно двинулись к городу.

Вокруг плотным широким кольцом шла стража – с заряженными мушкетами, с вынутыми из ножен саблями. Впереди на белом коне ехал бирюч и кричал:

– Смотрите, православные! Вот изменщик царю-батюшке! Вот лиходей! Вот поганый богоотступник, сделавшийся язычником! Вот мерзкий и злой еретик!

Поначалу подьячий оборачивался к Косте и, изобразив на лице сугубую злость, тыкал в него пальцем. И голос у него был звонкий, пронзительный. Потом вертеться в седле подьячему надоело и кричать он стал тише. И только когда стали приближаться к Кремлю, он снова закрутился и завопил по-прежнему. Костя шел, опустив голову, искоса поглядывая на избы, на людей, что теснились вдоль пути, по которому его вели. Почти на всех лицах видел Костя любопытство, страх и жалость и лишь на немногих – злую и жестокую радость. Несколько раз пытались прорваться к нему пьяные и юродивые, но стрельцы, сплотившись, не пропускали их к узнику. Однажды, оглянувшись, Костя увидел невеликую толпу любопытных, шедших за ним следом.

У ворот Кремля стрельцы отогнали любопытных и, враз посуровев, быстро погнали Костю к черной избе, что стояла, притулившись к кремлевской стене. «Пыточная!» – враз узнал Костя новое свое пристанище и, сжав зубы, шагнул через порог.

Он не помнил, сколько раз приносили и уносили его из пыточной избы. Потерял счет ударам и ожогам. Только вздрагивал, когда тянули жилы и раскаленными щипцами рвали тело. Когда сознание покидало его, палачи, бросив Костю на рогожу, выволакивали бесчувственное тело за дверь и тащили в подвал Чудова монастыря, в двадцати саженях от пыточной.

В келье – не то во сне, не то наяву – приходили к нему ангелоподобные седобородые старцы в черных схимах с белыми, нашитыми поверху крестами и черепами. Тихо касались изъязвленного тела, умасливали раны, вправляли суставы. Молились неслышно, а когда Костя приходил в себя, удалялись из кельи, чтоб не мешать короткому сну несчастного.

А однажды пришел к нему старец, при появлении которого все иные стали безгласны. Древний схимник, взяв Костю за руку и глядя прямо в глаза ему подслеповатыми, слезящимися, выцветшими от старости очами, прошептал с трепетом и благолепием:

– Вразумись, сыне. Спасение твое грядет к тебе. Жалует к тебе святой отец, игумен сей обители.

Схимник, склонившись в земном поклоне, отошел в сторону, и рядом с Костей оказался еще один старец. Глаза у него были умные, и на самом их дне увидел Костя печаль и безмерную усталость.

Коротко помолившись, игумен положил руку на голову Кости и стал спрашивать кротко и ласково о том же самом, о чем выспрашивали его дьяки и подьячие на пытке.

Палачам и подьячим Костя ничего не говорил, лишь ругался самыми черными словами, какие только знал, плевался, пока была слюна, и кричал до изнеможения. И ни слез, ни мольбы о пощаде, ни обещаний рассказать что-либо не видели и не слышали палачи и судьи, сколь ни бились над ним, истерзанным. А здесь Костя вдруг заплакал. И, уткнувшись в пахнущую ладаном и сухими травами руку игумена, стал, захлебываясь слезами, бормотать нечто невнятное.

Старец недвижно сидел и молча гладил Костю по голове, слушая все, что говорил узник, с великим вниманием. И если бы Костя мог поглядеть со стороны, то увидел бы, что пастырь духовный более всего похож на рыбака, поймавшего на удочку большую, осторожную, долго не дававшуюся рыбку и очень боявшегося, как бы рыбина не сорвалась.

Но постепенно старец стал понимать, что Костя бормочет что-то, из чего извлечь какую-нибудь пользу едва ли будет можно. Говорил Костя только о себе, а о супостате Тимошке лишь повторял бессчетно: «И был он мне великий друг и оберегатель. И был он не скудный человек, и было ему, что давать...»

Соломонида ушла из Вологды в Москву, как только узнала, что Тимоша и Костя бежали из Москвы неведомо куда. Она помогала молодой невестке – ни вдове, ни мужней жене, – управлялась по дому, работала на огороде, ходила за скотиной, присматривала за внучатами.

Она не видела, как вели по Москве Костю Конюхова, но, услышав об этом, долго плакала и молила богородицу уберечь и его, и сына Тимошу от великих напастей.

Об эту пору случился в Москве владыка Варлаам, и Соломонида пошла к нему – просить заступы за Костю.

Владыка сильно постарел. Прежними оставались лишь глаза – суровые, ясные.

– Чего хочешь, Соломонида? – спросил Варлаам.

– Хочу Костю Конюхова видеть, владыко, батюшко.

– О сыне, поди, хочешь его расспросить?

– О нем, владыко.

– Скажу кому надо, чтоб пустили тебя к нему, – ответил Варлаам, вздохнув, и, встав на колени перед образом пречистой, стал класть земные поклоны и шептать что-то.

Встала на колени и Соломонида.

– Пречистая мать, – шептала она, – не дай сгнать моему сыночку. Помоги ему, дитятку моему, сохрани Тимошеньку.

И, шепча, плакала беззвучно.

Владыка обещание сдержал: Соломонида пустили в Кремль, за стены Чудова монастыря.



Увидев Костю в тайной келье, Соломонида лишилась чувств.

Старец, что привел ее к вору Костке, брызгал в лицо Соломониде водой и, растерянно ахая, бормотал нечто невнятное.

Очнувшись, Соломонида заплакала. Она рыдала безутешно и долго, целовала Косте вывернутые, бессильно опущенные руки, седую голову, исхудавшее лицо, глубоко запавшие, страдавшие глаза.

Костя тихо рассказывал ей о Тимоше, глаза его были полны слез, голос прерывался и дрожал.

Уйдя из кельи, Соломонида не вернулась домой. Она побрела вниз к реке и долго-долго шла через посады и слободы, пока не вышла в поле и не увидела впереди белые резные башни Новодевичьего монастыря.

Мать игуменя терпеливо выслушала сбивчивый рассказ Соломониды о ее горе.

– Велики грехи сына твоего, сестра, – сказала игуменя. – Много молитв надо будет вознести господу, чтоб замолить малую толику содеянного им.

Так в Новодевичьем монастыре появилась старица, принявшая в монашестве имя Стефаниды.

Анкудинова схватили в Голштинии. Голштинский герцог Фридрих сам явился в тюрьму поглядеть на диковинного беглеца, чтобы решить, какую мзду следует запросить у русского царя за его бывшего подданного.

Тимоша был худ, оборван и грязен. Он знал, что государевы тайные люди идут за ним по следу, и потому не назвал себя ни Анкудиновым, ни Шуйским. Он назвался Демьяном, не помнящим родства, бежавшим из Пскова от страха перед казнями князя Хованского.

Герцог пожевал бескровными губами, постоял, склонив голову к плечу, и ушел, не сказав ни слова.

Однако он понял, что русский, столь хорошо говорящий по-немецки и даже вставивший в разговор латинское изречение, конечно же, не тот, за кого себя выдает.

Фридрих приказал строго стеречь узника и отправил во Псков гонца, чтобы известить воеводу о попавшем в его руки пленнике. Однако еще по дороге гонец узнал, что в Кенигсберге какие-то люди раздавали листы и много раз кричали на рынке и у ратуши о некоем русском человеке, бежавшем из Москвы с государевой казной и побившем многих честных людей.

Приехав в Кенигсберг, гонец пошел к ратуше и на дверях ее увидел лист, в коем

извещалось, что тот беглец «волосом чернорус, глаза разноцветные, и нижняя губа поотвисла немного».

В листе у гонца описание было точно таким же. Повернув коня, он помчался обратно, расспрашивая по дороге, куда проехали шестеро русских.

Нашел он их довольно быстро, потому что в каждой деревне, и в каждом городе, и в корчмах, и на постоялых дворах рассказывали те люди всем, кто им попадал на пути, об одном и том же: о беглом русском разбойнике и о наградах, которые ждут любого за его поимку. В польском городе Гданьске гонец настиг русских.

Их начальник – Петр Микляев – сносно говорил по-немецки, и гонец легко объяснил, какая забота привела его к нему.

Толстый, широкоплечий Микляев, вначале важно взиравший на гонца, аж подпрыгнул от радости и закричал неожиданно высоким бабьим голосом нечто непонятное, заставившее гонца подумать, что, наверное, именно так кричат татары, когда к ним на аркан попадает хорошая добыча – будь то добрых кровей конь или богатый пленник.

Через десять дней Микляеву показали пленника.

Оскалив зубы и вытолкнув из бочкообразной груди воздух, Микляев произнес только одно слово:

– Он.

Тем же крестным путем, каким недавно прошел Костя, надлежало пройти и Тимофею.

Везли его в открытых санях, еле одетого, и Микляев выходил к нему из крытого теплого возка, чтобы покуражиться над арестантом и – в который уж раз! – подробно рассказать, как пытали Костю и как будут пытать его.

Перед самой Москвой Тимофей выполз из-под веревок, которыми привязали его к саням, и бросился на дорогу – под копыта скачущей следом тройки. Однако и тут ему не повезло. Возница ловко свернул в сторону, и его лишь задело одним полозом, порвав зипун и переехав ногу.

– Легкой смерти ищешь, вор! – неистовствовал Микляев, по-волчьи скаля зубы и пиная ногой скрючившееся на дороге тело. – Вяжи его, ребята, как мамка пеленала! – визжал Микляев.

Ему не пожалели пинков, зуботычин и веревок и, накрепко привязав к саням, повезли дальше.

Никто не встречал его у стен Москвы. Накинув на него рогожи и заткнув в рот кляп, чтоб не кричал, ранним утром 28 декабря 1653 года его ввели в Москву.

Он лежал ничком, на животе – так измыслил Микляев – и подбородком отсчитывал все рывтины и ухабы московских улиц.

Первое, что он увидел, когда сдернули с него рогожи, – черный дверной проем и в нем известного всей Москве безносого палача Федьку, по прозвищу Гнида.

Палач что-то сказал ему, но Анкудинов не расслышал, и Федька, ярясь, хватил его кулаком по лицу. Тимофей упал, но его тут же подняли и, схватив под руки, поволокли в застенок.

Государь призвал Петра Микляева к себе, в жилую палату, и, ласково глядя, слушал бахвалистые Петькины речи. И хоть привирал Микляев без меры, государь его не перебивал и внимал его рассказу с видимым удовольствием.

Хлопнув в ладоши, призвал из соседней горницы бывшего при нем стольника и сказал распевно, ласково:

– Вели всем боярам тотчас же идти к пытке. А сему молодцу вели дать тридцать рублей. – И, поглядев на стоящего столбом Микляева, добавил: – И сапоги сафьянные по ноге.

Микляев бухнулся в ноги и проговорил страстно:

– Дозволь, батюшко царь, и мне, худородному, при пытке быти. – И так как царь

молчал, ноюще прибавил: – Я, государь, писать горазд. Все воровские скаски напишу и вора во лжи уличить помогу.

Государь поскутнел очами и, махнув рукою, промолвил:

– Иди, Микляев, иди, усладись.

Вор Тимошка висел на дыбе, над костром, почти бездыханный, но говорил мало.

Тогда привели второго вора, Костку, и подняли на дыбу насупротив.

Оба супостата, взглянув друг на друга, заплакали.

Петр Микляев, увидев все это, отложил перо в сторону и, повернувшись к скамьям, на коих сидела добрая дюжина бояр, произнес насмешливо:

– Хотят воры костер слезами залить. Да много слез будет надо, чтоб то свершить.

Безносый палач зыркнул на Микляева пустыми страшными глазами, прошипел змеем:

– Пиши, паскуда, скаски, а зубы не скаль.

Микляев замолк, скрипя пером. Вскоре писать ему стало скучно. Воры тяжело дышали, скрипели зубами, глухо стонали.

Дьяки, вершившие допрос, хорошо понимали, что ничего важного у воров узнать не удастся. Сколько лет прошло, как бегали супостаты, скитаясь? Дела украинские, благодарение господу, успешно завершались: нынешней осенью Земский собор принял Малороссию под высокую руку пресветлого государя Алексея Михайловича. Ныне у Хмельницкого сидел великий государев посол боярин Бутурлин, склоняя казаков подтвердить соборное решение согласием Рады. Что могли сказать о делах малороссийских Тимошка да Костка, когда они от гетмана ушли почитай три года назад?

И от семиградского князя ушли воры тому более двух годов. А что до свейской королевы, то о ее делах откуда ворами было знать доподлинно?

И потому спрашивали государевы дьяки, чтобы видимость соблюсти: пытаем-де ради неких тайных дел.

А дел-то никаких и не было.

И не пытали их – мучили. И потому Микляев почти ничего не писал, а в конце мучения, откинув в сторону перо, сказал виновато, повернувшись к близкому от него дьяку:

– Всего записать не успел, пусть вор сам все напишет.

Федька Гнида спустил Тимофея на засыпанный опилками пол – в них лучше останавливалась и кровь и все прочее.

Однако же Тимофей не устоял на припеченных огнем ногах и, еле пошевелив головой, сказал:

– Не могу.

Микляев, взяв перо, написал: «А с пытки говорил, чтоб ему дали чернила да бумагу и он все подробно напишет своею рукою, и чернила и бумага ему даваны, и он, вор, отговаривался, что после пытки писать не сможет, и ничего не писал».

Последние двое суток Тимофей и Костя провели в одной келье. Они не сказали друг другу ни слова упрека и только ободряли один другого перед ожидавшей их страшной кончиной.

– Ах, Костя, – говорил Тимофей, – кабы еще раз на свет родиться, все с самого начала не так бы делать начал и не к тому бы концу пришел.

– А как бы, Тимоша? – спрашивал Костя, и в глазах друга Анкудинов видел все еще живой интерес, будто не плаха их ждала – воля.

– Поднял бы я холопов и всех гонимых и мучимых, а не бегал бы за войском от короля к султану и от гетмана к королеве. Не той дорогой шел я, Костя. И не по той дороге тебя за собою вел.

– Знать бы! – вздохнув, отвечал Костя, и Тимофей слышал в словах его не укор – сожаление.

– Не пропало бы только все, что выстрадано нами, – говорил Тимофей. – Кто-то другой, что все равно придет за нами, пусть идет иной дорогой. Пусть беды наши, и горе, и казни будут ему уроком.

И Костя говорил:

– А как же не придет? Непременно придет. Ведь после смерти только нас не станет, а все иное останется. Останутся и бедные, и сирые, и голодные, и обиженные. И стало быть, найдутся всем им защитники.

Ненадолго забывались они в тяжком сне, а просыпаясь, вспоминали все, что было с ними, и даже улыбались порой, хоть и нестерпима была боль во всем теле – от обожженных огнем подошв до вывернутых в плечах суставов.

А потом пришел к ним поп для предсмертного покаяния и причастия.

Костя заплакал и, не глядя на друга, стал каяться и просить духовного отца молиться за него, грешного. А Тимофей, сузив глаза, сказал тихо:

– После того, что видел я и что сделали со мной братья твои во Христе, чем можешь напугать меня?

– Вечными муками, – сказал поп.

– Вечные муки устроили вы на земле, – сказал Тимофей. – Смерть, хоть и лютая, избавление от них.

– Еретик! – воскликнул поп. – Воистину говорю: будет тебе анафема!

– Тимоша! – крикнул Костя. – Покайся, спаси душу! Покайся!

Тимофей отполз в угол и застыл немо.

Поп ждал. Тихо подошел он к искалеченному узнику.

– Уйди, сволочь! – крикнул Анкудинов и плюнул кровавой слюной в бороду утешителю.

И наступила их последняя ночь.

В подвале было темно и холодно, как в вырубленной во льду могиле. Чтобы стало хоть немного теплее, Тимофей и Костя прижались друг к другу и дыханием своим пытались согреть один другого.

Потом Тимофей прошептал:

– Много книг прочитал я, Костя. А запомнил немного. Но что запомнил, то как гвозди в памяти моей. И более всего – с детства, от отца Варнавы.

И оба вспомнили одно и то же: Вологду, мост через речку, косые кресты на расплывшихся бугорках могил, старого дьячка, что выучил их письму и чтению и, несмотря на то что сам был не больно грамотен, не уставал повторять им притчи о пользе мудрости и учения.

Костя, вспомнив Варнаву, произнес тихо и назидательно, подражая и манере, и голосу их первого учителя.

– А еще, чада, сказано царем Соломоном: «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что это лучше приобретения серебра, и прибыли от мудрости больше, чем от золота». Им же сказано: «У меня, – сиречь у премудрости, – совет и правда. Я – разум, и у меня – сила. Любящих меня я люблю, и ищущие меня – найдут меня».

Но Тимофей не поддержал попытки друга отвлечь их обоих от невеселых мыслей и проговорил печально:

– Ищущие уже нашли нас, и никакая премудрость уже не поможет нам, Костя.

– Ладно, Тимоша. Чему быть – того не миновать. Попробуем уснуть – нелегкий день ожидает нас. Последний путь надобно пройти твердо.

И, лежа в темноте, вспоминал Тимофей, как началось все это, и как шло, и как, идя за светом, пришел он к конечному своему рубежу и последнему пристанищу.

Всего тридцать шесть лет прожил он, но много пережил, много перевидал и много передумал.

И когда перед взором его встала прошедшая жизнь, он стал перетрашивать ее, как трясут бабы муку в решете, просеивая чистую и выбрасывая сор и полу.

«С чего началось все это? – думал Тимофей, мучительно напрягая ум и память. – С чего?» И вспомнил: конюшня во владычном дворе, посапывающий Игрунок и печальный пастырь Варлаам, спрашивающий: «Нешто есть где такая страна – Офир?» А затем всплыл в его памяти Леонтий Плещеев. Трясущимися руками устанавливал он на окне зрительную трубу и шептал громко, страстно: «Остролюжик – вот истинное учение, вот – истина!» Но, перебивая его, кричали Тимоше хором веселые гулевые люди: «В вине и радостях жизни – истина!» А рядом плыл перед глазами скорбный лик друга и оберегателя, дьяка Ивана, и бескровные губы его шептали: «В латынских странах, у кальвинистов и лютеран – истина». Но, безмолвно споря с ним, глядел на Тимошу безумными очами Феодосий и не шептал – кричал: «У сочинян – истина! У сочинян!»

И выступали из тьмы один за другим гетман Хмельницкий и brave казацкие есаулы и, хитро щуря глаза, покручивая усы, многозначительно похлопывали по серебряным и золотым рукояткам сабель – вот-де она, истина.

И безмолвную толпой стояли позади них казаки и мужики с рогатинами и пиками – всевеликое бунташное малороссийское войско и вместе с ними – псковичи, призывавшие Тимофея в свой город, и белозубый кареглазый Иван Вергуненок, и болезненный, маленький Александр Костка – и у каждого из них была своя правда, которую каждый из них почитал истиной.

«Всю мою жизнь, – подумал Тимофей, – я шел за истиной, а она сколько раз показывалась мне, столько же раз и пропадала. И снова показывалась, и снова исчезала, как оборотень. И наверное, нет ее, истины, а нужно всю жизнь искать ее и гнаться за ней, а она всегда будет где-то впереди, манить тебя, и звать, и уходить все дальше и дальше, а погоня за нею и есть истина».

Близко перед рассветом отворилась дверь, и в темницу вошел маленький, почти бесплотный старик в рясе до пят, с бородой до пояса, в камилавке, надвинутой на брови.

«Варнава», – узнал Тимофей. Он хотел сесть, но старик положил на плечо ему сухую, легкую руку.

– Лежи, чадо мое возлюбленное, – тихо проговорил Варнава. – Собирай остатнюю силу, дюже сгодится она тебе вскоре.

И второю рукой нежно провел по волосам ему.

– Совсем седым стал ты, чадо, – произнес Варнава, и Тимофей услышал в голосе у него слезы.

И Тимофею пришли на память стихи песнопевца Давида, и он, слабо улыбнувшись, сказал:

– Не чаял я, отче, увидеть тебя здесь перед погибелью моею. Помнишь, отче, читал ты мне... Или не ты это читал? Да, впрочем, нет в том никакой разницы. «Исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава... Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. Душа моя насытилась бедствиями, и жизнь приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал, как человек без силы, брошенный между мертвыми».

– Милый сердцу моему, – ответил Варнава, – разве только это говорил царь Давид? Сказано же в псаломе восьмом: «Что есть человек? Немного ты, господи, умалил его перед ангелами – славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». И разве не таким человеком был ты, Тимоша?

– Если это так, отче, почему я здесь, а недруги мои на воле, в пирах и неге?

– Сказано: «Через меру трудного для себя не ищи и, что свыше сил твоих, того не испытывай».

– И это все, отче?

– Нет, чадо мое, не все. Сказано также в книге Екклесиаста: «И обратился я и видел под

солнцем, что не проворные побеждают в беге, не храбрым достается победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них».

– Значит, время наше такое, отче?

Варнава опустил глаза.

– Повсюду ходят нечестивые, ибо ничтожные из сынов человеческих возвысились. И эти ничтожные не знают и не понимают и ходят во тьме. И проповедуют то, во что уже давно не верят. И нет никого, кто бы бедного заступил. И нет никого, кто бы согрел сироту, и помог вдове, и восстал ради страдания бедных и воздыхания нищих, ибо богатые и нечестивые отобрали у бедных и праведных и надежду, и силу, а хуже всего – разобили их и душат поодиночке, натравляя на них безумных и простодушных.

Варнава умолк и неспешно пошел к двери.

Тимофей проводил его глазами, но не заметил, как старец переступил порог, и не слышал, как растворилась и затворилась дверь.

Он не то спал, не то бодрствовал, когда во мрак и смертный холод подвала вошли люди с оружием и фонарями.

– А ну вставайте! – крикнул начальный из них громко и грубо, и Тимофей с Костей, поддерживая друг друга, поднялись и шатаясь побрели в серый просвет двери.

...Было раннее утро 31 декабря 1653 года. В зыбких и холодных предрассветных сумерках чернели сани с установленной в конце перекладиной. На Тимофея и Костю надели сотканые из черного рядна балахоны. Тимофея возвели на сани. Чтобы не упал, руки привязали к перекладине. Косте накинута на шею веревку и босого погнали по снегу вслед за санями. Рядом с Тимофеем с двух сторон встали палачи. На красные их рубахи были накинута легкие кожанки.

Кони дернули, сани покатались.

Тимофей глубоко вдохнул свежий холодный воздух. По Москве начинали перекликаться охрипшие на холоду петухи. Тимофей вскинул голову. С края на край неба тянулась широкая звездная полоса Млечного Пути. Чуть розовел край неба, и в глубокой темной синеве начинал тонуть золотой месяц. Тимофей вспомнил: небо, и звезды, и месяц, и радостный петушинный крик. И вспомнил себя – маленького, счастливого, бегущего от сарая к дому. И перед глазами его встали муравьи – два красных и один черный. И живой явлю увидел он себя, сильного и справедливого, не давшего двум красным одолеть одного – черного.

И вспомнив, повел глазами.

Палачи, сбросив кожанки, стояли возле него в красных рубахах. А он, в черном рядне, распятый, стоял меж ними, и не было никого, кто мог бы помочь ему.

Ранние белые дымы тянулись в небо. Редкие прохожие, увидев страшные сани, срывали с голов драные шапки и треухи, испуганно тараща глаза и мелко, быстро крестясь. Лица у всех были невеселые, и в памяти у Тимоши всплыло: «И помрачатся смотрящие в окно». «Откуда это? В какое окно?» – подумал он, удивляясь и понимая, что совсем не ко времени вспомнилось все это. Но память, независимо от него, вдруг стала нанизывать одну на другую строки из какой-то книги.

И Тимоша, закрыв глаза, беззвучно, одними губами, стал шептать: «И помрачатся смотрящие в окно, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы – доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем...»

Сани остановились. Тимоша открыл глаза и, поглядев вперед, увидел высокий деревянный помост. Но прежде чем сойти с саней и подняться по ступеням, сухими и ласковыми, испрашивающими прощения глазами взглянул на друга своего Костю и, не чувствуя боли, пошел обожженными ступнями наверх, к черной плахе с воткнутым в нее

топором.

## ЭПИЛОГ

В один из зимних дней 1661 года в Кремле, в толпе, стоявшей у патриаршего собора, появился статный молодой мужик с курчавящейся бородкой. Из открытых дверей доносилось благолепное, ангелоподобное пение и грозный левиафанов рык протодьякона: «Подъячему Новой Четверти – Тимошке Анкудинову – анафема!» Наклонившись к седовласому, ясноглазому, по всему видать, книжному человеку, спросил мужик тихо:

– Кто таков Анкудинов?

– Великий еретик! – ответил старец.

А мужик спросил снова:

– И все же за что его так-то – анафеме?

– Нешто не знаешь, сколь уже лет анафемствуют Тимошку, злого еретика, продавшего и церковь, и государя, и именовавшего себя – облыжно – князем Шуйским.

Мужик, тряхнув кудрями, спросил снова:

– Ты, дедушка, не гневишься – издалека я, с Соловков иду, а сам с Дону и всего того, о чем ты баишь, не ведаю.

– А пошто это тебе, парень?

Мужик весело блеснул ровными, крепкими зубами.

– Любопытен я, дедушка, до всего, что вижу.

– А как звать-то тебя, любопытный?

– Стенькой, – ответил мужик. – А по батьке – Разей.

– По-московски, значит, будет Разин, – сказал старик.

– По-московски – Степан Тимофеев Разин, – согласно подтвердил парень.

И встал, отринутый богом и земными властями, Тимофей Демьянов сын Анкудинов в ряд с ворами и ересиархами, от имен которых в смертном страхе обмирало не одно сердце, ибо перед ним поминали первого самозванца – Гришку Отрепьева, а сразу же за ним вероучителя раскола протопопы Аввакума.

А через несколько лет следом за ним шел Стенька Разин, а потом и Ивашка Мазепа, и Емелька Пугачев – позор и бессмертная слава России. А он, Тимофей Анкудинов, не стал славой России, но не стал и ее позором. Он не был Разиным, но не был и Мазепой. Он шел за светом и хотел рукою коснуться истины. Он умер задолго до рассвета, не в сумерках даже – в глубокой тьме.

Он хотел познать истину, чтобы истина сделала его свободным, а он, принеся ее людям, сделал бы свободными и их. И разве не был он горящей свечой на крестном пути рода человеческого к истине?

## СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ, ИНОСТРАННЫХ И УСТАРЕВШИХ СЛОВ

Ага (тюркск.) – господин, военачальник.

Агаряне – в народных сказках турки и вообще мусульмане.

Алтын – русская мелкая монета достоинством в три копейки.

Аргамак (тюркск.) – верховая лошадь восточной породы.

Ариане – последователи учения священника Ария из Александрии, признанного ересью.

Архиерей, или епископ, – священнослужитель высокого ранга. Управлял церковным округом – епархией. Имел право суда над священниками и верующими в вопросах веры.

Багатур, батыр (тюркск., монг.) – в фольклоре богатырь, витязь, а также звание, дававшееся за военные заслуги.

Башибузук (тюркск.) – солдат нерегулярных частей турецкого войска, иносказательно – головорез, разбойник.

Бахус – бог растительности, вина и веселья в Древнем Риме.

Бек (тюркск.) – первоначально титул племенной знати, впоследствии – господин.

Божедомы – нищие, живущие подаянием. Просили милостыню чаще всего на папертях церквей – божьих домов.

Бражник – пьяница (от слова «брага» – род пива).

Братия (собир.) – монахи одной общины или одного монастыря.

Брашно (ст.-сл.) – пища, еда, яства.

Бунчук (тюркск.) – конский хвост, привязанный к древку, – знак власти турецкого паши, а также казачьих атаманов, украинских и польских гетманов.

Валахия, Волошская земля – историческая область на юге современной Румынии.

Ведовство – колдовство, ворожба.

Ведьмин сглаз – по поверью, ведьма могла сглазить, навести порчу, то есть напустить на человека или животное болезнь и даже смерть, только взглянув на него.

Венера – богиня любви в Древнем Риме.

Версификоваться – спорить, доказывать правоту.

Вершник – всадник, верховой.

Вершок – старая мера длины, равная 4,4 см.

Ветхий завет – древнейшая, дохристианская часть Библии.

Взыскать – наградить, обласкать.

Видок – очевидец, свидетель. В отличие от него свидетель, слышавший что-либо, назывался послухом.

Волохи – жители Валахии (см.: Валахия).

Волхование – колдовство, ворожба, то же, что и ведовство.

Воровство – разбой, мятеж.

Вор – разбойник, мятежник. (Человек, укравший что-либо, назывался татем, а кража – татьбой.)

Воротники – воины, охраняющие ворота города или крепости.

Всуе – напрасно, попусту.

Выя – шея.

Гайдук (венг.) – слово имело несколько значений: легковооруженный пехотинец, повстанец-партизан против турецкого владычества, вооруженный слуга.

Геенна – ад.

Гиль – смута.

Гиперборейские пустыни (греч.) – северные пространства. Борей – бог северного ветра.

Гиперборейский Цезарь (гр.-лат.) – владыка северных пространств (см. предыдущий термин).

Гонор (лат.) – достоинство, честь.

Гораздо – очень, намного; иногда в значении «хорошо».

Граждане – граждане.

Гридница – часть дворца, в которой жила княжеская дружина, затем – столовая палата, комната больших размеров.

Гугеноты – сторонники учения богослова и реформатора церкви Кальвина во Франции, французские протестанты.

Гяур (турецк.) – неверный, немусульманин.

Деиисусный чин – иконы верхнего ряда иконостаса в православной церкви.

Державца (польск.) – владетель.

Детинец – центральная часть русского города, обнесенная стенами, кремль.

Друкарь (польск.) – типограф.

Дуван (турецк.) – воинская добыча.

Думный дяк – чиновник Боярской думы, составлявший и правивший проекты

решений Боярской думы и царских указов.

Дьяк – крупный государственный чиновник в приказах и больших городах Руси.

Еллинская земля – Греция; еллины (эллины) – греки.

Ендова – большая чаша для вина.

Ересиарх – основатель ереси, религиозного учения, расходящегося с господствующей религией.

Жолнёр (польск.) – воин.

Заводчик – заводила, инициатор какого-либо неугодного властям дела. Чаще всего тот, кто подбивал людей к непослушанию и бунту.

Загонова шляхта (польск.) – мелкопоместные дворяне, разорившиеся мелкие помещики, жившие из милости в имениях крупных помещиков.

Закоморный жилец – зависимый от хозяина работник.

Замятня – бунт, мятеж, непокорство.

Затинщики – русские воины, обслуживавшие крепостную артиллерию.

Зелье (ст.-сл.) – отвар, настой; хмельное зелье – вино.

Зрадца (польск.) – изменник, предатель.

Иса – турецкое соответствие имени Иисуса Христа.

Истамбул (тюркск.), Константинополь (греч.), Царьград – разные названия столицы Османской империи. Ныне этот город называется Стамбул.

Кальвинист – последователь Кальвина – протестантского богослова и реформатора церкви.

Камень – старинное русское название Уральских гор.

Камень-электрон (греч.) – янтарь.

Капудан-паша (турецк.) – адмирал, командующий флотом.

Кат – палач.

Каторга – гребное судно.

Кафа – название города Феодосии в Крыму в XIII-XVIII вв.

Каштелян (польск.) – начальник административного округа.

Келейник – монах или послушник, живущий в одной или соседней келье с лицом высокого духовного сана и прислуживающий ему.

Кизылбашский – персидский.

Кир (греч.) – владыка, господин.

Киса – кошелек.

Кистень – вид оружия, гиря в виде шара на ремне, надеваемом петлей на руку.

Конфидент – доверенное лицо, советник.

Кружало – кабак.

Куранты (франц.) – часы.

Латыне – католики (богослужения у католиков ведутся на латинском языке).

Левиафан – в Библии огромное морское чудовище.

Люторе – лютеране. Последователи Мартина Лютера – протестантского богослова, реформатора церкви, основателя протестантизма.

Лядунка – сумка для патронов и пороха у всадников.

Маалим (тюркск.) – учитель. Почтительная форма обращения к ученому человеку.

Маетность (польск.) – имение, имущество.

Мазар – могила мусульманского святого, обычно в виде мавзолея или склепа.

Майдан (араб.) – базар.

Медресе – мусульманская школа.

Мерской анъел – мерзкий ангел, дьявол. По библейской легенде, Сатана сначала был ангелом.

Митра – парадный головной убор высшего православного духовенства, из серебра или золота, усыпанный драгоценными камнями.

Монастырские трудники – крестьяне и ремесленники, работавшие в монастыре.

Мунтянская земля – восточная часть Валахии.  
Муравль – каменщик.  
Мыт – торговая пошлина.  
Мытник – сборщик торговых пошлин.  
Наборзе – быстро, спешно, скоро.  
Наперсный крест – нагрудный крест. От старославянского «перси» – грудь.  
Неофит – новообращенный, недавно уверовавший во что-либо.  
Нобиль (лат.) – благородный, знатный.  
Новый завет – поздние, христианские, книги Библии.  
Нукер (монг.) – конный воин, слуга, телохранитель.  
Нятство – плен, заточение.  
Обретаться в нетях – быть неизвестно где, быть в бегах, скрываться от чего-либо.  
Овый – тот.  
Окольничий – близкий к царю служилый человек, выполнявший различные поручения царя. Окольничие назначались воеводами, сидели в думе и приказах, принимали участие в посольствах.  
Опила – немилость, гнев царя.  
Ордонанс (франц.) – королевский указ.  
Офеня – бродячий мелкий торговец.  
Офир, земля Офир. – В Библии – страна, в которую отправлялись морские экспедиции за золотом, слоновой костью и др. В живом языке слово «Офир» означало сказочную землю, полную изобилия.  
Паны-рада (польск.) – совет магнатов в Речи Посполитой – в Польше и Литве.  
Паны-электоры – паны-избиратели, магнаты, участвовавшие в выборах короля.  
Паче – более, сверх (того), лучше (того).  
Паша (турецк.) – титул высших военных и гражданских чиновников в Османской империи.  
Пенжинское море – Охотское море.  
Перст – палец.  
Пищик – писец, писарь.  
Подскарбий (польск.) – казначей.  
Подыменщик – самозванец.  
Подьячий – средний чиновник в приказах и воеводских избах.  
Полтина, полтинник – пятьдесят копеек.  
Полушка – самая мелкая русская монета достоинством в одну четверть копейки.  
Порфиносец буквально: «носящий пурпур»; пурпурный – красный цвет, в древности считался цветом власти.  
Поместник – то же, что и помещик.  
Потентат (лат.) – вельможа, знатный человек.  
Послух – свидетель, слышавший что-либо. В отличие от него свидетель, видевший что-либо, назывался видоком.  
Постолы – грубая обувь из цельного куска кожи, стянутого сверху ремешком.  
Починок – пашня или небольшое селение на вновь расчищенном месте.  
Правеж – истязание по приговору или приказу.  
Прапор – знамя.  
Приказ – центральное административно-судебное учреждение на Руси.  
Принципал – лицо, наделенное властью.  
Причт – священники и церковнослужители, состоящие при храме.  
Протори – убытки.  
Ратман (нем.) – член городского совета.  
Рез – процент, доля.  
Ромеи – римляне.

Румелия, Румелийское бейлербейство – в административной системе Османской империи округ, включающий южную Болгарию.

Русское море – Черное море.

Рынок – центральная площадь в польских городах.

Рядно – грубая ткань из очесов льна и пеньки.

Сажень – старинная мера длины, равная 2,134 м.

Сакма (тюркск.) – степная дорога, шлях.

Святая земля – Палестина – по библейскому преданию, место рождения, жизни и смерти Иисуса Христа.

Силяхтар (турецк.) – оруженосец турецкой армии.

Сипах (турецк.) – всадник турецкой армии.

Скоп – сборище.

Скуфья – шапка, жалуемая в виде отличия священникам.

Смута – мятеж, бунт.

Собинный – особенный, особый, особо близкий.

Стрелец – воин, служивший в русском стрелецком войске. Стрельцы в Москве охраняли Кремль, ходили на войну. В других городах несли гарнизонную и пограничную службу, выполняли поручения местных властей.

Студеный окян – Северный Ледовитый океан.

Сулея – бутылка.

Сура (араб.) – глава в Коране.

Схизматики – раскольники, еретики. Схизматиками называли друг друга православные и католики, считая каждый только себя истинно верующим.

Съезжая изба – застенки, где содержались арестованные и производились наказания.

Телепень – нерасторопный человек, увальня, растяпа.

Толмач – переводчик.

Торговище, Тыргавиште – город на юге современной Румынии.

Украины – окраины государства, приграничные местности.

Универсал – воззвание.

Урус (тюркск.) – русский.

Фелюга, фелюка (исп.) – легкое, быстроходное парусное и гребное судно.

Фондук – крупная золотая монета.

Фортеция – крепость.

Хабара (укр.) – прибыль, барыш.

Хаким (тюркск.) – врач, мудрец.

Хвалынское море – Каспийское море.

Хиджра – переселение Мухаммеда и его сторонников в 622 году из Мекки в Медину. Начало мусульманского летосчисления.

Христовы невесты – монахини, посвятившие свою жизнь любви к Христу – «небесному жениху». Здесь: незамужние, овдовевшие женщины, старые девы-фанатички.

Хумбараджи (тюркск.) – артиллерист, пушкарь.

Цвинглиане – последователи протестантского богослова и реформатора церкви Ульриха Цвингли.

Чекмень – верхняя мужская одежда.

Черкасы – украинские казаки.

Черноризец – монах, носящий черную одежду, но не имеющий священнического сана.

Шабала, шебала (татарск.) – ветошь, лохмотья. Здесь в значении «дурная голова».

Шильник – плут, пройдоха, пройдохина.

Шляхетство, шляхта (польск.) – дворянство.

Шляхтич (польск.) – дворянин.

Юрод, юродивый, блаженный – по народному поверью, ясновидящий, прорицатель, чаще всего отмеченный увечьем, уродством или психической болезнью.

Янычары-балтаджи (турецк.) – пехотинцы, несшие службу в султанском дворце.  
Ярыга, ярыжка – низший служитель в приказах.